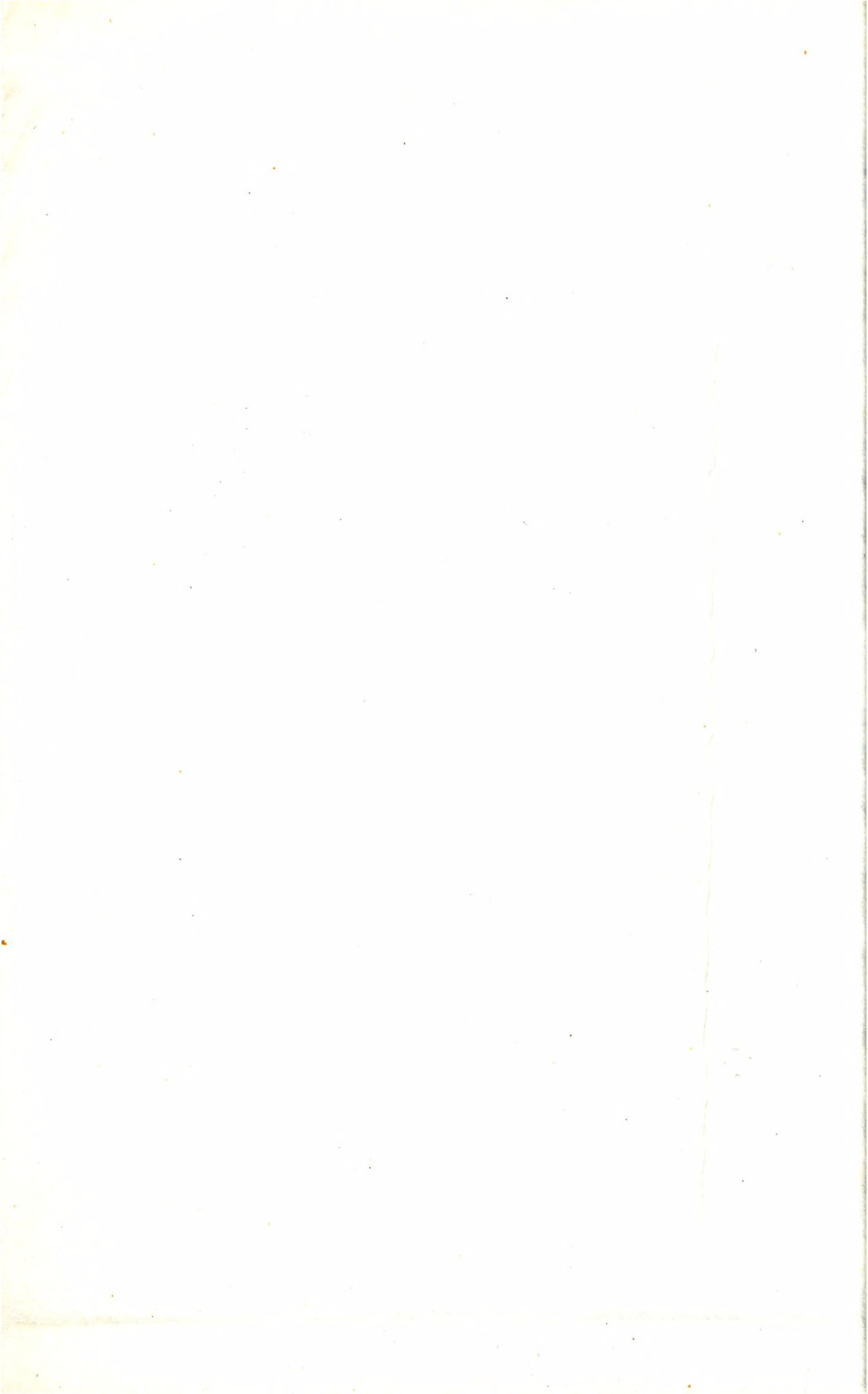
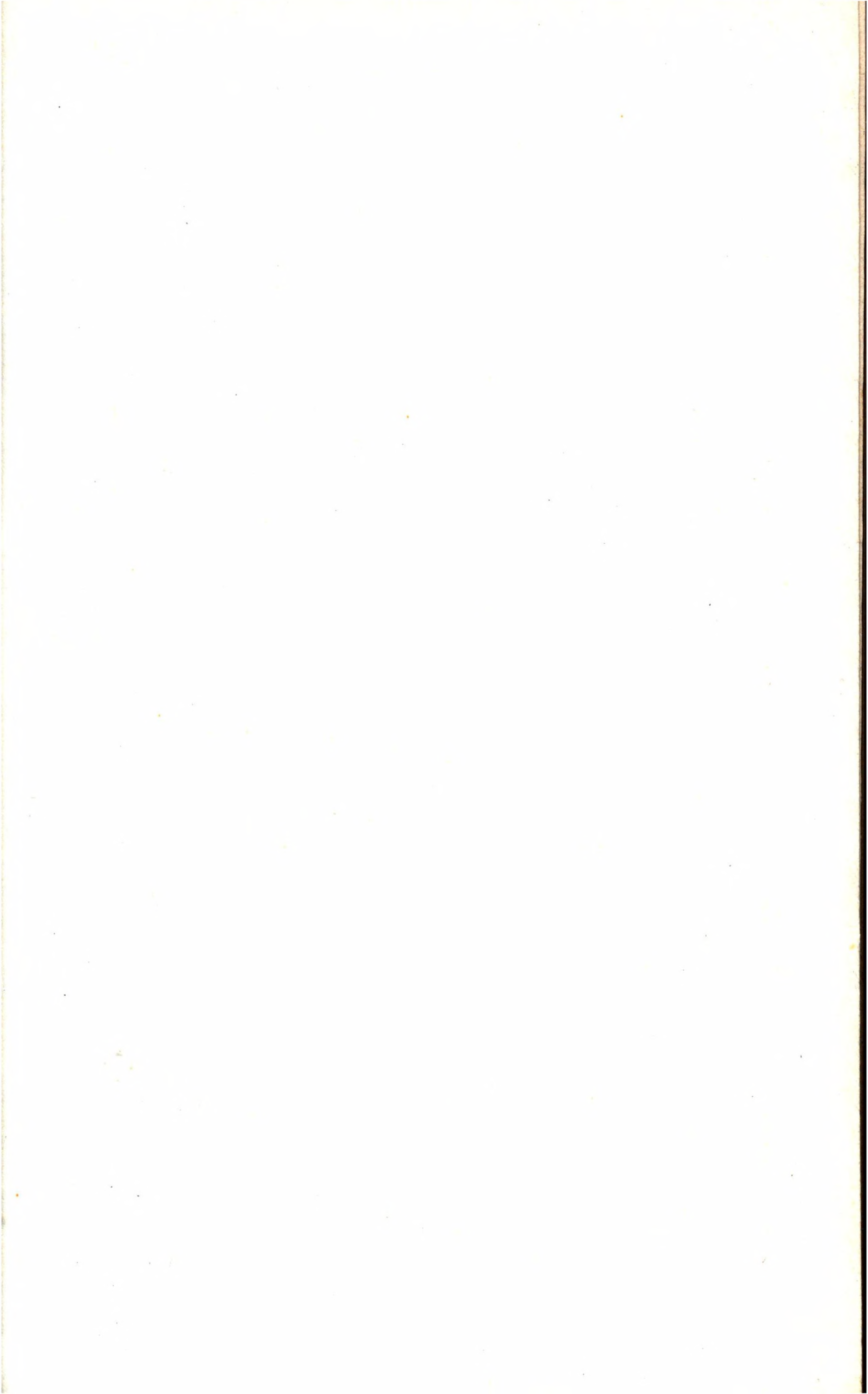
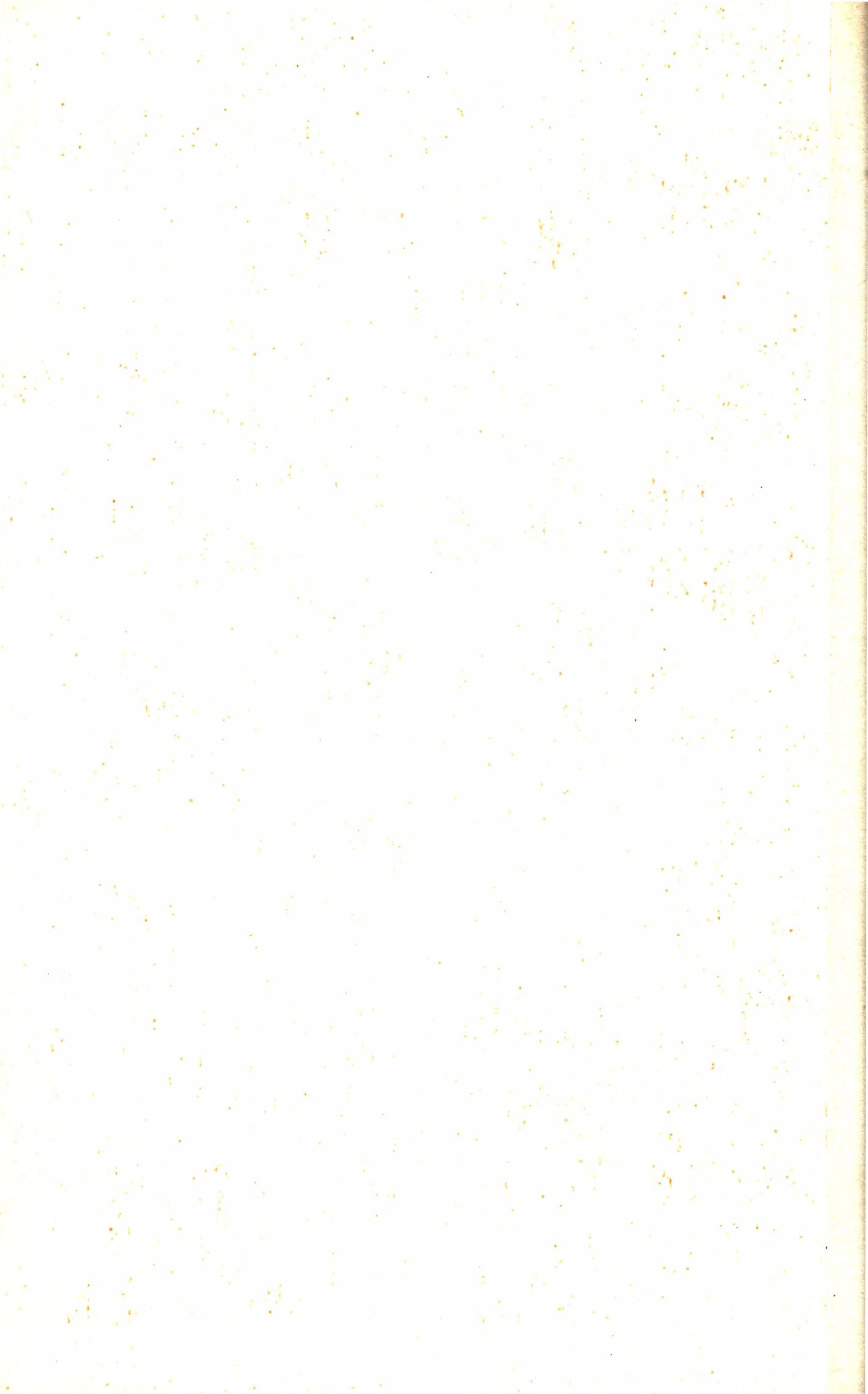
Альберт Лиханов

БРЕМЯ МОЛОДОСТИ







«ПИСАТЕЛЬ–МОЛОДЕЖЬ–ЖИЗНЬ»

АЛЬБЕРТ
ЛИХАНОВ

БРЕМЯ МОЛОДОСТИ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1989

ББК 84Р7
Л 65

Л $\frac{4702010204-140}{078(02)-89}$ 186—89

ISBN 5-235-00563-5

БРЕМЯ МОЛОДОСТИ

Еще так недавно мы говорили, писали, а прежде — думали, что молодость — это время сплошных наслаждений. У них все впереди — как утешала наше сознание эта мнимая отсрочка! Дети — наше будущее! — будто в колокол трезвонили мы, свидетельствуя свое бездумство и начисто отвергая мысль, что дети-то наши еще ведь — и прежде всего! — наше настоящее, сиюминутные семейные, школьные и общенациональные беды, отнюдь не бедки.

«Легко ли быть молодым?» — спросил себя и всех нас вовсе не старый кинорежиссер, соединив в этом вопросе накопленное многими умами в немалые годы. И дело тут не в бродячих «молодежных» вопросах — как жить, кем быть? — но в том вековечном непознанном и вечно познаваемом — кто мы, в чем ограниченность, зашоренность нашего сознания или нашей социальности, ежели отцы не понимают детей, а дети отцов.

Кажется, это чисто русский феномен — отцы и дети, их взаимопонимание. Убежден: отрицание детьми главенства отцов — в природе отцовского главенства, его поколенческой, возрастной фанаберии. Раствориться в последующем человеке, понять его природу и боли трудней, чем просто любить, и это «кровосмешение» родительской любви и взрослой умственной лености, не позволяющей шагнуть дальше чувств, обращается в гремучую смесь претензий и действительных обязательств, могущих взорваться и разорвать зыбкую связь родственных уз.

Отцы и дети в России — эта вековечная тема всегда выходит за пределы семьи, немедленно становясь

делом общегражданским, государственным, отечественным. Но редко, ах, как редко, говорим и думаем мы при этом про реальные тяжести детства, про бремя молодости.

Гипноз будущей полноценности детства отвратителен, хотя, действительно, кто же станет отрицать аксиоматическую пропись, что дети — наше будущее.

Итак — дети наше настоящее, вот в чем суть.

Их одиночество, даже в доброй, хорошей, полноценной семье — вспомним их глаза, голодные малостью общения с нами, матерью, отцом, и наш вечный, социально объективный щит: мол, что делать, я на работе, там важно, денежки оттуда...

Сперва они не хотят примириться, что мать, точно явление, возникает на закате дня в детском саду или яслях, потом подрастают, смиряются, новые, спонтанные отношения возникают между самими детьми, и — нате! — в один прекрасный миг мы с удивлением понимаем, что у нашего ребенка есть, оказывается, какая-то своя жизнь, в которую нас не допускают, свои тайны и свои конфликты — сперва мы недоумеваем, потом, как и они, смиряемся — льдину нашей семьи раскалывает трещина, она все шире, а там уж и конфликты самого серьезного толка, вызовы в школу, в милицию, слышна родительская брань, звуки затрещин и посвист отцовского ремня... И-э-эх!

Грузовичок, переполненный семейными дрязгами, выворачивает на шоссе, забитое такими же грузовичками, и мы вливаемся в массовый поток, утешая себя мыслями, что все так живут, ничего странного, время такое.

Да, время такое, каковы мы сами, наша нежность, наша доброта, наше желание переменить мир не во вселенском масштабе, а в пределах своей семьи — так вот, похоже, что высота этих мер в нашей отечественной практике к концу XX столетия снизилась ниже допустимого и имеет дальнейшую тенденцию к падению.

Мы не имеем цельного представления о своем собственном ребенке. Уничтожив в 30-е годы педологию — науку о ребенке, мы отвергли целостное представление о растущем существе, поделив его уникальную единственность между примитивно-ведомственными интересами: здоровье — это минздрав, ученье — минпрос. И вот уже никто понять не может, что это за племя такое — рокеры, зачем нужен «металл» — тяжелый рок, отчего

это некоторые из ребятишек наших — надо же! — надели на рукава повязки со свастикой и толкуют о преимуществах фашизма как социальной системы?

Почему? Да потому, что, поделив дитя между врачом (здоровье) и учителем (знание), забыли мы — почти забыли! — о детской душе. Куда ее-то? Кому доверить? Пионерской организации? Комсомолу? Хорошо, если в конкретных обстоятельствах хотя бы частью это произойдет. А если нет? И если этих «нет» много? Не из них ли, воспитанных на множестве «нет», образуются мотокоманды в черных кожаных куртках, громом выхлопных труб не дающие отоспаться московскому центру?

Душа неделима — вот в чем счастье. Ее не поручить для сохранения ни няньке, ни милиционеру, ни учителю. Духовное единство возможно лишь в обстоятельствах тесной семейной традиции, в условиях, когда задумавшие и родившие дитя ответственны за наполнение детской души до самого ее повзросления. Впрочем, и после повзросления — тоже.

Духовники всякого человека — его родители, его дом.

Оговорюсь для ясности: не у каждого, увы, они есть, а если и есть, не все они, к печали нашей, способны и хотят осуществить свои духовные обязательства — в этом таится одна из главных бед общества.

Родители не хотят — все остальное лишь доля счастливого случая. Ведь и врачу может оказаться некогда, и учитель повстречается ленивый, сухой, казенный, бездарный. А там и «мильтон» с деревянным сердцем. И судья с оловянными глазами, которому лишь бы обязанности свои отправить.

Вот и носятся над землей вихри людских бед, и то там ухнет, то здесь перевернется, то тут слезы и неизбывная беда...

Волею судеб, а может быть, единственностью своей писательской темы, радеющей о растущем человеке, я всегда старался разобраться в горьких криках молодых неустройств. Писал книги, статьи.

Особенно угнетала мысль об одиночестве человека, лишь начинающего жить. Несправедливость такого положения. Неважно, какова природа этого одиночества — физическая или духовная, ведь можно быть одиноким в толпе любвеобильной родни.

Книги отвечали мне письмами. Тысячами писем са-

мых разных людей — пожилых и не очень, а главное, письмами детей. Мной все глубже овладевали два чувства — чувство жалости, многие годы признававшееся стыдным, и чувство неисполненного долга. Мне казалось, кроме книг, надо сделать еще что-то важное в этой жизни.

Подступ к 1987 году, поворотному в моей судьбе, был многолетним и непростым, хотя и неотступным. Порой я топтался на месте — сообща со всеми, робел, желая сказать важное, но так или иначе приближаясь к цели, формируя задачу и конкретную форму своих желаний. Сквозь годы, сквозь выступления с трибун собраний писательских, комсомольских, педагогических, мои книги вели меня к идее общенационального переосознания ответственности перед слабыми мира сего.

Слабые в мире — дети и старики. Я взялся за свое — за детство. Создан Советский детский фонд имени В. И. Ленина. Покинув журнал «Смена», в котором отработал двадцать с половиной лет, я беру на себя не вполне свойственные — скорее совсем несвойственные писателю, редактору — обязательства, и вовсе нет у меня уверенности, что вытяну, что справлюсь.

Между словом и делом — дистанция немалого размера, особенно если во всем понимании сложившихся реалий дать себе труд понять: слово принадлежит одному тебе, а дело, даже самое простое, творится в соавторстве с другими людьми, в несовершенстве средств и возможностей, со множеством стопоров — организационных и психологических, словом, в соавторстве, в сочетании со всеми большими и малыми бедами и неумениями нашего развития. Как было бы хорошо: придумал, обсудил с людьми — или инстанциями! — нажал кнопку, перед тобой явились умельцы — строители, умельцы — ученые, умельцы — врачи — ты им задание, срок, чек, в конце концов, и, глядишь, через год, от силы — второй, предъявляют общественную идею, реализованную в санаторий для маленьких инвалидов, в семейный детский дом или долгожданно возрожденную науку о ребенке, сданные по всем законам совершенства «под ключ» — идите, люди, пользуйтесь на здоровье.

Пока что такие возможности для нас — сказки не нашей Шехерезады. Нам же достается кровь, пот, завистливые уколы и злобная неквалифицированность

комментаторов со стороны и соглядатаев, не говоря о бюрократических проволочках, порожках разной высоты, петляниях по лабиринтам, в которых вроде и люстры хрустальные горят, и люди отзывчивые встречаются, а вот выхода все же нет и нет...

Хлебово горькое, хлеб черный — вот что такое всякое новое дело.

Я не жалуюсь, не подумайте.

Я уверен просто: чтобы стало сладко, надо сперва выхлебать горькое. Кто-то это должен сделать. Лучше бы сделать это всем — и секретарю ЦК, и дворничихе, всем сообща, тут жирных кусков не отыскать, и всем следует взяться за ложку, всем, а не одному лишь, пусть и общественному формированию — Детскому фонду; и уж по крайней мере не его микроскопическому аппарату, разбросанному по стране малыми щепотками, ответить надобно на вопросы, заданные жизнью всем — народу, обществу, государству.

Задам себе и вам один лишь не самый мудреный, но вполне конкретный.

Молодой человек, 29 лет от роду, обращается — по сути прибегает в фонд, который вроде бы не для него, а для детей. Но вот какова задача. В пять лет его усыновили из детдома нечестные люди. Усыновили, получили на ребенка жилплощадь и... уложили ребенка в психиатрическую больницу. Врачи его скоро вернули, дав заключение, что ребенок вполне нормален. Однако скоро малыша отдали в другую психиатрическую больницу, предъявив документы, что о д н а ж д ы он уже в таком учреждении был. Тогда — а пожалуй, и сегодня еще — одного этого оказалось достаточным, чтобы пустить беззащитного человека по кругу, в котором он обретался — вчитайтесь и ужаснитесь! — двадцать три года! Нормальный, обычный человек двадцать три года, по существу, был обречен на неполноценность, будучи совершенно нормальным, и главное, чем руководствовались медики из этих закрытых заведений, так это не вопрос — как восстановить справедливость, а — куда деть этого человека? Ведь у него нет жилья, не станешь же судиться с теми людьми, которые двадцать три года назад усыновили его?

Парень сбежал из психушки в Детский фонд. Детский фонд обратился к независимым и в высшей степени квалифицированным психиатрам. Они подтвердили: ч е л о в е к н о р м а л е н.

Вопросы навскидку и для всех.

Что делать дальше — ведь этого человека Моссовет вовсе не ждет с распростертыми объятиями, чтобы дать ему хотя бы комнату. По профессии он сварщик, но в психиатрических заведениях, обучая профессии и давая работу, не давали документов о соответствующей профессии. Как и где сдать профессиональные экзамены? Как устроиться на работу?

А главное, как защитить детей наших дней от аналогичных возможностей? Как сделать незаконными такие надругательства по всей стране, когда столь сложная отрасль медицины, как психиатрия, пребывает в условиях социальной и этической закрытости от общества?

Сможет ли Детский фонд, даже объединившись с кем-то, даже вооружившись новой законностью, полностью сломать отлаженные механизмы, образующие отстойники детской беды, своего рода канализационную систему для сброса... людских судеб.

Вопросы — для всех, вопросы — без чувства оптимизма и надежды на немедленное решение. Но поколение работников, не раскопавших общественных бед, хотя и копавших, работавших не за страх, а за совесть, могут утешить себя мыслью, что следующие за ним завершат их дело.

Итак, в этой книге собрана часть моих статей и выступлений, пусть не впрямую, а косвенно, но все же очерчивающих вопрос: что же есть бремя молодости? В чем непростота наших детей, их рождения, развития, становления?

Всякое собрание публицистики не может претендовать на полноту или завершенность. Поиск истины — процесс непрерывный и одному не принадлежит. Так что если эта книга сумеет, пробившись к сердцу читателя, стать хотя бы штрихом в социальном анализе общей заботы, я буду рад.

Автор

1988

ГЛАВА

I

Казалось бы, все так просто — помни самого себя в детстве, предполагая собственную же старость, а меж тем взрослый мир часто демонстрирует поразительное безрассудство, чудовищный эгоизм, и примеры конкретного бытия дарят нам, увы, печальные образцы взрослого отмежевания от детства и старости, тупейшего возведения плотин перед озерами детства и старости, будто эти взрослые умышленно норовят остановить реку собственной жизни

ОЧИЩЕНИЕ

Мне повезло в моей юности: три великие книги — «Спартак» Джованьоли, «Овод» Войнич и «Как закалялась сталь» Островского — пришли ко мне одна за другой, в пределах одного послевоенного месяца, точно буря, сшибая наивные постройки детства, а я не жалел об этом. Строгие взрослые идеи входили в меня, внушая мысль, что все действительно честное дается лишь борьбой, что человек становится человеком, лишь сопротивляясь неправде, и что по-настоящему личность становится достойной, лишь одерживая победу.

Не стыжусь мальчишеских слез, которыми одарили меня Спартак, Артур и Павка, ибо без очищения, без катарсиса в душе каждого растущего человека немыс-

лим поиск идеала, действие во имя совершенства — себя ли, жизни ли тебя окружающей, потому как слезы эти — еще не взрослые, но уже и не детские — означают не что иное, как жажду цели и идеала.

Одно из самых органичных свойств юности — максимализм, и душа растущего человека жадно стремится к нему, горячо разыскивая примеры целеустремленного применения максимализма во имя идеальных целей. Как бесконечно важно именно в этот час найти такую цель и как болезненно тяжек максимализм бесцельный, максимализм размытый, не вошедший в берега целеустремления и конкретности, — ведь тогда он обретает формы полудетского нытья, отроческой привередливости, полувзрослого недовольства всем и вся. Мне кажется, максимализм бесцельный, всеобщий, вообще и приводит в юношестве к печальному разрыву между амбициями, обширными претензиями и личной целеустремленностью. К разрыву между желаниями и трудом, которым достигается всякое желание.

Николай Островский гениально продемонстрировал жизненную необходимость этой великой человеческой связки — максималистской, возвышенной цели с ее конкретным человеческим воплощением. Иными словами, он показал, как следует поступать, чтобы жизнь обрела высокий смысл.

И Спартак, и Артур были людьми своего, отдаленного от нас времени. Как подлинно чистые люди, эти герои, конечно, всеобщи, они обладают волшебным свойством преступать грани времени, из дальних времен приходя к нам и нас возвышая своим примером. Однако, что ни говори, но чем ближе житейские, а значит, исторические реалии, в которых действует герой, тем больше у нас возможности применить к себе, примерив на свои плечи, его поведение, поступки и мысли. Так что Павка в ту послевоенную пору был ближе мне и моему поколению. Чуть позже, в старших классах мужской школы и на первых курсах университета мы рассуждали о нем, как о живом, поверяя втайне свои поступки его примером. И это была действенная поверка.

Мне кажется, что ныне, к сожалению, все чаще и чаще пример Павки в молодежных спорах и на уроках литературы звучит лишь только как хрестоматийный, академический, слишком уж идеальный образец и не столько для реального подражания, сколько для разговоров.

Жаль, потому что в одном только романе «Как закалялась сталь» множество тем, звучащих сверхсовременно; надо лишь книгу эту теперь не в лоб брать, не штурмом, не на абордаж, нажимая на истовость Павки, но и великую человечность этой книги прочитывая, и непростоту мужества обдумывая, и учиться распознавать по ней тяжкую власть мещанства — вспомним хотя бы первую любовь Павки. Что греха таить, многолетнее «прохождение» классики вырабатывает свои схемы, свой стереотип, как правило, отбрасывая вроде бы второстепенное. Но все дело в том, что в великих книгах нет второстепенного, все важно, все требует повышенного внимания и углубленных раздумий. И вот что я еще заметил, если говорить о действии книги Островского на нынешнюю молодежь. Да, порой она звучит хрестоматийно, «непримиримо» к себе, но лишь в обыденной ровной жизни. Бывает, даже глупо бравируют на уроках литературы: это, мол, было, это не про нас, сейчас другое время и правила жизни другие, слишком уж идеально! Но постучись в дверь беда, первое взрослое испытание, когда требуется не рассуждать, а поступать — за кого, за какой вечно спасательный круг хватается вчерашний беззаботный скептик? Да все за него же, за Островского, за Павку, за «Как закалялась сталь».

Мне вот пришлось прикоснуться к большой нашей печали, к молодым инвалидам, некоторые из которых организовались в кооперативное товарищеское объединение по имени «Искра». Главный смысл этого товарищества — поддерживать морально друг друга, помогать найти дело по душе, быть полезным жизни. Среди прочих добрых дел ребята сделали библиотеку, собрание книг о человеческом мужестве, так вот «Как закалялась сталь» в этой библиотеке по-прежнему, как в тридцатые, в сороковые годы, на первом месте стоит по своей силе и по своей нужности.

Порой «Как закалялась сталь» представляется мне большим, не темнеющим от времени, зеркалом. И в этом зеркале множатся, множатся жизненные подобия Павки. Мы не всегда знаем о них, порой прочитывая похожие истории в газетах или журналах. Однако, может быть, в этом не всеобщем знании сокрыта великая тайна подлинного художественного влияния. Сотни и тысячи людей в час испытания повторили своей жизнью пример Павки, но миллионы действуют, как его духов-

ные братья — в больших или малых испытаниях или вовсе без испытаний, действуют по корчагинским принципам и установкам, даже не сознавая, откуда и как приходит к ним честное решение.

Собственно говоря, в этом величие великого. Книга Николая Островского не только формулирует высокие коммунистические нормы, но и бесконечно воспроизводит их в реальных судьбах, практически созидает новую человеческую мораль.

Два десятилетия назад вместе с историком Виктором Шмитковым мне посчастливилось принять участие в первопубликации как бы еще одного романа Николая Алексеевича. Речь идет о его до тех пор неизвестных письмах к другу юности Петру Новикову. Сложилась книга «Письма к другу», получившая позже и сценическую жизнь. Что же это за книга? Очень личные письма Островского с нашими, публикаторов, лапидарными связками, объясняющими время, события и отношения людей.

Когда мы впервые разложили эти письма по порядку и прочитали их, ощущение было именно такое: перед нами документальная версия «Как закалялась сталь», биографическая канва романа, написанная самим Островским, неприукрашенный слепок великомужественной жизни. Проза обновляет и возвышает, документ — потрясает, потому что в документах, да еще таких, как письма Николая Островского, столько поразительных подробностей, что и самого непробиваемого они обдают жаром и заставляют стянуть с головы картуз. Эти письма точно говорят нам: не верьте циникам, великое — есть, есть и всегда будет в человеке!

Пример Островского — его жизни и его книг — в величайшем совпадении исповедей с собственным поступком. Вот говорят, нет и не может быть идеальных героев, все, мол, мы грешны. Николай Островский был таким идеальным героем. Остается таким.

Творчество писателя, конечно же, индивидуально, но когда я думаю об Островском, никак не могу представить его в одиночестве. В моем воображении он всегда рядом с Шолоховым, Фадеевым, Гайдаром и теми, кто был старше по возрасту, но сверстником по духу нашей литературы тех лет — Фурмановым, Гладковым, Серафимовичем.

Сама суть творчества Островского, куда я решительно включаю и письма писателя, коллективистская, то-

варищеская, дружеская — в самом высоком смысле этих понятий, когда слова «мое» и «наше» относятся не к собственности, не к вещам, а к государству, к верности, к идее.

Что мне дорого в личности Островского более всего? Более всего — святая убежденность в необходимости соответствия слова сказанного делу сделанному. Невозможность расхождения слова и дела.

Вот почему, мне кажется, надо печатать и печатать книжки, в которых собрана была бы переписка с одним, с другим, с третьим. Романы Островского молодежь знает. Но трижды важно убедиться в том, каким этот человек был другом, как он был требователен к себе, как не терпел фальши, сражался за справедливость, помогал в беде, сам нуждаясь в помощи и добросердечии.

Ведь подвиг Островского, полностью совпадавший с подвигом его героев, для нас — свод нравственных норм, забывать которые нельзя и которые способны возвысить сейчас и возвышать род людской — в будущем.

1982

ВЕЧНОЕ УЧИТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Это, может быть, один из самых важных вопросов литературы, да и не одной только литературы: почему одни книги умирают, не пережив даже автора, а другие все продолжают и продолжают волновать, хотя, казалось бы, время, о котором они рассказывают, совсем уже далеко от новых времен, и заботы, о которых идет речь, давно ушли от нас? Как одни обретают бессмертие, а другие, мелькнув, забываются, и никто не считает эту забытость неестественной, несправедливой. Более того, почему у одного и того же писателя есть книги, обладающие способностью идти сквозь века, и есть такие, что давно не трогают сердце, оставаясь лишь литературной иллюстрацией своего времени, экспонатом в музее истории?

Кто в этом виновен? Писатель? Читатель? Время? А может быть, это вопрос риторический, потому что виновных нет?

Есть множество примеров, когда сочинение имело шумный читательский успех, едва книга вышла в свет и автор испытывал вполне естественное чувство удовлетворения: он сказал, он услышан, ему рукоплещет не

только читающая публика, но и критика — ан нет, миновали годы, и мы знаем о шумном сочинении лишь по страницам газет, пожелтевших от времени, да исследованиях литературоведов. И, напротив, книга, тихо ставшая на полку, не привлекшая особого внимания, вдруг обретает настоящий интерес народа — так вот скромно, но очень прочно вошли в нашу жизнь многие греющие сердца книги.

Мы часто говорим о беспощадности времени, и это, пожалуй, справедливо, когда подразумевается человеческая жизнь: как известно, никто, и даже ценой бесчестия по примеру Фауста, не обрел бессмертия. Но время и снисходительно: порой, хотя и нечасто, оно вынимает из запасников забвения забытое незаслуженно. Более того, у беспощадного времени есть свои любимцы, книги, картины, власть которых с годами, с веками, освобождаясь от приземленности, дарованной им современниками, возносится в высь духа, становясь тем, что мы, идущие вослед, нарекаем благородными именами: бессмертное, гениальное.

Обо всем этом я задумался, перечитав «Педагогическую поэму» Антона Семеновича Макаренко, перечитав три с половиной десятилетия спустя после того, когда школьником перевернул последнюю ее страницу. Удивительно! С годами книга стала гораздо интереснее для меня, открыла много нового, что, видно, невольно скрыла когда-то моя собственная молодость, я ощутил глубину, спрятанную прежде за развитием бесхитростного сюжета, порой казавшегося скучноватым. И вот теперь хочу разобраться, почему же все-таки не стареет «Педагогическая поэма».

Почему?

Ведь колонии для несовершеннолетних нарушителей такого типа, какая описана в книге, теперь не существуют. Они стали строже. И таких ребят — таких в социальном отношении — теперь нет. Нет у нас детей, которых в колонии привели бы голод, беспризорность, тяжкая судьба, когда мать, отец и вся остальная родня погибли от жестокой и бессмысленной мести белогвардейцев. Да, таких нет, но есть, увы, другие, воспитанные родительским равнодушием или неумением, избравшие защитой от душевной неустроенности не добросердечие, а ожесточенность и насилие, цена которому — преступление малых лет.

В макаренковской колонии не было заборов.

Воспитанники Антона Семеновича гордились высоким званием колониста, оно, это имя, присваивалось, и до него еще надо было дорасти, добраться, теперь его стыдятся, да, в сущности, и звания такого нет — стыдятся того, что оказались в колонии, были там, стремятся забыть бесславную строку своей биографии. Вся книга Макаренко — это гимн труду, в ней, за исключением первых страниц, нет случаев, чтобы труда стыдились, брезговали им, теперь работа становится одним из средств перевоспитания.

Что же, спросите вы, все стало хуже, и только? Нет, совсем напротив. Изменилась природа колонии, потому что изменилась среда, о которой мы говорим. В колонии Макаренко, можно сказать, жили без вины виноватые, с трудной судьбой, совершившие преступление, испорченные, но неплохие, в общем, ребята, которые стремились к хорошей жизни сами. Вообще колония Макаренко не была колонией наказания. Великий учитель, может быть, стихийно, сам того не сознавая, создал коммуну — и в ней ребята с радостью видели выход из своего положения, новый способ жить. Повторюсь снова и снова: свои преступления они совершали, чтобы выжить, за кусок хлеба, и, получив его, больше того, заработав честно собственными руками, другого не искали. Были счастливы вполне справедливо.

Сегодня никто из подростков не совершает преступления из-за того, что ему нечего есть. Преступление совершается из-за распущенности, из-за желания выделиться, наконец, из-за протеста против поступков взрослых, чаще всего родных. Так что сегодня колония — это не коммуна, а место перевоспитания, место наказания, выражаясь официальным языком.

Можно задать вопрос — раз так, то в чем же, мол, дело, почему вы пишите, что книга Макаренко не устарела?

А вот почему. Да, изменился статут колонии. Но не изменилась человеческая природа. Не изменились любовь и ненависть — с чего, собственно говоря, и начинаются все наши радости и печали. Человек становится лучше, когда его «эго», его «я» подавлено страстным желанием делать сообща с другими высокое общее дело, пусть даже «высотность» этого общего не поднимается выше школьного огорода. Забота о других, служение другим — сперва в малом, затем и в большом, составляет духовное наполнение личности — за эту высо-

кую истину убедительно, хотя не прямо, не в лоб бьется «Педагогическая поэма».

Автор назвал свое сочинение поэмой, хотя книга эта умышленно прозаична. Она даже напоминает бесхитростный дневник, по крайней мере — записки «начкола», начальника колонии. Эта разность между прозаизмом материала и возвышенностью названия, задуманная и осуществленная, конечно же, прежде всего в тексте, и назначает нам, читателям, неугасающий интерес к вечным нравственным ценностям и мудрым отношениям, благодаря которым низкое становится высоким.

Молодому читателю, взявшему в руки эту неумирающую книгу о давних временах, но вечных истинах, я бы советовал все время поверять себя и свои поступки простотой здравомыслия и высотами правды настоящего учителя. Это вообще самый хороший способ найти истину, если ищешь ее в книге. Соответствует правда твоих собственных поступков и твоего поведения поступкам и поведению настоящих героев книги или стремлениям такого автора, как великий учитель Макаренко, — значит, ты идешь праведным путем; не соответствует — погоди-ка, остановись, призадумайся, поброди не день и не два, говоря самому себе «непричесанные» слова справедливости, и если хватит ума и сил, честно сказав себе, честно и поступить — ты на пути к истине.

Есть в этой подлинно доброй книге среди многих фигур одна постоянно действующая. Это образ учителя. Человека дела и слова. Ясно, что Антон Семенович почти не пишет о себе. Он вынужденно высказывается, вынужденно поступает и естественно реагирует на неожиданные обстоятельства, вовсе не обходя острые углы. Приведя множество фактов, последовательно рассказывая о событиях, описывая детей, взрослых, работу, обстановку, он как бы просто присутствует при этом, крайне редко упоминая о своих чувствах. И все же лишь в нескольких местах его письмо меняется и проза взрывается публицистикой — яркими, всегда взволнованными энцикликами страстного, много думающего педагога.

Вот одна из них:

«Вы можете быть с ними (ребятами) сухи до последней степени, требовательны до придирчивости, вы можете не замечать их, если они торчат у вас под рукой, можете даже безразлично относиться к их симпа-

тии, но если вы блещете работой, знанием, удачей, то спокойно не оглядывайтесь: они все на вашей стороне, и они не выдадут. Все равно, в чем проявляются эти ваши способности, все равно, кто вы такой: столяр, агроном, кузнец, учитель, машинист.

И наоборот, как бы вы ни были ласковы, занимательны в разговоре, добры и приветливы, как бы вы ни были симпатичны в быту и в отдыхе, если ваше дело сопровождается неудачами и провалами, если на каждом шагу видно, что вы своего дела не знаете, если все у вас оканчивается браком или «пшиком» — никогда вы ничего не заслужите, кроме презрения, иногда снисходительного или иронического, иногда гневного и уничтожающе враждебного, иногда незлобливо шельмующего».

Эту мысль я выписал в статью, предваряющую еще одно издание «Педагогической поэмы» по той простой причине, что адресована эта неумирающая книга всем и, думается, во вторую очередь учителям или тем, кто готовится ими стать, а в первую очередь — будущим родителям, тем совсем молодым людям, кто — обернуться не поспеешь — уже нянькает на руках собственного ребенка. Так вот, влиять на будущего человека будущим матери и отцу, а пока что людям молодым и вовсе не думающим о родительстве, в тысячу раз сподручней будет, если сами-то они — профессионалы, люди, умеющие или то, или это, а еще лучше — умеющие и то и это. Авторитет воспитателя — а родители на первом месте в этом ряду — не на слове, не на ремне, не на строгости стоит, а на деле, на умении дело это делать.

На мой взгляд, эта мысль — краеугольная в единых наших заботах о прочности общества. Уменье рождает желание подражать, желание уметь не хуже, добрую, действенную зависть. В добротной кладке стена крепка тем, что кирпич заходит за кирпич — так же и в общежитии, в чередовании поколений — сцепкой прочны мы. И это еще одна из простых истин «Педагогической поэмы», делающих книгу эту интересной и важной для новых читательских поколений.

Думая об учителе и враче, мы, смертные люди, ошибочно верим в их всемогущество, в то, что есть, непременно есть где-то кудесник врач, способный вылечить любую болезнь, есть где-то волшебник учитель, способный исправить любого неподдающегося. Вера эта столь же понятна, сколь и наивна. Увы, нет таких врачей. И

нет таких педагогов. Повествуя о своей работе, Антон Семенович не обходит острых углов и не огибает свои неудачи. Он не похож на представителя лицемерной педагогики, которая ни в жизнь не признает свою профессиональную ошибку — ни перед взрослыми, ни, уж тем паче, перед детьми. Макаренко подает нам всем пример высокой учительской трезвости, когда признает «неизбежные в каждом производстве убыток и брак». Он даже и крест может поставить на своем воспитаннике, признать свое бессилие. Вот как он пишет об этом:

«Меня возмущали безобразно организованная педагогическая техника и мое техническое бессилие. И я с отвращением и злостью думал о педагогической науке:

«Сколько тысяч лет она существует! Какие имена, какие блестящие мысли: Песталоцци, Руссо, Наторп, Блонский! Сколько книг, сколько бумаги, сколько славы! А в то же время пустое место, ничего нет, с одним хулиганом нельзя управиться, нет ни метода, ни инструмента, ни логики, просто ничего нет. Какое-то шарлатанство».

Впрочем, злость эта на педагогическую науку постепенно уходит из книги. Не говоря об этом прямо, Антон Семенович как бы свидетельствует — всей своей дальнейшей жизнью, всем своим опытом: в практике воспитания бессмысленно надеяться на какую-то всеобщую от всех зол панацею — ее нет. И нет, не может быть учителя, могущего все. Ошибки неизбежны, как неизбежен брак в воспитании. Идеальный учитель не тот, кто все может и все умеет, — таких просто не существует, но тот, кто искренне служит своим воспитанникам, прежде всего думая об их благе.

«Педагогическая поэма», помимо всего прочего, еще яркое свидетельство учительской самоотверженности. Посмотрите — и сам «начкол», забавный и мудрый Калина Иванович, Екатерина Григорьевна — да все, на чьих плечах держится колония имени Горького, — не знают других интересов, кроме интересов дела, которому они себя посвятили. У них, в сущности, даже нет личной жизни. Они растворились в своих учениках.

Сегодня это вроде бы не звучит. И если следует согласиться с тем, что педагог имеет все права на свою, кроме школы, жизнь, то ни в коем случае нельзя согласиться с мыслью о том, что идея педагогической самоотверженности сегодня устарела.

Учительствование — это форма самосожжения, вос-

питание — это не ремесло, а форма любви. Любовь же не измеряется нормами и часами.

Любовь — чувство постоянное и всегдашнее.

Об этом — удивительная книга Антона Семеновича Макаренко. Ее можно было бы назвать: «Поэма человеческой любви».

1985

ДОБРОТА СИЛЬНЫХ

Рей Брэдбери, «Вино из одуванчиков». Харпер Ли, «Убить пересмешника...». Дж. Сэлинджер, «Над пропастью во ржи». Три разных писателя, три непохожие судьбы, три неодинаковые книги. Но одно пронзительное, роднящее эти книги чувство — обнаженной, острой боли за малых сих: что с ними будет, когда их захлестнет волна взрослой жизни, выживут ли они, сумеют ли сохранить в себе неподдельную честность детских мер правды и доброты. И чувство страха: неужто же только изменой детству, его идеалам, забвением незабываемого, неужто же только такой жестокой ценой человек может сохраниться, выжить в море стандартных установлений, правил, которые выдуманы будто нарочно, чтобы убить детство.

И кто придумал эти правила?

Надо же — бывшие дети, ныне взрослые!

Не правда ли, удивительный парадокс: главные недруги детей — те, кто ими когда-то был. Вбив себе в голову, возомнив почему-то, что правила детства существуют только для детства, да и то эти правила ошибочны, взрослое большинство навязывает свой кодекс поведения, понятный ему, и если бы одна только глупость, или жестокость, или непонимание руководили им! Нет, нет, в том-то вся и беда, что очень часто взрослые движимы лучшими чувствами, благими намерениями, даже любовью, и вот именем любви, изо всех сил стараясь помочь детям, они почем зря выжигают эту самую любовь в яростном старании сделать из детей людей.

Будто дети не люди!

Лев Николаевич Толстой так представлял себе типичное взрослое заблуждение:

«В этом заключается вечная ошибка всех педагогических теорий. Мы видим свой идеал впереди, когда он стоит сзади нас. ... Здоровый ребенок родится на свет, вполне удовлетворяя тем требованиям безуслов-

ной гармонии в отношении правды, красоты и добра, которые мы носим в себе; он близок к неодушевленным существам — к растению, к животному, к природе, которая постоянно представляет для нас ту правду, красоту и добро, которых мы ищем и желаем. Во всех веках и у всех людей ребенок представлялся образцом невинности, безгрешности, добра, правды и красоты. Человек родится совершенным, — есть великое слово, сказанное Руссо, и слово это, как камень, останется твердым и истинным. Родившись, человек представляет собой первообраз гармонии правды, красоты и добра. Но каждый час в жизни, каждая минута времени увеличивают пространства, количества и время тех отношений, которые во время его рождения находились в совершенной гармонии, и каждый последующий шаг и каждый последующий час грозит новым нарушением и не дает надежды восстановления нарушенной гармонии.

Большей частью воспитатели выпускают из виду, что детский возраст есть первообраз гармонии, и развитие ребенка, которое независимо идет по неизменным законам, принимают за цель».

Первообраз гармонии правды, красоты и добра...

Повторим же еще и еще раз эти слова, вдумаемся не в поверхностный смысл формулы, но вглядимся в глубину представления, в существо мысли и положения, обернем вспять нашу повзрослевшую память, чтобы вспомнить себя и невозвратную жизнь, не выцветающую от времени, всегда озаренную солнцем, напоенную запахами цветов, спиленного дерева или угля, волшебно таинственную, полную шорохов невидимых существ, движений живых трав, манящую, дарящую откровение, радость, но и страх, но и непонимание, но и боль — обернем нашу память вспять к детству, и я не сомневаюсь — всякий раз, сколько бы ни возвращались туда, первое чувство, которое одолевает нормального человека, — тоска по невозвратности, страдание от необратимости времени и бытия и желание очистить, очистить, очистить свою взрослую жизнь пусть наивными, зато такими чистыми идеалами собственного детства...

Эта мысль не названа впрямую в книгах Брэдбери, Ли, Сэлинджера, но она — главные стропила их сочинений, внутренняя основа, на которой все держится, атмосфера, в которой только и может дышать действие. «Вино из одуванчиков», «Убить пересмешника...», «Над пропастью во ржи» — три блестящих гуманистических

панегирика в защиту детства, три гимна человечности, три адвокатские речи в пользу доброты, любви и добросердечия.

Но только ли?

Власть подлинного искусства заключена в яркости образных представлений. Однако подлинным шедевром сочинение может стать лишь при том условии, что яркая образность сливается в глубокую философскую концепцию.

Не думая о том нисколько, ничуточки не заботясь об этом, Брэдбери, Ли и Сэлинджер представляют нам с вами свои личные философские выводы, которые обладают свойствами вовсе не философски-уравновешенными — они врываются, не спросясь, в наши сердца, в наши души, заставляя нас содрогаться от чувства справедливости и несправедливости, от боли и радости, от смеха и тоски.

В чем же суть этих философий?

Главная общая идея всех трех книг, как, впрочем, истинно гуманистических произведений литературы и искусства вообще, прикасающихся к теме детства и — добавим — старости, есть защита, охранение тех, кто — еще или уже — слаб, нуждается в поддержке, в помощи, в духовной силе всех, кто силой такой обладает.

Дети и старики. Старики и дети. Два этих возраста можно уподобить двум Великим Озерам, сообщающимся между собой стремительной рекой взрослого бытия. Многим кажется, что река эта и есть главный стержень жизни, а опровергнуть такое утверждение не всегда просто, потому что взрослому миру многое дано и многое на него возложено, однако детство и старость обладают двумя свойствами, перед которыми надобно отступить, которые следует осмыслить и не забывать ни на день — Начальностью и Конечностью всего сущего. То есть нас самих.

Глупы ли, жестоки ли, неправедны ли взрослые, — причинность не имеет ровно никакого значения! — они всегда одинаково не правы и немудры, если позволяют себе такую нищенскую роскошь, такое ничтожное расточительство — не помнить, попирать, не уважать, унижать, отвергать, не любить, отталкивать человеческую Начальность и Конечность, иными словами — самих себя, свое бывшее детство, свою будущую старость.

Казалось бы, все так просто — помни лишь самого себя в начале, предполагая собственный же конец,

ан нет, взрослый мир часто демонстрирует поразительное безрассудство, чудовищный эгоизм, и примеры конкретного бытия дарят нам, увы, печальные образцы взрослого отмежевания от детства и старости, глупейшего возведения плотин перед Озерами детства и старости, будто эти взрослые умышленно норовят остановить скорость реки собственной жизни.

Нет, это еще никому не удалось — замедлить течение жизни и пожить дольше благодаря ожесточению, злобе, нетерпимости, обращенным к слабым мира сего. Жизнь можно продлить лишь одним, благородным способом, сея любовь и добрую память в душах тех, кто идет вслед за нами, и таким образом продлевая свое духовное существование.

Обратите внимание: великая, пусть и не новая, философская мысль о мостах, перекинутых жизнью между детством и старостью, кажется едва ли не несущей конструкцией во всех трех книгах — «Вино из одуванчиков», «Убить пересмешника...» и «Над пропастью во ржи». Рэй Брэдбери, всемирно известный фантаст, даже становится скрупулезным натуралистом, описывая похожую непохожесть старости и детства. Старая миссис Бентли хоть и названа им женщиной бережливой, но примета эта выглядит совсем по-детски: «У нее хранились старые билеты, театральные программы, обрывки кружев, шарфики, железнодорожные пересадочные билеты» — то, что взрослые оценят как странность возраста, а дети — как настоящую ценность важных для них, понимаемых ими вещей. Зато вот они не понимают, отчего миссис Бентли в самую жару, когда с них пот катит градом, вовсе не жарко, — это признак старости. И никак не понять Тому Сполдингу, Джейн и Элис, что миссис Бентли когда-то звали Элен и когда-то она была маленькой девочкой. Старая женщина показывает им колечко, которое носила в детстве, маленькую гребенку, которой когда-то расчесывала волосы, свою детскую фотографию, но сознание маленьких людей, пока что скованное сном детского непонимания, не может представить такое простое: дети, прожив жизнь, становятся стариками. Они скажут: «Нет, эти старые вороны никогда не были ласточками, эти совы не могли быть иволгами, эти попугаи не были певчими дроздами». «Да, да, придет день — и вы станете такими же, как я!» — «Ну нет, — ответили девочки. — Ведь правда, этого не может быть?» — спрашивали они друг друга. «Вот

увидите», — сказала миссис Бентли. А про себя думала, господи боже, дети есть дети, а старухи есть старухи, и между ними пропасть. Они не могут представить себе, как меняется человек, если не видели этого собственными глазами».

Нет, напрасно волнуется миссис Бентли: рано или поздно детство освободится от собственных иллюзий. Но в этом освобождении всегда заключена какая-то тоска, неболтливая боль — неболтливая потому, что у детства еще нет слов для выражения этой боли, и высшая мудрость взрослых — почувствовать молчаливое страдание взросления, не торопя его, не подгоняя стайки малышей к взрослому водопою точных знаний, лишенных наивности.

Мне кажется, именно по этой простой, но важной причине миссис Бентли мудро уступает малышам, вступая в горькую для себя, но спасительную для детей игру и разыгрывая спектакль, радующий тем, что ей-то дано знать настоящий ответ:

«— Сколько вам лет, миссис Бентли?

— Семьдесят два.

— А сколько вам было пятьдесят лет назад?

— Семьдесят два.

— И вы никогда не были молодая и никогда не носили лент и вот таких платьев?

— Никогда.

— А как вас зовут?

— Миссис Бентли.

— И вы всю жизнь прожили в этом доме?

— Всю жизнь.

— И никогда не были хорошенькой?

— Никогда.

— Никогда-никогда за тысячу миллионов лет?

В душной тишине летнего полудня девочки пытливо склонились к старой женщине и ждали ответа.

— Никогда, — отвечала миссис Бентли. — Никогда-никогда за тысячу миллионов лет».

Впрочем, нет ли в этом щедром сроке — тысяча миллионов лет — доброй правды детства, когда жизнь кажется бесконечной не только для маленьких, но и дарована всем остальным, как бы утверждая бесконечность миссис Бентли и всего сущего на земле — столь удивительного, красочного и неповторимого, что это волшебство просто не имеет права когда-то кончиться. Не заключен ли в таком представлении тот самый тол-

стовский первообраз гармонии правды, красоты и добра? Не заключена ли в жестком детском неверии вселенская вера в общий мир всего живого? Нет ли высшей правды в наивности детей, которая, конечно, не может удержать взрослых от безумий всякого рода, включая самоуничтожение, но способна внушить мысль о подлинной истине, которая есть цельность и первородная ценность мира? Не оказывается ли ребенок в нашем безумном мире носителем правды высшей степени — всей своей сутью, всем своим существованием, включая наивную веру в вечность и доброту?

Харпер Ли и Сэлинджер — каждый по-своему — развивают и укрепляют мысль о том, что из всех хрупких ценностей мира самой ломкой оказывается душа ребенка, отрока, юноши. Вульгарная педагогика и торопливая взрослость с трагической недоверчивостью склонны полагать детство незрелостью, рассматривая поступки детей как лишь деяния характеров. Характер, нрав, личность, спору нет, действуют в ранней жизни человека с предельной открытостью, но «нравное» поведение объективно-то диктуется жизнью и влиянием окружающих взрослых или детей, «продолжающих» взрослых, копирующих их и добрую, и дурную суть. Искать корни детских бед, как, впрочем, находить истоки детских достоинств, следует в мире взрослых, не принижая детских душ до уровня неспелых, а оттого кислых плодов.

Никто — никакой педагог, никакой мудрец — не в силах сказать, когда и в чем наступила зрелость, в чем человек, начинающий жизнь, еще не способен разобраться, а что он чувствует основательней и глубже любого взрослого. В тонких этих измерениях наука сдается, уступая право суждения литературе, искусству, где по самой природе этих видов человеческого познания важны тенденции, а не точный расчет, чувство, интуиция, а не гарантированное обоснование, логика поступков и антилогика слез и смеха, а не фармацевтическая взвешенность.

И оказывается: эта власть раскрепощенной художественной мысли нам важнее, дороже, а по смыслу — гораздо существеннее многого иного.

Вот история Холдена Колфилда, американского отрока, который никак не уживается с приятелями по школе, который никак не возьмет в толк разумные проповеди родителей и учителей, который рад бы найти утеше-

ние в первой любви, да его корчит от лживости его подруги, создавшей в своих мечтах стандартный идеал взрослой будущности, не вызывающий у Холдена ничего, кроме отвращения, который пытается приобщиться к запретным плодам взрослой жизни и терпит поражение за поражением. Мечущийся, на каждом шагу получающий пощечины неудач, одинокий этот волчонок, как ни удивительно, не существует лишь только на этой земле, никому не нужный, а мыслит, живет глубокой духовной жизнью, руководствуясь идеалом высокой нравственной силы. В сумятице, окружающей его, он выбирает абсолютно точную цель, продиктованную не ненавистью — это было бы так легко и объяснимо, — а любовью. Его любовь распространяется на всех малышей, хотя он и сам-то всего лишь отрок, «гадкий утенок», еще и не подозревающий, что станет прекрасным лебедем, это все за гранью повествования, — так вот, его любовь обращена ко всем, кто младше его, — к умершему брату Алли, к сестренке Фиби, к незнакомой девчушке, которой он поправляет коньки, к малышу, который упорно шагал не рядом с родителями, по тротуару, а по мостовой, и пел негромко — для себя пел — эту песенку: «Если ты ловил кого-то вечером во ржи...» И, может быть, эта любовь к младшим не случайна в Холдене, может быть, она родилась в безвоздушном пространстве нелюбви и равнодушия к нему, Холдену, как самый естественный ответ на нее.

Чувствуя нелюбовь, он хотел любить. Жаждал этой любви. И вовсе не необыкновенной любви к девчонке жаждет большое сердце небольшого мальчишки, а великой, невзыскующей любви к тем, кто ее, этой любви, не ждет и не просит и тем не менее остро нуждается в ней — о нужде этой Холден скажет так своей сестренке Фиби:

«...Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю обрыва, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверное, я дурак».

Нет, он не дурак. И дело не в том, что у него умное сердце. Умное — еще не всегда горячее. У Холдена, мальчишки, жаждущего спасать других, — горячее, неравнодушное сердце, всем своим ритмом протестующее против рассудочного посыла, процитированного в этой же книге: «Признак незрелости человека — то, что он хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрелости — то, что он хочет смиренно жить ради правого дела».

В противостоянии с обывательским эгоизмом и уравновешенностью живет подросток Холден, не будущий человек, а человек, не слабый отрок, но зрелая личность, и это при том, что окружающим его взрослым и сверстникам внешне его поведение кажется вопиющим образцом непоследовательности, пренебрежения, семейного да и общественного вызова.

Как же часто, вдаваясь в подробности внешней линии поведения, взрослый мир безнадежно беспомощен, не понимая мотивов этого поведения, не принимая в расчет, не анализируя поведения внутреннего, так сказать, истории поступков и им предшествующих мыслей. Книга Сэлинджера, таким образом, исполняет двойные обязанности — защищает отрочество от взрослого непонимания, объясняя растущего человека, и утверждает право на защиту детства даже человеком несовершеннолетним. Вообще совершеннолетие, как бы утверждает книга «Над пропастью во ржи», понятие не возрастное, а духовное. Право на защиту имеет не взрослый, а тот, кто взросл духом, душевной своей добротой.

Холден — мальчик, у него, как водится говорить, все еще впереди, и за пределами книги, в расплывчатой дали предсказуемой, предугадываемой судьбы, можно разглядеть не легкую жизнь, но жизнь осмысленную, способную осчастливить многих слабых силой веры в них, надежды на них, любви к ним.

Холден в будущем — это как бы материализованная мечта Толстого в первообразе правды, красоты и добра, только не оставшаяся в детстве, а реализованная осознанным взрослением. Впрочем, сама история Холдена, рассказанная Сэлинджером, все эти «тысяча миллионов» конфликтов, обрушившихся на него или же им самим на себя обрушенных, и есть история борьбы наивного, но чистого «первообраза» с теми отступлениями от истины, которые навязывает ему вступление во взрослость. Адаптация первообраза к окружающему его ми-

ру взрослых или рано усвоившему не самые достойные правила взрослой игры миру детей, конфликты, возникающие в соприкосновении двух разных норм бытия, и есть история отступления от идеала как в житейском, как в нравственном, так и в педагогическом смысле слова.

Мы создали для себя удобные понятия — переходный возраст, трудный возраст, — как бы объясняющие взрослым повышенную конфликтность, которую переживает чаще всего в отрочестве каждый растущий человек. Но не слишком ли утешительна терминология, оптом списывающая все проблемы на спасительную необъяснимость возраста? Может, речь идет о последних боях детства за свою чистоту против обкатывающих личность, срубающих со ствола все сучки индивидуальности взрослых — даже не правил — нормативов? Может, это «первообраз правды, красоты и добра» прощается с нами фейерверком разнообразных протестов? Может, это наш общий мир, мир детей, взрослых и стариков, справляет тризну по таким, увы, нетраурным потерям, как сокращение честности, убийство прямоты и откровенности, смерть веры и добросердечия, впадение в летаргию отзывчивости и бескорыстия? Может, радость по случаю завершения переходного трудного возраста нелепа и вместо смеха были бы уместнее слезы, потому как покорность — или покоренность? — послушность, довольствование общепринятым, выверенность каждого шага, нежелание рисковать чаще всего означают не победу, а поражение взрослого мира? Что толку с того, что еще один не желающий рисковать вступил в уважающее себя царство равных! Что толку с того, что еще один разноцветный мир стал тусклее и похожее на миры иных одинаково дышащих и равно слышащих? Не потеряло ли человечество поэта, художника, ученого? И, напротив того, если внимательно вглядеться, не отыщем ли мы за благообразными ликами почтенных ученых и увенчанных лаврами поэтов, может, и состарившиеся, но вовсе не покоренные личности детей, оказавших сопротивление стандарту общепринятости, выдержавших борьбу за самих себя — за детскую наивность в понимании давно уже кем-то понятых и все же бесконечно непонятых явлений, вещей, понятий, страхов, предрассудков, ненавистей, очевидностей и любви к живому, к малому, к наивному, ведь наивность — тайный смысл всех откровений, сулящих открытия.

Все три книги, о которых идет речь, кроме всего

остального, — остросоциальные вещи. Однако же самая социальная среди них — «Убить пересмешника...». Ясности ради заметим, что пересмешник—это птица. Она ничего не требует, ничего не хочет, она только поет, доставляя людям радость и наслаждение, и вот почему-то кто-то хочет убить такую птицу... Впрочем, роман написан как бы от имени маленькой девочки по прозвищу Глазастик, и это прозвище не случайно. Глазастик видит все, что положено видеть маленькому человеку с небольшой высоты его роста и взглядом, полным наивной и невинной откровенности. Только здесь уже не один первообраз правды, красоты и добра, не только идеальная совершенность ребенка играют свою объективную роль, но и мудрый взрослый, отец девочки по имени Аттикус.

И здесь мы вплотную подходим к важнейшему повороту рассуждений.

До сих пор, опираясь на суждение Толстого и полностью с ним солидаризируясь, я исходил из положения наиболее, увы, типического — первообраз, приходя в соприкосновение со взрослым миром, лишается индивидуальности, усилия общепринятых нормативов сводятся к тому, чтобы снивелировать особенности личности. Холден Сэлинджера страдает от прессинга стандарта требований, предъявляемых ему, и все его сопротивление — протест против этой изнуряющей нормативности во тьме одиночества.

Аттикус, отец Глазастика и ее брата Джима, — совсем уже взрослый Холден Колфилд, можно построить и такую цепь. Он, конечно, совсем иной, но он остался таким, каким остался наверняка лишь потому, что в детстве, а потом в отрочестве выбрал для себя нечто подобное тому, что выбрал Холден Сэлинджера, — спасать ребят над пропастью во ржи. Только став взрослым, Аттикус решил спасать не одних лишь малышей, но и взрослых, но и негров, что не так-то просто было сделать на Юге США в 1935 году.

Указание этой даты требуется мне для уточнения исторической истины, а вовсе не для того, чтобы подчеркнуть — мол, роман этот из стародавних времен, нет, наоборот. Надо всячески утверждать, что взаимоотношения детства, взрослости и старости — вневременные понятия. Время вносит лишь свои коррективы в характер этих взаимоотношений, дарует человеческим связям новые психологические оттенки. Честность, верность, надежность, говоря более возвышенными, философскими

категориями Толстого — правда, красота, добро, — категории постоянные, вечные, нужные любому народу, — так вот, нравственные первоосновы всегда одни, и будь то Юг США в 1935 году или иное другое место в конце XX века, — предательство, зло, зависть всегда всякий народ признает за предательство, зло и зависть, а не за добродетель и благо. И великое счастье, что так оно и есть.

В исканиях добра и справедливости едино должно быть человечество и тогда, когда речь идет о детях.

Эта забота не может оставаться лишь абстрактным лозунгом. Первообраз правды, красоты и добра может быть не утрачен воспитанием и не выжжен жизнью при одном лишь очень серьезном усилии — если над сознанием ребенка будут распростерты ладони мудрого и любящего взрослого — учителя, отца или матери, вообще любого взрослого, который полон деятельной доброты.

Итак, Глазастик и брат ее Джим. Закрываешь книгу с полным сознанием того, что за этих двух ребятишек можно не беспокоиться. Их отец, честный и храбрый человек по имени Аттикус, помог детям сохранить самое главное, что требуется для спасения детства: истовую веру в необходимость праведной борьбы, в необходимость отстаивать справедливость, какой бы она тяжкой ни была. В этом романе малыши как бы выбредают из мира своего собственного детства во взрослый мир, освобождаясь от наивных пут детства, но это освобождение приносит неожиданное облегчение. Словно бы невзначай они узнают, что их Аттикус вовсе не старик, а самый меткий стрелок в округе и вовсе не равнодушный обыватель, а неподкупный и отважный служитель справедливости, если даже эта справедливость неудобна для него самого и даже его беззащитных детей. Как всякое зло, подлость тут бьет из-за спины, в темноте, бьет не по сильному отцу, а по его слабым детям, и хотя подлость оказывается поверженной насмерть — мы понимаем всю условность погибели зла: нет, нет, оно сдается не так легко и не так невзначай, как в романе, хотя романный исход представляется единственно истинным.

Итак, Аттикус. Я говорил вначале, что главные враги детей и детства — едва ли единственные, хотя и в самых разнообразных своих проявлениях, — бывшие дети, а ныне взрослые. Однако и главные друзья детей и детства — едва ли не единственные и тоже в самых разнообразных своих проявлениях — бывшие дети, ныне взрослые.

Друг всех детей своей округи, взрослый охранитель детства Аттикус, пронесший детские идеалы сквозь испытания взрослости и принесший это бесценное достояние своим детям, — вот он, проводник и спасатель, полномочный представитель деятельной доброты, способной сберечь и во взрослом мире наивные веры детства.

Как это возможно практически?

И просто, и трудно — сразу, в одно и то же время.

Просто потому, что к Аттикусу примкнут двое его детей — Глазастик и Джим. А где-то есть еще Холден. И живет в мире Дуглас, герой книги «Вино из одуванчиков».

В мире взрослых есть такие оазисы, что ли... Там собираются добрые дела взрослых, помнящих свое детство. Такие дела служат малышам, впрочем, это могут быть подростки с пушком, пробивающимся над верхней губой, вроде Холдена. Старшие, способные совершать добрые дела, делают их не из одного только удовольствия, но чтобы сберечь тех, кто переходит из детства во взрослость. Впрочем, они всегда думают и о стариках.

Дети сами по себе, конечно, большая сила. Но лучше, если у них будут такие проводники, как Аттикус и Холден. Они пойдут впереди слабых, указывая путь, и проведут тропами, обходящими зло, невежество, унижение. Правда, об эти угрюмые скалы все равно придется зацепиться, тут уж ничего не поделаешь, и все же это совсем не то, что вдребезги разбиться о них. Как это часто бывает.

Да, есть, пожалуй, на свете оазисы добрых дел, но это не значит, что в таких оазисах поют птицы, сияет яркое небо и греет безмятежное солнце, нет. В оазисах идет работа. И, как всякая работа, она трудна, даже изнуряюща. Это необходимо.

Без изнуряющего труда оазис доброты скоро сократится, а потом исчезнет и вовсе. Поэтому добрые взрослые должны расширять свои пашни, высаживать семена, поливать их, пока не взойдут новые ростки.

Среди добрых взрослых дел — и книги, написанные разными писателями в разное время. И все же они об одном. О необходимости охранять первоистоки человечности в каждом человеке.

Среди пахарей доброты — три американских гуманиста: Рэй Брэдбери, Харпер Ли, Дж. Д. Сэлинджер.

1988

ПОЧИТАНИЕ ВЕЛИКОГО

Предисловие к сборнику эссе «Силуэты» *

Всеедневно имея дело с новой и новой человеческой порослью, те, кто задумывает и выпускает наш молодежный журнал, не раз и не два спохватывались: как же непрочны, а главное, неглубоки представления наших молодых читателей, если речь заходит о духовном наследии отечества, о нашей великой и славной классике.

В чем тут загвоздка?

Конечно же, надо оговориться: это не поголовное явление. Были, есть и будут в новых поколениях сотни, тысячи, десятки тысяч таких, для кого культура прошлых поколений, наша классика — духовное омовение, очищающее человека в его неукротимом беге вперед, великая власть, дарующая человеку свободу развития, наконец, таинство, наполняющее душу волшебной силой, которая помогает взлететь над временем и обозреть бескрайнее пространство, именуемое жизнью, страданием и возвышением народов.

Однако, даже десятки тысяч — еще не все поколение. Что же остальные? Отчего они, может, и приобщившись к высокому наследию, все же не постигли его глубин? Причина тут не одна, и нет смысла лишь на одно какое-то явление перекладывать всю полноту ответственности.

Плоховато, пожалуй, работает библиотекарь, всего-то навсего предлагающий том классики, вместо увлеченного, даже интригующего — обращения? намека? цепляния? — к интересу, к духовным потребностям растущего человека. И невосполненного вакуума в библиотечном деле — нельзя не признать — хоть отбавляй.

Должное следует воздать и семье: к печали нашей утрачена почти совсем, за ископаемыми, редкостными исключениями, привычка вечерами читать стихи великих наших предтеч в семейном кругу, когда голос имеют не только молодые, кому в школе «задали», но и матери, отцы, деды и бабки, у каждого из которых своя история приобщения к великому, возносящему слову, а оттого и отношение к услышанному, к цитированному —

* Рубрика «Силуэты» многие годы печаталась в «Смене», а в 1986 году издательство «Правда» опубликовало эти эссе отдельным томом.

всегда иное, очеловеченное уже не одной, хоть и величайшей, человечностью бессмертного автора, но и моментами приобщения ближайших пращуров молодого человека.

Увы, куда чаще и все привычней становится нам постоянная, неменяющаяся сцена, когда семья — от мала до велика — молча, совсем изолированно, будто каждый сам по себе живет, уставилась в окно всезнающего ящика, который не знает передыху, и, много видя, многое наблюдая, остается все на том же пугающе широком крыльце познаний, никуда не двигаясь с него, как бы даже пригревшись под холодным, но удобным светом незаходящего телевизионного солнца.

С одной стороны, телевозможности способны приобщить человека к высокой литературе, создать импульс интереса, но лишь приобщить и лишь вызвать, потому что то, что видимо на экране, как ни старайся, все же не литература, а лишь только кинематографическая или телевизионная ее интерпретация, лишь версия, лишь копия или же зеркальное отображение, как правило, зеркалами достаточно вольно преломленное или переломанное, — зависимо от обстоятельств. Но главное недостоинство телевизионной трактовки литературы в том, что она гарантирует одинаковую, в отличие от книги, глубину, равную для людей различных духовных запросов, разной подготовки. Усреднение это, этот общий знаменатель — печальны, особенно если принять во внимание, что иная юная личность навсегда и удовольствуется тем познанием, какое даровало ей телевидение, в то время как, иди она от книги, что-то бы и увлекло, а что-то и отвлекло, но мы же отлично знаем, что именно эти увлечения да отвлечения и составляют суть знания, проникновение в глубину, увлеченность, нестандартность постижения истины.

Но самая большая печаль, широко, впрочем, известная — это печаль усталых женщин, именуемых «литераторшами», — хотя есть в их рядах и редкие мужчины, — то ли не жаждущих, то ли не могущих проторить тропку к сердцу каждого из тридцати, шестидесяти, ста своих учеников одновременно — пробить дорожку и одарить малых сих чудом вдохновения, перворадости, духовной высоты. Литературу «проходят», ее «задают» с единственной целью — получить ответ из стандартных, заезженных фраз учебника не очень высокой пробы, цифири дат и лишь внешнего костяка

знаний, при котором великие персонажи становятся похожими на бесприютных бродяг, одетых в лохмотья окололитературоведческих формулировок, некие псевдосимволы то ли определений, то ли общественных ситуаций.

Творчество великих обужено программой и учебником, и это понятно, но такая «понятность», поддержанная учителем, обращается бедой, достаточно массовой притом — бедой малознания, поверхностных представлений, приобщением к великому — лишь на отметку в классном журнале, в аттестате зрелости. Возникает возможность уничижения литературы уроками литературы, попрания ее теми, кто, казалось бы, жизнь ей посвящает, целую жизнь — ни мало ни много!

Учитель должен открывать отрокам волшебную потаенную дверь в сияющий мир литературы — и счастлив ученик, которому встретился такой учитель, — но у нас возник даже специальный термин — «хрестоматизация», и еще одно выражение — «захрестоматизированный классик». Не правда ли, звучит почти как замороженный окунь или замороженный хек — каких только словесных оборотов не дарует нам жизнь...

Словом, «захрестоматизированная» классика — это та великая литература наших предтеч, которая, будучи «обужена» и «зарезана» до объемов кратких школьных хрестоматий, познается целыми поколениями именно в таком объеме — даже Пушкин! даже Лермонтов! даже Гоголь! даже Толстой! — и честный долг, всенепременная обязанность библиотек и учителей, родителей и журналов, писателей и ученых *расхрестоматизировать* классику, приблизить чаяния и страдания великих сих к нашим дням и нравственной сути дней этих, осветляя их высокими идеалами, которые не мы первые назвали и обозначили.

Расхрестоматизация, иными словами — приближение классики — это замысел и суть целой серии разнообразных по жанру публикаций в журнале «Смена», помеченных рубрикой «Силуэты». Ясное дело, речь в журнале, да еще и тонком, может идти не более как о силуэте великого человека, лишь о наброске его портрета — портрета его души или творчества, но всякий раз, обращаясь к известному прозаику, замечательному поэту, строгому публицисту или взыскательному критику, мы, работники журнала, просили его стремиться к «расхрестоматизации», иными словами,

просили найти новые слова, изложить собственное, очень личное, субъективное, а потому сразу вдвойне интересное представление о прозе или поэзии, о жизни личной и спорах общественных, словом, о том, что представляется нынешнему литератору особо важным в судьбе великого человека. Наши «Силуэты» — не всеобъемлющие исследования, мы избирали вольный, но, прежде всего, очеловеченный ход — дабы пробудить новый интерес к старым книгам и мыслям и подарить молодым, лишь начинающим жить людям, желание обрести свой собственный духовный багаж.

Томик соединенных таким образом силуэтов не претендует на завершенность — журнал продолжает и будет продолжать эту работу, бескрайнюю по возможностям, но какой-то контур, важный по исторической и литературной сущности, создан. Мы стремились рассказать не только о самых великих — о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Достоевском, Толстом, Чехове, — но и о тех, кто шел рядом с титанами, вознося ввысь прекрасную горную цепь нашей культуры.

Вообще подразделять литературу на первых, вторых и третьих — негоже. Суетное и неплодотворное дело это ничего не обещает, кроме разве заниженного знания литературы в целом, потому что зная, скажем, Пушкина, ежели это настоящее, не мнимое, не верхоглядское знание, невозможно не знать и тех, что работал рядом, потому как в культуре, точно на медоносном лугу, все цветы равны и ни один не горек для трудолюбивой пчелы.

Кстати, и классики наши, щедрые в отношениях друг с другом, считали простой, а не сверхъестественной нормой одарить приятеля пришедшим в голову гениальным сюжетом, как Пушкин Гоголя идеей «Ревизора», подарить талантливую строку и искренно — с восторгом! — позавидовать хорошо слаженному сочинению. Они были живыми людьми и мало помышляли о литературных рангах, так почему же мы, их наследники и потомки, должны превращаться в провизоров, раскладывающих по мере их действия лекарственные средства.

Еще одно, последнее замечание.

Да, можно и следует огорчаться, указывая на них, точками опрощения нашей духовной жизни. Но справедливо заметить, что ни учитель, ни родитель, ни библиотека — никто в одиночку не разрубит гордиев узел,

и лишь сообща способно нам восполнить пробоины в стенах познания отечественной литературы.

Если этот томик будет скромным кирпичиком, подручным учителю, матери, библиотекарю да и самому юному человеку в важном деле самообразования и почтительнейшего познания классики — польза есть, а значит, и дело сделано.

1986

СТИХИ, ПРИШЕДШИЕ С ВОЙНЫ

Вот и приспело время, когда мальчикам сорок первого года, тем, чье семнадцатилетие ударилось о войну, и тем, кто в эту войну выжил, — стукнуло шестьдесят. Седой, дедовский возраст. И — оглянитесь! — как немного их, мужчин рождения двадцать четвертого года. Как немного их в жизни и как мало в литературе.

Мой рассказ — об одном из немногих.

Овидий Любовиков — коренной, родовой вятич, и хотя я прекрасно знаю, что правильно пишется «вятчанин», тянет все-таки к более краткому и сильному «вятич», особенно когда думаю про старшего и давнего своего друга.

Человек он не шибко разговорчивый, с людьми сходиться не поспешает, на обещания и комплименты скуп, но если уж пообещает — непременно выполнит, а если похвалит, то найдет слова веские, отчего цена похвале втрое выше. Все это я пишу к тому, чтобы пояснить и свое понимание неправильного употребления слова «вятич» и глубинное соответствие именно ему вятского норова и сдержанную силу характера человека, которого я многие десятилетия высоко и душевно ценю.

Овидий Любовиков — человек с биографией, и некоторым может показаться, что это облегчило его жизнь. Я же хочу показать обратное, хотя, говоря откровенно, никогда не приближался к этому деликатному повороту в разговорах с Овидием Михайловичем. Дело в том, что у него был знаменитый — для вятской истории — отец, большевик с 1905 года, рабочий, революционер-подпольщик, один из тех, кто тайно печатал местную большевистскую газету, арестован, прошел испытание Александровским централом в Иркутске, руководил красногвардейским отрядом, воевал с басма-

чами, а потом возглавил вятское общество бывших политкаторжан.

Я знал знаменитого старика тяжело больным, и жену его, мать Овидия, знал — скромные, деликатные люди. Никогда не кичившиеся своими заслугами, опять же по-вятски сдержанные, строгие, и по-людски, по-русски приветливые. Такие люди душу согревают, когда переступаешь порог крестьянского дома, остановившись на размытой, трудной вятской дороге — не имени твоего не спрося, ни куда путь держишь — сесть предложат, протянут для начала кружку молока, а если нет его, ковшик водицы. Нет, не богата угощеньями вятская глинистая земля, зато чиста людьми и помыслами, и вода ее, поданная в ковшике, ясна и прозрачна, точно приветливость наших людей.

Такие вот родители были у Овидия Михайловича.

Нынче про родителей как-то не принято писать, вроде нескромно, но я глубоко уверен, достоинства ли, недостоинства — все от родителей, а не от лукавого, и потому, если хочешь объяснить благородство цели и дела, грех забывать тех, кто не только жизнь дал, но и собственной судьбой внушил истины, дающие свой, новый пророст.

Думая о стихах Овидия Любовикова, главным их достоинством я считаю ясность и определенность, а это, по моему разумению, идет от характера, от вятского корня, от отцовства и материнства, которые, как ни говори, пример для жизни и линии поведения.

Так что когда война ударила, сын старого большевика, семнадцатилетний школьник Овидий Любовиков, не закончив десятого класса, ушел рядовым лыжного батальона, благо что лыжи — исконно вятский вид транспорта.

И под Москву.

Ему повезло: вышел живым из первой атаки. Послали учиться на лейтенанта, в артучилище. Потом третья отдельная лыжная бригада — и в лыжной бригаде была артиллерия сорокапяток. На аэросанях шли по озеру Ильмень в тыл к врагу, комбатом стал, в Латвии ранило.

В строках военных биографий много схожего. Похоже передвигались из полка в полк, и похожи перед этими передвижками остановки: госпиталь такой-то, такой-то или такой. И, не сговариваясь, воевавшие на разных фронтах, совершенно одинаково утверждают,

что самым смертельным званием в армии было звание лейтенантское. Может, оттого, что лейтенантов и положено по военному штату больше, самое массовое воинское звание, а все-таки, прежде всего, потому, что младший командир ближе к огню, к смерти.

Да, давно уже замечено, что многие нынешние прозаики и поэты рождены войной. Я бы прибавил к этому еще одну подробность: большинство из них — лейтенанты. Бывшие, конечно. Полковники, мы знаем, тоже были в армии литературы, но тут уж об ином речь — это были сложившиеся до войны, известные люди. А новорожденная литература являлась под грохот разрывов и госпитальный стон в лейтенантских да солдатских погонах.

Одним из них был Овидий Любовиков. Десятилетия минули после войны, а она как будто совсем рядом в его душе, и это еще один, говоря ученым словом, феномен, удивительная особенность «лейтенантской» поэзии. Кого ни вспомни из них, начиная с Сергея Орлова, а ведь все похожи: писали и пишут, конечно, о разном, но как только о войне, напрягаются струны, и голос — особый, заставляет слушать.

Многие из поэтов высокого этого ряда говорят, что пишут, выполняя свой долг, и с этим не поспоришь, справедливо, но мне кажется, тут есть еще нечто особое, то, что не объяснишь словами и что порой выше нас: время не отпускает от себя, время, те кровавые четыре года, властвует душой. Да, это выше человека.

Вот и Овидий Любовиков, как все его собратья, не может выйти из круга памяти — да будет благословенна эта обреченность. Я хочу привести целиком только одно стихотворение Любовикова «Малый город», в котором мне видится вся суть его индивидуальной памяти — и человеческая, и поэтическая. И, может быть, строгая близость нам таких немногословных и точных стихов, узнаваемость мыслей и есть то таинственное преобразование личного опыта в общее, а значит, народное чувство — горечи ли, страдания ли, совестливости ли, утешения?

Малый город,
                а стоил нам крови большой,
Вот он весь в окулярах бинокля.
Но два дня кровоточил на улицах бой,
И ругался комдив:
«Будь ты проклят!»

Нынче я два часа
по нему колесил,
Весь его обошел метр за метром.
А на кладбище братском
поболе могил,
Чем всех жителей в городе этом.
Возле скорбной плиты
потрясенно молчу,
Как солдат,
безнадежно отставший от части.
Малый город,
тебе я шепчу, и кричу:
— Будь ты счастлив,
Будь счастлив!

Менее всего стихи этого поэта можно признать воспоминаниями. Написанные сегодня, они, прежде всего, и обращены в сегодня, взывая не только к нашей памятливости, но и остальным человеческим чувствам, к тем чувствам, которыми мы испытываем каждый день и каждый час.

И через столько лет — сойти с ума! —
Настигнут вдруг
тоской неодолимой:
За всю войну
любимой
ни письма
Я не отправил.
Не было любимой.

В этих строчках нет укора нынешним молодым, которые полными пригоршнями черпают покой и любовь, но разве не содрогнется молодая душа, не обделенная совестливостью, поставив себя на место мальчишек в лейтенантских шинелях?

Поэтом военного поколения щедро дарована метафоричность — может быть, это тоже долг: не мямлить вялые строфы, а бить наотмашь, писать в точь.

На той войне был скоротечен
Прощанья скорбный ритуал,
Как помню, по шпаргалке речи
Комбат у гроба не читал.
Но над могилою три залпа,
Три грома, три огня подряд.
И пили мы до дна и залпом
Всю горечь горькую утрат.

Что и говорить, цитировать стихи трудно, у них есть свой собственный голос, и лучше всего, когда стихи читаются друг за дружкой. Но приходит пора, когда

следует сказать об их авторе. Потому хотя бы, что стихи не рождаются сами. Их, точно ток, генерирует душа человека. Если честен и прям человек, честны и прямы его стихи. Как, например, эти, сказанные опять же о стихах:

И по ранжиру
И по рангу,
Все перед совестью равны, —
Они, от фланга и до фланга,
Стихи,
пришедшие с войны.

Да, у стихов, как у солдат, пришедших с войны, особая стать, особый тон, особое волнение.

Говорите, лейтенанты, говорите! Мы слушаем и слышим вас.

1984

НЕВОСТРЕБОВАННОСТЬ

Видать, есть какой-то тайный закон, при котором всякое множество теряет свою самоценность только лишь потому, что оно — множество. Много стало хлеба на нашем столе, и мы хлебом этим швыряемся, вываливая на помойки то, что в голодное время обратили бы в сухари и с радостью употребили свой остаток в иное время, помня о важном запасе. Немало теперь у нас всевозможной одежды, и вот, глядишь, недавняя обновка, надеванная разок-другой, пылится в шкафу, никому не надобная, осиротевшая без человеческого интереса, лишняя в доме, который памятью-то вроде бы совсем и не забыл недавнюю нужду.

Примеров все прибывающих множеств можно немало привести. Однако сочувственные вздохи в нечто иное должны бы превратиться, когда закон уценки множеств переступает свой, так сказать, материальный порог и переходит в духовное — в литературу, в искусство.

Не единожды с горькой думой выходил я из скромных квартирок вдов умерших малоизвестных художников, каждый из которых способен украсить искусство любой европейской страны, — ан нет, у нас их вдосталь, и вот наследие мастера пылится за тряпичной занавеской, а бедная вдова, сама собираясь в дальний путь, едва не на коленях молит так называемых научных работников

и директоров музеев принять картины пусть хоть в фонды, а не в экспозицию — не пропало бы только, не пропало. Впрочем, с тем же чувством покидал я комнатушки и мансарды совсем молодых, безымянных, не потерявших еще надежду — достойных, работящих, но не пробивных, тихих, с тихим, но никак не с малым талантом, чурающихся знакомств «во благо», однако прекрасных в своем даровании, и не востребованных, никем не востребованных на вернисаж, на смотр, на обсуждение.

Отчего так много их?

А литература?

Есть у нас хрестоматийный пример, когда Виктора Астафьева, Василия Белова, Евгения Носова, провинциалов, бесшумно и бесскандально входивших в литературу с новым словом и новым своим зрением, одинединственный человек приметил из целой армады критиков — Александр Николаевич Макаров. И уж только потом, не один год спустя, книги провинциалов этих сделались гордостью литературы и сами себе проложили путь к известности и признанию. Критика тут, кроме Макарова, шла не рядом с книгами, а позади них, однако теперь вот настигла их, а потом и перегнала, похожая на громкошумящую толпу, с уст которой теперь уж вовсе не сходят имена тех, кто запримечен не ими.

И что же? Без конца перебирая славный ряд имен, опять ведь они ничего окрест не видят, как зашоренные лошади, и по голосам их слышишь уже, как не мило то, о чем пишут, — не мило, — а верно! — как повторяют друг дружку, набивая оскомину и себе, и писателям, коим златоуст поют, и читателям, будто отрабатывают свой долг, высоко поднимают колени, печатают шаг, но шаг этот — на месте.

Множественность неинтересна таким, из множественности кафтана не сошьешь, да и новая, сказать откровенно, есть версия: говоря об именитых, вроде сам именитее становишься, отраженные лучи как бы и тебя освещают, а увидеть талант во множественных проявлениях хлопотно, да и небезопасно: вдруг ошибся.

Вот и слышим мы необыкновенный шум по общепризнанному поводу, когда вроде и шуметь-то смысла нет, потому как доказательство доказанного — сиречь не наука, а обыкновенное школярство.

Да, хлеба у нас много, но это вовсе не означает,

что несъеденное надо выбрасывать и несъеденное вовсе не виновато в том, что его не съели, не прожевали, что брюхо оказалось меньше того, что можно съесть. И художник, забытый искусствоведами, что толкаются на новомодных вернисажах, не виноват в своей забытости: виноваты не забытые, а забывшие. И нет высокой доблести в повторениях общепризнанного, зато не забудется доблесть критика Макарова, первым заметившего новый литературный клин, набравший высоту вдали от шумных дискуссий.

И эти уроки надобно бы помнить почаще, когда попадает в руки новая книга, когда слышится новое слово — попристальней, повнимательней, потише надо бы вести себя тем, кто, прежде чем сказать, должен бы неспешно вслушаться в то, что говорят те, кто должен и умеет сказать.

Долгое и, может быть, запальчивое отступление это потребовалось мне не по суетной причине, не для спора, а, в общем-то, чтобы, если так можно выразиться, позитивно возмутиться еще одним примером нашей художественной бесхозяйственности.

Начав два с лишним десятилетия назад, татарский писатель Рустем Кутуй ярко работает эти годы, выпуская книгу за книгой, подчеркну при этом — талантливую книгу за талантливой книгой, а имя его, увы, едва замечено нашей критикой и, к сожалению, не так широко известно читателю, как было бы до́лжно. При этом следует заметить, что пишет Кутуй по-русски, и, таким образом, не требуется дополнительного времени на перевод — неизбежной временно́й петли, дополнительного шага от оригинала к всесоюзному читателю. К тому же писать Рустем начал очень рано, по крайней мере к своему тридцатилетию он выпустил не одну, а несколько очень сочных, запомнившихся книг и не только у себя на родине, в Казани, но и в Москве. И все последующее время он работал много, упорно — упоенность эта заметна и в прозе: она не несет ни малейшего признака вымученности, когда писатель пишет только потому, что пишет, а вдохновение давно покинуло кончик его пера. Писатель, зевающий над собственным листом, не способен ни к чему иному, как тиражировать зевоту в толпах читателей. Так вот, проза Рустема Кутуя счастливо полна жизнью, мускулиста, фраза его жива и гибка, точно лоза. Но и это не самоцель, если мы говорим о настоящей власти слова. Цель — это чувство,

которое, с помощью слова, способен — или не способен — посеять в сердце читателя автор. А чувство отзывается на мысль или на другое чувство, и, наконец, на не затертое, колдовское слово.

Мне кажется, проза Рустема Кутуя, особенно его рассказы, до предела акварельна. В определение это я вовсе не вкладываю понятий камерности, негромкости, малоформатности, нет, а только понятия цветовой соразмерности, настроения. Это ощущение особенно явственно, когда прочтешь подряд пять-десять рассказов Кутуя. Возникает чувство, что ты попал не то чтобы в особый, но, безусловно, в интересный мир, где все совсем не так, как в соседней книге. Вроде бы не так уж это и много, всякий писатель и должен отличаться от другого писателя. Но вот не перестает покидать удивленность способностью выстроить реальный мир с узнаваемыми приметами и открываемой, неожиданной, совсем новой глубиной.

Пространство рассказов Рустема Кутуя — именно такое. Писатель как бы стирает с обыкновенных вещей пыль привычности, и перед нами новыми красками сияет мир, внушающий доброту и надежду.

Я уже сказал, что Кутуй пишет по-русски. Традиция эта укрепляется все более. По-русски пишут Айтматов, Сулейменов. Сам переводит на русский свои прекрасные повести Василь Быков. Мне видится в этих обстоятельствах немаловажный факт сращения национальных культур с языковыми возможностями русского языка и традиций русской литературы. Не затрагивая ни один из языков многонационального братства, я все же сравниваю этот процесс с тем, как буйно зеленеющему древу прививают черенок иного растения, и через годы мы получаем плоды, вовсе не похожие на те, что давал зеленокудрый старик — плоды с особым вкусом.

Рустем Кутуй дарит нам именно такие плоды. Татарин по рождению, сын классика татарской литературы Аделя Кутуя, Рустем соединил в себе кровь отца с литературным языком Ивана Бунина и Юрия Казакова. Его рассказы и повести — это не рассказы и повести татарского писателя, усвоившего русский язык. Это рассказы и повести русского интеллигента, в жилах которого течет кровь его народа. Мне думается, это нельзя оценить иначе, чем приобретение — как для татарской, так и для русской литературы.

Множество лет знаю я Рустема, начав свое знаком-

ство с книги рассказов «Снежная баба», вышедшей в 1965 году. Та книга обрадовала меня тогдашней молодостью автора и удивительной при этом зрелостью. Потом мы познакомились, как говорится, на деловой основе — к первопубликации многих рассказов Кутуя я имел прямое отношение. И меня всегда радует его творческая неусталость, молодость взгляда, хотя все мы, конечно же, стареем.

Представляя Рустема новым читателям, я хочу лишь одного: чтобы вслед первой его книги, которая попадет вам в руки, вы не поленились отыскать другие его издания, вошли в мир его героев, в наш общий мир, и искренне пожалели: как много я потерял, не прочитав Рустема Кутуя раньше!

Давайте бояться уценки множеств, такой несправедливой вообще в жизни и быту и трижды несправедливой, когда речь идет о талантах.

Талант всегда дело штучное и неповторимое!

1985

ВЯТСКИЙ ЖИВОПИСЕЦ

Не правда ли, мы так привыкли, что главные события художественной жизни происходят в столицах, что не даем себе порой даже труда обернуться за собственное плечо и повнимательнее вглядеться в богатства, хранимые неподалеку. Вспомните поучительную историю костромских портретов, сделанных подлинной сенсацией отечественной культуры руками кооператоров. Вспомните историю крестьянского живописца Ефима Честнякова, работами которого восторгается художественный мир далеко за околицей деревушки, где он жил, работал и умер в полной безвестности.

Когда-то на слуху у нас часто слышалась поговорка про иванов, не помнящих родства. Теперь отчего-то поговорка эта перекочевала в антологии крылатых выражений, не более. Уж не сдали ли мы ее таким манером на вечное хранение под стеклянный колпак? Пожалуй, поторопились...

Поторопились, потому что хоть и протестуем против разрушений жемчужин старой архитектуры, а все же разрушаем их, и что за утешение от сознания, будто общество неоднородно и теперь есть славные защитники у каменных сокровищ, если в то же самое время, в

те же дни и часы имеющие право управлять, бесстыдно творят им удобное — и во имя чего? — во имя маленьких, сиюминутно удобных решений.

Нет, не достигли мы единства сознания всего общества в области охранения духовного, и неединство это не только лишь в непримиримости грамотных и неграмотных, культурных и некультурных, ведь Поклонную гору в Москве снесли далеко не темные администраторы, — так вот непочтение это, не носит ли оно социально-эгоистического характера, когда личное бытие, частные интересы, собственная карьера присутствующего на земле сегодня бесстыдно попирает все созданное прежде лишь потому, что живущие принимают решение, а неживущие — уже или еще! — имеют лишь одно право — право безмолвно укоризненного суда.

И не усовещается, нет, живая ретивость мыслью об этом суде — прошлого или предстоящего; суетностью своей, неоглядностью, узкомыслием живая бесстыдность эта возносится ввысь, ширится о́бочь, обертывая взор на цель мнимую, ценность неистинную, дело неправое.

И вовсе не следует всем нам наивно полагать, что суетность эта, бесстыдность, неистинность живет где угодно, только не в нас, в том-то и беда, что мы, многие из нас, поражены инфекцией этой, не в большом, так в малом, и неоглядность наша, и невнимательность, и эгоизм, по причинам которых одинокими останутся наши же собственные дети, старики, каменные памятники и живописные сочинения — наш общий грех, как раз и порождающий общественное неединство, непочтение, беспамятность, понуждающая куда-то бежать, гнаться за чем-то мнимым, не давая себе труда внимательно вглядеться в ценность, которая вблизи...

Одна из них — творчество Михаила Афанасьевича Демидова, вятского живописца и педагога, закоперщика Вятских художественно-промышленных мастерских, образованных еще в 1919 году. Известный лишь небольшой группке его друзей-современников да хранителей Кировского художественного музея, весь Демидов, а вероятно, почти весь, — ведь он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, — хранится здесь, в бывшей Вятке, в старом особняке, отличном от серости современной, так сказать, архитектуры дорогого

моему сердцу города, своей мудрой классической статью.

Музей этот мил уютом устройства, предназначенного строителями для частной жизни, в нем хорошо и покойно смотрится живопись, собранная усердием братьев Васнецовых и их скромных вятских современников, но достоинство это незаметно для времени, что ли, вошло в противоречие с истиной: музей стал напоминать айсберг, большая часть которого хоронилась в фондах, а уютные залы помещали лишь малую часть достойного.

Сокровища провинциального музея, в том числе живопись Михаила Демидова, — а кроме него, Исупов, Чарушин, Витберг, наши современники — строго говоря, была отдалена от народа, и сердце мое не нарадуется архигуманнейшему решению, исполняемому уже — делом, стройкой! — о возведении рядом со старым особняком новейшего музейного здания.

Из-под запора выйдут многие лица старых и новых времен, сюжеты, дорогие сердцу, пейзажи, воспитующие души.

Но вот открыты зрителю работы Михаила Афанасьевича Демидова. Музей в Кирове устроил и большую выставку мастера и его учеников.

Нет смысла заниматься делом свойства альбомного, исследовательского — анализировать портреты, представленные там.

Один из организаторов Вятского филиала Ассоциации художников революционной России, создатель памятника Степану Халтурину в родном городе, талантливый педагог, Михаил Демидов оказался несправедливо забыт даже собственными земляками, даже теми, кто был по служебным обязанностям не вправе забывать о нем — я имею в виду местных историков, музейщиков, искусствоведов. Жизнь совершает слишком стремительные обороты, чтобы так лениво не поспешать в собирании свидетельств его учеников, написании исследований, издании альбома работ, введении имени художника в общесоюзный искусствоведческий оборот.

Мы говорим об отсутствии провинциализма, и чаще делаем это из желания сравнять ступени между столицами и всем остальным. Однако желание это должно оказаться действенным, как произошло это в Пензе, где не в словах, а в поступках чтут искусство как важную часть общего дела. Вятская скромность, свидетельством

которой записаны многие листы и которую я тоже чту, на деле часто оборачивается бездействием, а потом и отставанием от прочих. При этом даже такому покойному месту, как музею, не грех вовсе помнить о святой своей предназначенности: и в тихом музейном зале идут сегодня громкие душевные бои за почитание прошлого и грядущего или за попрание всего вечного во имя сиюминутных, обывательских псевдоидеалов.

Бои не шуточные — за жизнь и за смерть.

А живопись Демидова я бы сравнил с просветленным, омытым чистым дождем, взглядом: сочны, пронзительны его краски, каждый холст как-то по-особому наполнен, здесь отсутствует недостаточность чувств и присутствует гармония сказанности, завершенности.

Каждая вещь внушает надежду.

Спасибо ему за это чувство, так нужное всему сущему...

1986

ЖИЗНЕННОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Беседа с корреспондентом «Советского спорта»

— Помню, когда учился в классе так в пятом в первое послевоенное время в Кирове, — я сам родом оттуда, вятский, — один наш парень записался в секцию бокса. И ходил весь в синяках, побитый, но гордый. И меня эта его гордость поразила — что-то, значит, стояло за ней, мужество какое-то, самоутверждение... Тогда было раздельное обучение, и два нижних этажа нашего здания занимала женская школа, два верхних — мужская. Видимо, в нас заговорило, кроме всего прочего, некое подспудное желание пройтись по лестнице мимо девчонок в виде мужественном, украшенным, может быть, даже синяками. Короче, весь класс поголовно записался в секцию. Полкоманды по хоккею с мячом было у нас в классе. Я занимался сразу в двух секциях — лыж и легкой атлетики: благо телевидения тогда не существовало, фильмы в кинотеатрах шли по два месяца — такая счастливая пора свободы!

Я в принципе считаю, что телевидение самим фактом своего существования не может не наносить опре-

деленный урон массовости спорта, хотя смешно было бы отрицать, что оно расширяет кругозор юного человека, повышает уровень его информированности, даже и вовлекает кое-кого в спорт. А то, что оно массу времени съедает, не его вина, это объективная данность. Но уставиться в экран не составляет труда, в то время как любое активное занятие — это труд, на него нужны усилия воли, и гораздо легче просто регулярно смотреть футбол или хоккей, знать вроде бы все тонкости, не умея катнуть шайбу или пнуть мяч... А в детстве человек должен много двигаться — и не только с точки зрения прагматической, с точки зрения пользы для здоровья — просто надо шевелиться, расти: движение — работа, рост — работа, телевидение же, опасаюсь, сокращает подвижность целых поколений.

В общем, я тренировался шесть раз в неделю — на безделье, на чепуху не оставалось ни минуты. Результаты не были самоцелью, хотя — так уж, между прочим, замечу — мои высшие областные достижения в беге на 30 метров для мальчиков 15—16 лет и в малой шведской эстафете (400+300+200+100) до сих пор не превышены. Но это, повторяю, не было самоцелью, привлекала атмосфера секции, ребяческая компания, которая отличалась от уличной тем, что нас сплачивало общее интересное дело. У нас был замечательный тренер — Всеволод Васильевич Разин. Собственно, может быть, слово «тренер» к нему применять не стоит, чтобы не выделять из среды педагогов, — он был педагогом, для которого воспитательной сферой служил спорт, а если бы он преподавал рисование, то воспитывал бы нас с помощью искусства — это дар свыше, примененный к определенной сфере. Вообще мне кажется, что в массовом спорте тренерское умение надо оценивать, прежде всего с точки зрения педагогики, эти качества развивать. Считаю, звание «народный учитель» пора давать и учителям физкультуры.

...У нас в Кирове в пятидесятые годы была, прямо скажу, народная героиня — Мария Исакова. Наша, вятская, чемпионка мира по конькам три года подряд. На соревновании на приз Кирова, когда она выступала, весь город ходил, как на праздник. Мороз будь здоров, стояли в валенках, в тулупах, ушанках... Мы тогда уже стали постарше, научились разбираться в достижениях и наш вятский спортивный патриотизм, найдя первоначальное выражение в гордости земляч-

кой, обратился в дальнейшем в нечто более действенное. В ту пору в Кирове строился трамплин — крупнейший тогда в Европе. Эта стройка, сама ее идея — у нас крупнейший в Европе! — захватила весь город, мы на стройке работали вместе со взрослыми, а потом все горожане ходили на соревнования, и носились слухи, что с трамплина этого тайком прыгал какой-то пацаненок: рождались легенды, которые, если угодно, тоже объединяли город...

Среди выходцев из наших тогдашних секций мало кто пошел по спортивной стезе. Но сейчас, по прошествии лет, я вижу в спорте некое жизненное наполнение — прекрасно помнить, что это было, знать, что спорт сделал тебя как-то шире, духовно богаче.

— Поскольку название рубрики — «Воспитай себя», хотелось бы знать, как вы трактуете проблему самовоспитания подростка.

— Проблема в том, что человек должен делать сам. Мы порой сугубо ограничиваем для ребенка право выбора. И потом недоумеваем: очевидно же, что он должен поступать так, а он поступает иначе. Между тем основа самовоспитания, с моей точки зрения, состоит, во-первых, в самовыборе, а во-вторых, в самореализации, доведенной до конца, до цели. В спорте не обязательно быть чемпионом мира; достижение разряда — это уже результат, которого ты добился собственной волей при собственном свободном выборе.

— В вашем романе «Лабиринт» звучит — в устах одного из персонажей — такая фраза: «Если хочешь быть небитым, занимайся боксом». Она адресована главному герою, мальчику (пользуясь современной терминологией), достаточно закомплексованному. Вы считаете спорт одним из средств избавления от юношеской неуверенности в себе?

— В нашей мужской школе нравы были достаточно жесткие. Достаточно беспощадные. Сейчас иначе — мальчики и девочки растут вместе с первого класса, и, видимо, в силу этого возникают некоторые особенности личности: не зря говорят о феминизации мужчин и маскулинизации женщин. У нас было больше драк, больше проблем для учителей, но — больше мужественности в ребятах. А то, что переход от отрочества к юности был сопряжен с занятиями спортом, по-иному расставляло акценты в наших компаниях: прежние вожаки, если не становились спортсменами, к старшим классам

теряли положение лидеров и закоперщиков... У нас в Кирове был такой Евгений Брагин — он однажды установил всесоюзный рекорд на 800 метров. Рекорд продержался несколько дней, но то, что есть у нас парень, который бегает не хуже, чем какой-нибудь столичный чемпион, повышало уровень нашей общей мужской нравственной самооценки. В десятом классе я был председателем школьного совета физкультуры, тогда наша шестнадцатая выигрывала все городские эстафеты, и то, что в городе знали: мальчики из шестнадцатой бегают лучше всех, что все девочки об этом знали, было особой нашей гордостью.

— Не кажется ли вам, что обостренная система конкуренции (особенно обостренная в спорте) может влиять на общежитейские отношения между подростками? Вы с этим сталкивались?

— В пору моего детства мы дружили с многими ребятами из других школ, чувство соперничества возникало только во время соревнований, а вообще спортсмены спортсменов особенно уважали. Но мне кажется, что сегодня, когда большой спорт с его не только высокими критериями достижений, но и большими моральными ставками стал достоянием подростков, все сделалось много сложнее. Усилилось распыляющее начало.

И вот еще о чем — о тревожном. Последние десятилетия породили в системе образования новый институт — специализированные школы. С математическим, физическим, художественным, допустим, уклоном. Но, с другой стороны, это создает подобие вакуума во взаимоотношениях между «избранными» и общей массой. Например, ученики одной московской школы с физико-математическим уклоном — сюда возят детей со всех концов столицы — оказались в конфронтации с соседними дворами, поскольку в обычных ребятах возникло справедливое, как мне кажется, чувство... скажем, не сильного уважения к «тепличным растениям». Был случай, когда мальчишка-семиклассник (рядовой) подошел к группе девятиклассников («специализированных»), отозвал одного в сторону и стал бить. Пацан — парня на два года старше! И никто из других девятиклассников не вмешался. Им было жалко себя, они береглись, каждый чувствовал себя самоценностью. Такое, конечно, невозможно по отношению к ученикам спортивных спецклассов, интернатов спортивного профиля — им не надаешь. Но само создание особых учебных коллекти-

вов еще не подкреплено, по-моему, особой педагогикой внутри этих коллективов, особой деятельностью общественных организаций, чья задача — добиться, чтобы ребята не страдали комплексом избранности, чтобы не превалировал среди них один-единственный вопрос: кто первее?

Я говорил уже о том, что самовоспитание предполагает самовыбор. Несколько лет назад возник бум — в значительной степени телевизионный — вокруг фигурного катания. Взрослые — мамы и папы, — восхищаясь видимым на экране, говорят детям: «Видишь, тебе надо быть таким, как они, видишь они медали получают, им аплодируют, они за границу ездят...» Это нездорово, когда иные взрослые с колокольни собственного опыта пытаются передать ребенку собственное представление о якобы сладкой жизни. Это, я думаю, искалечило не одну судьбу.

Меня, как литератора, занимает еще одна проблема — ухода из большого спорта. Человек в 25, 30 лет — а сейчас моложе, — получив все знаки признания, заканчивает карьеру иной раз полным нулем в смысле осознания своего места в жизни. Я считаю, что переход на тренерскую работу — не всегда выход: тренерство — призвание, как вообще педагогика. И вот человек, познавший все искусы жизни, заново начинает жить. Я с огромным уважением прочел недавно в газете «Советская Россия» беседы с выдающимся штангистом Юрием Власовым, где он рассказывает, какими мучительными, подвижническими усилиями вернул себе физическую полноценность. Но еще труднее после славы сохранить личностную полноценность. Мария Исакова, с которой мы дружим много лет, очень простой и скромный человек. Она с достаточным пиететом относится к своим прежним достижениям, но они для нее не единственная ценность в жизни. Я все думаю: «Мария Григорьевна, прорвется ли когда-нибудь в вас сожаление, что вот вы теперь не знаменитость?» Нет, ничуть! Но для нее, вышедшей из очень простой семьи, слава была не нормой, а скорее выходом из ряда вон. Нынешние же юные чемпионы порой не успевают познать норму обычной трудовой, рабочей жизни, их возносит рано, сразу, и рано они ощущают, какая она неверная, всеобщая любовь. Отсюда зависть, надломы, это и комедия, и трагедия. Нет, только тот, кто сумел понять, что после взлетов будут падения, что жизнь

продолжается, даже когда тебя перестали ласкать всеобщим вниманием, — может быть, она и начинается-то всерьез именно после спортивной славы, — кто смог потом найти в ней достойное место, тот заслуживает уважения. Я бы хотел когда-нибудь написать рассказ на эту тему.

Ловлю вас на слове, сказал корреспондент от имени всех вас, любителей спорта, и закрыл блокнот, из которого не извлек почти ни одного заготовленного вопроса, так как выяснилось, что писатель Альберт Лиханов всерьез взволнован и озабочен теми же проблемами, что и мы с вами.

1982

ПРАВО НА ПРАВДУ

Ответы на вопросы корреспондента «Московского комсомольца»

Когда я прослушал магнитофонную ленту с записью вашей беседы, то не мог не обратить внимания на странные шумы на заднем плане. Голос Альберта Анатольевича словно прорывался сквозь голоса улицы. И я вспомнил, что было жарко, и окна в кабинете главного редактора журнала «Смена» были открыты настежь, так что голос улицы стал как бы звуковым фоном интервью. Видимо, поэтому мне захотелось начать беседу с какого-то камерного вопроса.

— *Вы когда-нибудь писали стихи?*

— В детстве, точнее говоря, в ранней юности. Но никогда их не печатал, никогда.

— *А кто из современных поэтов вам по душе?*

— Я люблю Евтушенко, потому что, на мой взгляд, он многое соединил в себе из наследия русской поэзии. Хотя, я знаю, сейчас это не модно — говорить, что тебе нравится Евтушенко. Несмотря на это, я считаю его очень талантливым художником, который, безусловно, останется в истории нашей литературы. Уже остался, можно сказать. Вот его люблю.

— *А кого из классиков?*

— Здесь нельзя ограничиться одним именем, потому что большинство наших предтеч — люди, у которых есть чему учиться всю жизнь, и я боюсь, что нынешняя

литература в лучшем случае их только повторяет. Я так думаю.

— *Вам знакомо чувство литературной зависти? Иными словами, когда читаешь какой-нибудь рассказ, роман или стих и думаешь: ах, как жаль, что это написано не мной.*

— Ну, здесь не так все просто. По крайней мере, черной зависти я никогда не испытывал. Но всегда по-доброму завидую тем людям, которые умеют делать то, чего не умею я, к чему бы я хотел стремиться. Я, например, из прозаиков высоко ценю Виктора Петровича Астафьева. Как человека, который может писать всем сердцем. Понимаете, перед писателем всегда маячат «ножницы» — пространство между замыслом и его воплощением. Замысел в голове, как правило, более тонок и искусен, нежели результат. Вот это пространство между «стартом» и «финишем» — показатель уровня мастерства. У Астафьева почти нет разрыва между его желанием и возможностью выразить замысел произведения своими непричесанными, глыбистыми словами, воссоздать на бумаге нравственные начала, которые ему близки и которые он хочет внушить читателю. Это большое мастерство.

— *Я знаю, что вас много переводят. Как вы думаете, что в вашем творчестве вызывает интерес именно у зарубежного читателя?*

— В последнее время меня опубликовали в США — «Солнечное затмение», в Голландии, во Франции вышел только что «Паводок», готовится еще ряд изданий. Положа руку на сердце, скажу: я и сам удивлен, что меня читают на Западе. Но думаю, дело не во мне. Все объясняется любопытной тенденцией, которая, кстати сказать, нашим специалистам в области литоценок пока что малоизвестна. Встречаясь с иностранными издателями и писателями, я не раз слышал от людей разной крови, разных национальностей одно и то же: Запад устал от интервенции переводной — прежде всего американской — литературы, где все вертится по одному кругу: суперменство, те или иные катаклизмы, бесконечные убийства, мафия, секс... Словом, литературой, где кровь хлещет рекой и пачками падают герои и антигерои. В основном анти. И видимо, в той культуре возникает — не столько у молодежи, она-то это знает хуже, а у людей зрелого возраста, — ностальгия по нормальной человеческой литературе. Я всегда называю

нашу литературу — литературой надежды, какой бы сложной, проблемной, аналитической, критической она ни была. Исторически так сложилось, что наша литература всегда несла человеку добрые истины, раскалывая его нутро и к этому доброму прикасаясь. А у Запада началась аллергия на кровь, он тоскует по традиционной нравственности мировой литературы. Нравственности у них как раз маловато, можно сказать, что она — дефицит. Поэтому они там и издают наши книги. И думаю, нам сейчас нужно ловить момент и воспользоваться этой благоприятной ситуацией, дабы наши произведения шли на мировой рынок широким потоком. Правда, от нас тут мало что зависит, каждая книга трудно пробивает себе дорогу. Тем не менее такое движение имеет место.

— *Сейчас на Западе возродилась слезливо-сентиментальная беллетристика — розовой романтики, которую пишут дамы-литераторши.*

— Правильно, это мода последнего времени, форма реакции на литературу жестокости и насилия. Должно быть, среди моря этой розовой литературы попадаются и достойные вещи, я не склонен рассматривать это явление только с отрицательной точки зрения. Однако оно приобретает коммерческие черты и в него вливаются сотни авторов, производящие суррогаты духовной продукции. Эта литература не надежды, а иллюзий и мода на нее схлынет, как только найдется какая-нибудь новая развлекаловка.

— *А ведь и вас в свое время поругивали за излишнюю жестокость и даже, насколько мне помнится, «натурализм» в описаниях...*

— Не просто задача — смысл литературы в том, чтобы говорить с читателем предельно честно и откровенно. К сожалению, у нас процветает «приглаженность», идентичная этой самой пресловутой «розовости», такой, знаете ли, недоговоренной правде. А у читателя это вызывает одну естественную реакцию — реакцию недоверия. И часто случается так: критика вещает одно, а читатель думает совсем другое. Я далек от того, чтобы идеализировать читателя, — мол, читатель у нас разбирается в литературе не хуже профессионала, нет. Но что касается правды, то право на правду — особенно у молодого читателя, которого полуправдой не «уговоришь», не обманешь, — конечно же, было, есть и будет. Истовость писателя в том и состоит, что он бо-

леет за душу и в конечном счете — за будущее этого неизвестного тебе молодого человека.

Я счастлив тем, что мои книги играют реальную роль в судьбах людей. Вот, скажем, только что я вернулся из лагеря «Орленок», где была детдомовская смена. Много там ребят читали мои книги, а одна девочка заявила, что «Обман» — это книга про нее. Мы часа четыре с ней бродили, она мне исповедовалась, что для нее эта книга значит. Мне, конечно, было приятно, и в то же время эта не такая уж частая ситуация, когда книга воспринимается, как реальность, как участие в судьбе. Поймите, я не ставлю себе это в заслугу — вот я-де какой замечательный. Просто я отношу себя к тем литераторам, которые говорят с этими ребятами про их жизнь и стараются говорить честно.

— *Должно быть, вы с детства видели изнанку жизни?*

— Дело в том, что когда мы росли, в 50-е годы, педагогическая система внушала нам, что нас ждет будущее прекрасное, светлое и безоблачное. Хорошо учитесь и ведите себя хорошо — и все будет отлично. Но оказалось, жизнь гораздо сложней, в ней есть такие заусеницы... Литературе и школе нельзя заниматься одними лишь заклинаниями, тем паче что это занятие недостойное. Литература должна готовить молодежь к такому душевному состоянию, чтобы она могла преодолеть трудности и не разувериться в жизни в каких-то наших нравственных основах. Этот, если хотите, критический подход к жизни — своеобразная форма защиты наших идеалов. А внушение голых посылок без аргументации, без объяснения причин трудностей сегодня ничего не значит. Это агитка, а не литература. Время агиток ушло.

— *А вам не кажется, что в школе нужно, быть может, начинать изучение литературы с писателей, приближенных к школьникам во времени.*

— Я в этом глубоко убежден. Не раз выступал и в Академии педнаук, и в ИМЛИ и говорил о том, что наряду с классической литературой нужно активно вводить и курс современной. Не как внеклассное чтение, а включить в общую программу. Не отрывать жизнь от литературы — только так можно заинтересовать молодого человека и литературой и жизнью. А от современности уже можно идти к классике. Кстати, в свое время в новосибирском академгородке в физматшколе так и

поступили. О современной литературе речь шла не только на уроках, но и после — на внеклассных занятиях. Хорошо помню, в сколь неформальный разговор о жизни выливались те занятия. После них, я уверен, и Пушкина ребята читали иными глазами и увидели в Пушкине вечные истины, которые в юном возрасте обычно до тебя не доходят, будь ты хоть семи пядей во лбу. В классике столько необходимых для жизни идей, что проходить «мимо» них — безумие. Эти идеи нужно пропускать через себя. Но сегодня к ним нужно подобрать новый ключ.

— Тогда такой вопрос... Когда-нибудь компьютер вычислит степень тематических, интонационных и прочих влияний на писателя, я имею в виду то, что сознательно или бессознательно берут литераторы от своих предшественников. А в какой мере классики повлияли на вас?

— Одной русской классикой тут не ограничишься. Пушкин, Лермонтов, конечно. Не могу сказать, это их проза и поэзия влияли на меня напрямую. Мне кажется, что классики, помимо всего прочего, служат любому литератору великой укоризной. Надо постоянно держать в себе это чувство, всячески его пестовать. Сколько раз мы обращаемся к Пушкину в течение жизни! Казалось бы, все читано-перечитано, изъезжено вдоль и поперек, и все-таки всякий раз понимаешь, что он неисчерпаем. Есть специалисты, которые говорят: творчество Пушкина и все написанное о нем в разных жанрах соотносится как Монблан и маленькие кирпичики. И Монблан этот растет год от году, ибо таково веление гения. Безусловно, не менее высокую вершину представляет и Гоголь. И она до конца не взята, не открыта.

Я чту Ромена Роллана, его «Жана Кристофа». Я прочел его в студенчестве, просто захлебывался им — этим очистительным воздухом, какой-то необыкновенной прозрачностью. А сейчас боюсь перечитать, боюсь, что прочту эту книгу как-то не так и ее место в моем сознании несколько изменится. Хотя верю, что этого случиться не должно. Да, едва не забыл.

Лев Николаевич Толстой. К разговорам о его недостатках отношусь с иронией, ибо считаю, что ошибки его не менее велики, чем он сам. Если таковые, конечно, были.

Вообще, чем больше говоришь о классике, тем больше остается невысказанным. Не так давно я, болея,

прочитал двенадцать томов переписки Чехова. Это чтение приблизило меня к Чехову-человеку с бренными его заботами и к той интеллигентности, которой всем нам так не хватает. Мы должны учиться у него иронии к самим себе и к окружающему миру, и даже к своему творчеству. Он оставлял какой-то зазор между собой и написанным, и, быть может, это обстоятельство и сделало его литературу истинно серьезной.

— *А вы — самоироничны?*

— Тут, наверное, другое. У меня ощущение, что все мне дается с трудом. Для меня труд литература — отнюдь не купание в радостях (хотя, конечно, бывает и такое). Во мне живут печаль и грусть. Печалюсь по тому, что не сделал или сделал не так. А чувство самоиронии, насколько я понимаю, — более высокое чувство, чем просто грусть, просто печаль.

— *Это ваше признание наводит меня на «ретроспективный» вопрос: был ли в вашей жизни какой-нибудь шаг или поступок, о котором вы бы впоследствии жалели?*

— Знаете, я часто думаю об этом. Свою жизнь я порвал на две, нет, на множество частей. Литература, редакторский воз, да и другие «возы». В общем, я служащий. Я согласен, что литература требует всей жизни без остатка, «полной гибели всерьез». Но теперь я думаю, что жизнь менять поздно, что надо жить так, как начал. Тем более что с годами я пришел к выводу, что у меня есть одно преимущество в сравнении с «чистыми» литераторами: я все время соприкасаюсь с судьбами множества людей. Чужой горечи и проблем мне не занимать, в человеческом плане я мог бы жить спокойней, но служба уже стала для меня как бы привязкой к жизни, я без нее долго не могу, скучаю. Чтобы жить наполненно, одной литературы мне недостаточно. Я знаю, такой ритм съедает человека. Это какое-то медленное сгорание, но жить по-другому не умею. Прав ли, не прав — не знаю. Тем не менее работа в журнале, как и общественная работа, которой я просто-таки завален, дает мне ощущение полноты существования. Я живу ощущением поиска собственной истины, явление чисто индивидуальное, и журналистика много мне дает в этом плане. Впрочем, я не осуждаю писателей, отгораживающихся от «суеты» в своей кооперативной башне. Каждому — свое.

— *Одно из самых ругательных слов в литературной*

критике — журнализм. С его поспешностью, публицистичностью, изъянами стиля...

— Даже самая задиристая критика часто «саморазоблачается», опровергая свои утверждения. Тот, кто обвиняет литератора в журнализме, глядишь, через неделю хвалит явного «журналиста», если тот умело и ловко сконъюнктурничал. Знаете, нестабильность критических суждений лишь закаляет собственные ощущения, дает уверенность в том, что надо идти своим путем. Будущее разберется, что останется в литературе, а что — нет. Ни от одного критика это не зависит. Можно стоять на голове, делать суперсовременные романы, которые будут читаться взахлеб, а в итоге в осадок выпадет пустота.

— *Вампилов говорил, что браться за перо нужно лишь тогда, когда замысел не дает тебе спать по ночам:*

— Да, я с ним согласен: автором должна владеть какая-то идея, в которую он свято верует и без которой жить не может.

С Сашей Вампиловым я был дружен, я работал тогда в ЦК ВЛКСМ и старался помочь многим ребятам-сибирякам. Знаю прекрасно его страдания, это ведь только сейчас его называют великим, даже определенное направление в современной драматургии объявили поствампиловским. Слава богу, справедливость восторжествовала! Но я-то помню те времена, когда в Москве у него не шло ни одной пьесы. Тяжело вспоминать, с какой горечью я смотрел его премьеру на столичной сцене, посмертную его премьеру.

— *Вижу, вы не очень-то жалуете критиков...*

— Главный недостаток нашей критики — слепота. Стыдно, что такой человек, как Василий Макарович Шукшин, при жизни не получил столь же высокого писательского признания, как после смерти. Стыдно, что Олег Куваев был открыт по-настоящему только после похорон. Могу назвать еще целый ряд имен, но зачем...

— *Вы написали роман и поставили точку. Что вы ощущаете в этот момент?*

— Всю ту же тоску и печаль. Ибо я не могу дать ему оценку, хорошо это или плохо. Ощущения стопроцентной удовлетворенности никогда не бывает. Год держу рукопись в столе, и только потом печатаю. Не потому, что я много там что-то переделываю, просто мне нужно время, чтобы отойти от рукописи и прочитать ее как бы со стороны.

— *А над новой рукописью в течение этого года вы работаете?*

— Нет. Впрочем, когда как. Вообще моя метода для литератора-профессионала, наверное, не характерна. Я сажусь за стол только тогда, когда все, что во мне копилось и вызревало, начинает гореть. Не уверен, что, пиши я весь год по чуть-чуть, писал бы много лучше.

— *А где вам веселее всего работается?*

— Вне Москвы. Я пишу, как правило, дома, у своих родителей. Они у меня живут в Кирове, в бывшей Вятке.

— *Там, наверное, нет телефона?*

— Недавно как раз провели. Но, как вы понимаете, контактов я во время работы не ищу.

— *Давайте вернемся к теме правды. Мне кажется, что полуправда на киноэкране выглядит не менее страшно, чем на страницах романов. А как складываются ваши взаимоотношения с кинематографом?*

— Относительно недавно вышел фильм по моей повести «Благие намерения». Режиссер Андрей Бенкендорф. Студия Довженко. Я не считаю этот фильм шедевром, тем не менее впечатление он производит и множество наград наполучал. Этот фильм взывает к чувству сострадания. Впрочем, по-другому и быть не может в фильме о детском доме и о современном сиротстве.

— *Это был ваш сценарный дебют?*

— Нет. Первый фильм был крайне неудачен, с точки зрения режиссуры («Семейные обстоятельства» по мотивам повести «Обман»), но нет худа без добра: эту вещь прямо по сценарию хорошо поставил Кировский ТЮЗ. Второй фильм был телевизионный, в двух сериях — «Мой генерал». Снимал его тот же Бенкендорф.

Мне не нравится, что многие режиссеры в кино рассматривают литературу лишь как вспомогательный материал. Так они, между прочим, и говорят на своем слэнге — «материал». Между тем мировая практика экранизаций показывает, что успех фильма впрямую зависит от внимательного отношения режиссера к основе — к тексту. Специфика кино в том, что за одно дело отвечает сонм людей, включая тех, кто не участвует в производстве фильма. В кино, конечно, главное — зрелищная сторона. Пружина действия. Я не против племени профессиональных сценаристов, но должен заметить, что многое у них делается левой ногой и задевает

лишь самый поверхностный слой сознания. Конечно, у кино, с его системой госзаказов — огромные возможности, по сравнению с которыми литература превращается в занятие для любителей-энтузиастов. В литературных кругах мы много об этом говорим, но говорим пока впустую.

— *Вы главный редактор молодежного литературно-художественного журнала. Что вы думаете о молодых прозаиках?*

— Молодая проза нынче переживает спад. Почему я в этом уверен? В 60-е годы по моей идее мы издали пятидесятитомную библиотеку «Молодая проза Сибири». Собкором «Комсомолки» я приехал в этот край и подивился гигантскому, невспаханному пласту тамошней литературы о Сибири. Мы, члены общественной редколлегии, прочли, по крайней мере, 250 рукописей, посвященных сибирской тематике: Распутин, Шугаев, Чивилихин, Машкин, Приставкин, Лихоносов, Потанин... Между прочим, Володя Орлов — ныне широко известный фантаст, вошел в серию с «Соленым арбузом». Молодым тогда было куда труднее пробиться в литературу. Сегодня статистика ужасает: в стране выходит 365 первых книг в год. Считаю это девальвацией. Каждое издательство стремится отчитаться в том, какое количество книг молодых оно выпустило, порой забывая о качестве. Поэзия молодых по большей части безлика. А стоящий рассказ или короткую повесть днем с огнем не найти. В 60-е годы были обоймы имен. Сейчас запоминаются лишь единицы.

— *Писательство — это все-таки благородное занятие... Меня волнует другое: еще с времен античности преступление связывалось с глупостью, невежеством и так далее. В наши дни, к сожалению, на преступление идут неглупые, образованные индивидуумы, чем вы можете это объяснить?*

— Наше общество задумано как доброе содружество, как форма общежития. Идея коммуны, как реальной общности людей — великая идея. Мы же строим наш быт по принципу мелкоячеистой системы, где каждый живет сам по себе. Мы не дружим с соседями по лестничной клетке, часто даже не здороваемся с ними, и тоскуем по коммуналке, по общей кухне. Может быть, мы были тогда беднее, но была у нас тогда человеческая общность, а это дорого стоит. Теперь, мне кажется, мы живем по принципу: мой дом — моя кре-

пость, и многие стремятся превратить дом-крепость в оазис для себя, любимого. Человеческие взаимоотношения от этого здорово пострадали.

Преступление сегодня начинается с того, что происходит, увы, повсеместно, с — я придумал для себя такую формулировку — бытового предательства. Дружат люди, дружат, что-то их связывает, а потом вдруг не за понюх табаку предают друг друга... В нашей культурной традиции всегда были в чести понятия мушкетерства, благородства, дружбы, самоотверженности... Все это были действенные начала, которые, к несчастью, все дальше уходят от нас, более того, обесцениваются. И обесценивают их, прежде всего, взрослые. Я, например, своими ушами слышал, как одна мамаша внушала своему сыну — молодому учителю, которого направляли на работу в район: «Ни с кем не дружи, ты должен иметь со всеми ровные отношения». В мои представления такой совет никак не укладывается.

— *Иными словами, «оазис — для себя» и «бытовые предательства» — шаг к преступлению?*

— Да, к немотивированной жестокости ко всему живому. «Комсомолка» писала — с ужасом читал — о девичьей жестокости: девицы дерутся на танцплощадках, выбивая друг дружке глаза острыми каблуками, а парни даже не в силах их разнять.

— *Из газет мы узнаем иногда о тревожных случаях немотивированной жестокости среди молодежи. Чем вы объясняете эту жестокость?*

— Распущенностью. У многих явлений есть социальные формы, но эти — продукт дурного воспитания. В 50-е годы никто не заставил бы женщину драться. Сегодня драка в моде. Это некий шик — женское каратэ и прочее. Да и в быту женщине муж часто не нужен, зачем ей «заработчик», если она сама получает не меньше? И ведет себя соответственно. Как мужик. Она заводит ребенка и не хочет иметь на руках еще и мужа, неважно, инфантил он или нет. Все это проявления растущего эгоцентризма, эгоизма человечества. И все современные писатели — такие, как Айтматов, Астафьев, Бондарев, Быков, делают благородное дело, воюя с этим. Но сегодня их усилий уже недостаточно. На многих литература уже не действует. Нужно подключить весь наш пропагандистский аппарат, всю нашу педагогическую систему и внушать людям, что есть доброта, честь, товарищество. А пока благополучные дети сдают

своих родителей в дома для престарелых, девчонки рожают и сдают детей в дом ребенка. Корни этих поступков, граничащих с преступлением, и лежат в сфере нравственности.

И вот что я думаю: физическое воспитание требует постоянных тренировок, эстетическое воспитание — ежедневных репетиций. А нравственное, оказывается, не нуждается ни в каких тренировках и репетициях?.. В стране должна быть создана разветвленная система нравственного воспитания, начиная с детского сада. Надо, чтобы люди научились помогать друг другу. А то мы только соревнуемся: кто лучше одет, кто что достал и так далее. С нынешним отношением к нравственным проблемам от ближайшего будущего хорошего ждать не приходится.

И это печальный — но факт.

1985

ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА

Негромкоголосый поэт-лирик и мягкий человек, в глубинах своих Александр Кухно лелеял мысль вовсе не лирическую, требовавшую твердости характера, отказа от многих житейских соблазнов, ставившую перед собой высочайшие барьеры — барьеры расстояний, языков, вовсе не лирических забот.

Все соединялось в Александре Кухно одной высочайшей темой — темой Парижской коммуны, ее последнего дыхания, и не там, в Париже, не в Новой Каледонии, где погибли многие коммунары в бесконечно тяжких каторжных работах, и уж вовсе не в прошлом веке, а в родном Александру Новосибирске, в нашем, конечно же, времени, в 1942 году.

Судьбе угодно было распорядиться так, что жизнь последнего парижского коммунара Адриена Лежена завершилась в Сибири, куда эвакуировали его вместе с другими старыми революционерами из московского Дома ветеранов революции. В канун своей смерти он написал свое последнее письмо — последний парижский коммунар. Он написал его сибирским добровольческим полкам, которые, отправляясь под Москву, проходили плотными, молчаливыми колоннами под окнами комнаты, где он завершал круг своего бытия.

Переживи Лежен ту войну, после победы, в 1947-м,

он отметил бы век земного пребывания, но в сорок втором он, последний парижский коммунар, ушел, оставив завещание сибирякам, русским, советским, ибо память и дело Парижской коммуны не могли спасти от фашизма Европу, а жизни и дело сибиряков — спасли.

Александра Кухно потрясло именно это совпадение: Коммуна последний свой взгляд обратила к сибирским полкам. В час сурового испытания на излом идея народного освобождения совершила легендарный, чем-то высшим освященный переход из одной сферы сознания в другую — такую нам близкую и понятную.

Я хорошо помню, как Саша привел меня к могиле Лежена. Стоял яркий летний день, сияли лужи, кажется, ночью шел дождь — вот это обновление, чувство свежести — и природы, и Сашиных неожиданно сильных слов — запомнил я.

На скромной могиле лежали цветы, неподалеку выстраивались в милом переживании октябрята — их должны были принять в пионеры здесь, возле могилы коммунара, а Саша, волнуясь, рассказывал мне подробности, задавая вопросы — уж не мне, а себе? — с кем он приехал, Лежен, как оказался в Советском Союзе, какова его судьба.

— Поэма, — сказал я ему тогда, — сама идет тебе в руки.

— Что ты, — завозмущался он, — я ничего не знаю.

— Так узнай!

Сборы заняли у него не дни, а годы, он кряхтел и ахал, как, мол, он без французского да где архивы.

Потом как в омут бросился, даже стихи оставил.

Интересно все же устроен человек: подступая к Лежену, к волшебной судьбе, Саша, кажется, и сам изменился — стал собраннее, энергичней. Задумчивость сменилась организованностью, лиричность — увлеченностью.

Он приезжал в Москву, с утра проваливался в ее круговороты, вечером являлся измученный, но сияющий: каждый день в этом городе он проживал с завидной уплотненностью — за день десятки встреч, зацепок, звонков, находок. Я поражался: какие же таит Москва ресурсы исторической памяти, знаний, истоков.

Это Саша Кухно меня, а не я его познакомил с известным французским историком Морисом Шури, с удивительной женщиной Татьяной Федоровной Редько, вдовой художника, написавшего последний портрет Леже-

на, а сколько иного, бесконечно интересного, не имеющего отношения к Парижской коммуне, но имеющего отношение к духу человеческому, подарил он мне теми своими краткими набегами на Москву.

Однажды он сообщил мне, что прах Лежена перевозят в Париж. Разве это не справедливо? Последний коммунар возвращался на родину. Саша рассказывал, кивал головой сам себе, а в глазах его стояли слезы... Кажется, именно тогда он решил писать не поэму, а прозу о Лежене.

И опять не все так просто: узнал — написал.

Нет, он не торопился садиться за стол. Время съедали письма, идущие из Новосибирска в Париж и обратно. Но что поделаешь — требовались подробности, уточнения.

Книга вынуждала к долготерпению, она задумывалась как документированная проза, где возможны версии, предположения, гипотезы, но недопустимо пустое сочинительство.

Не каждому достанет характера, чтобы не разувериться, не отступить. Сашу постигли эти чувства. Он отключался, занимался другим, потом возвращался к начатому.

Стали появляться очерки — наброски будущей книги. Постепенно они слились как бы между собой, образовав круг.

Теперь следовало переосмыслить материал, заполнив пустоту круга, — сесть за стол и начать все сначала.

Конспект был завершен.

Увы, как это часто бывает, книга осталась лишь в очертании, в абрисе.

Заболело сердце, Сашу отвезли в больницу, инфаркт последовал за инфарктом.

Он умер сорока шести лет от роду.

И вот перед нами книга Александра Кухно «Жизнь под красным знаменем» — очерки, этюды, письма, — книга, которая представляет собой силуэт предполагавшейся истории жизни, борьбы и смерти последнего парижского коммунара, смерти, ставшей символом бессмертия, высокой мечты человечества о мире, равенстве и справедливости.

Можно сказать так: это биография мечты, ее конспект.

Поэт Александр Кухно сделал очень светлое — отложив стихи, наполнив свою жизнь высокой идеей, он вспахал поле, которое еще только предстоит кому-то засеять, чтобы снять урожай.

Уверен: законченная книга об Адриене Лежене — а может быть, фильм, а может быть, спектакль — еще состоится, еще увидит свет, еще потрясет воображение своей необыкновенностью.

Пока же мы судим сделанное.

Мне оно дорого тем, что судьба моего друга, соприкоснувшаяся с высоким замыслом, не то чтобы изменилась, нет, а обрела новые оттенки, зазвучала по-новому. Все, что было его характером, радостями и муками, все, что было судом над собой и его собственной мерой совести, осталось с ним и все же оказалось чуточку иным, когда он отдался во власть нового замысла.

Поистине, нами правят наши дела...

Я пришел к могиле Лежена еще раз.

Когда-то я кланялся ему посреди Сибири, и мы были вместе с Сашей, который привел меня к каменной плите.

Теперь это было кладбище Пер-Лашез, в двух шагах от Стены коммунаров.

У этой Стены расстреливали бойцов парижских баррикад. Лежен уцелел тогда. Из середины девятнадцатого века он принес в наше время память и дух свободы. Не столько как борец, а как символ.

Но разве этого мало?

Я поклонился Адриену Лежену.
Я положил ему цветок гвоздики.
Но увидел Сашино лицо.

1986

ШКОЛЬНАЯ ЦАРИЦА

Выступление на VII съезде Союза писателей СССР

Когда мы произносим слова — детская и юношеская литература, то, видимо, подразумеваем, что предлог «и» соединяет два сообщающихся сосуда, уровень наполнения которых всегда равен. Что ж, это идеальная модель, к которой надо стремиться, и хотя лично мне кажется, что сегодня юношеская литература вырвалась вперед — своей проблематикой, уровнем художествен-

ности, впечатляющей силой, — дело вовсе не в том, чтобы распределять места — кто впереди, а в том, чтобы помнить: при слове «детская» и при слове «юношеская» есть еще одно важнейшее слово. Это слово «литература», объединяющее нас основательнее, чем союз «и». Пожалуй, мы смело можем назвать себя своеобразным литературным цехом — и в самом деле, детству и юности служат поэзия, проза, драматургия, критика, и все это особое, специальное, имеющее характерные приметы, — но разве имеем мы право забывать, что цех-то может быть только на заводе, где и другие цехи существуют, и там тоже выпускают продукцию, смысл и существо которой не может не влиять на нас.

Умные критики заметили в последние годы, что та же юношеская литература, не гоняясь за лучшими образцами так называемой взрослой прозы, а работая параллельно, но с той же серьезностью, достигает своих высот, — не меньших, чем высоты взрослой прозы. Эта примета существенна, она заставляет задумываться о том, что провалы или отставания тех или иных подразделений нашего обширного хозяйства происходят от несоответствия уровня исполнения уровню потребности, когда, как говорится, и несерьезное серьезно. Литература, детская и юношеская в том числе, создает эталоны общественного поведения, вырабатываются критические оценки, одним словом, литература воспитывает, а воспитание уже само по себе дело нравственное.

Однако вряд ли нужно и можно удовлетвориться одной только такой постановкой вопроса. Как истинно тревожит нас, вызывает протест дурной человек, по воле обстоятельств или случая ставший учителем, так тревожит и вызывает протест литератор-халтурщик, штукарь, драмодел, ловко умеющий создавать фальшивые ценности. К сожалению, надо признать, что истинный бриллиант, вызывая зависть подражателей, рождает племя «ювелиров», специализирующихся на огранке стекла и выдающих свои мнимые ценности за настоящее искусство. И здесь следует особо сказать о том, что если взрослый читатель — пусть и не всякий — все-таки способен разобраться в истинных ценностях, то ребенок, подросток может равно восторгаться и подлинным бриллиантом, и его подделкой.

Мишура опасна для юного возраста, во-первых, внешней похожестью на настоящее, а во-вторых, воспитанием лжеуважения или снисходительности к дурному,

которое может властвовать над человеком до седых волос, создавая того самого массового потребителя литературного ширпотреба, который появился на Западе и которого мы не хотели бы воспитать у себя.

Дать ребенку плохую книгу — кощунственно. Ведь маленький человек рассматривает книгу, фильм, спектакль — как подарок взрослых. Его доверие к духовной пище еще более безгранично, нежели к пище физической.

В связи с этим, мне кажется, разговор об ответственности художника, посвятившего себя детству и юности, актуален сегодня особо и впрямую связан с судьбами всей советской литературы, да и мировой классики. С цветной тоненькой книжечки начинается приобщение человека к миру литературы. Полюбит ли маленький человек книгу, ту ли полюбит, которая написана по самым высоким меркам, или швырнет ее в угол — это коренной вопрос воспитания завтрашнего читателя, «потребителя» не только нашей с вами продукции, но и завтрашнего читателя «взрослой» литературы.

Учитель в школе отвечает за уровень образования и воспитания каждого из тридцати своих учеников, и, когда он упускает троих, пятерых, семерых, мы справедливо недовольны. Не стоит ли нам задуматься, сколько тысяч наших с вами учеников — по неопытности, недобросовестности или, не дай бог, злому умыслу — упускаем мы в классе, доверенном нам народом и страной, когда класс этот пятьдесят, сто, двести тысяч читателей изданной книги.

Между учителем и писателем есть, конечно, разница. Учитель внушает свои истины глаза в глаза, мы — заочно, и, думаю, создаваемое заочно не всегда достойно общения на уровне «глаза в глаза». Но есть и «смягчающие обстоятельства». Между писателем и читателем немало посредников. Тот же учитель, издатель, библиотекарь, отец и мать, которые — если они подготовлены — могут помешать плохой книге и помочь хорошей. И здесь беспокойство об уровне детской и юношеской литературы, на мой взгляд, должно смыкаться с беспокойством за тех, кто обеспечивает дальнейшую работу наших книг.

Прежде всего — об учителе. Учитель литературы похож на копателя колодцев: чем глубже его колодец, — а ведь его можно сделать и поформальнее, помельче, с мутной водицей видимости знания, — тем чище вода радости открытия, тем ближе к сокровенному, а именно

к проповедническому смыслу литературы, тем большего может достичь учитель в воспитании души. Глубину учительского колодца в творчество Толстого, Чехова или Горького не может проверить никакая комиссия, ибо можно проверить урок, но немыслимо проверить в такой ситуации человеческую добросовестность и честь.

Но ученику-то, даже на протяжении одного года, не говоря о нескольких классах подряд, приходится иметь дело именно с этими качествами учителя, хотя чаще всего ученик этого и не ведает. Глубок учитель — глубоки его колодцы. Добросовестен и честен — он преподает не столько литературу, сколько учит благородству, порядочности, этике, эстетике. Формален — ученик сшибает верхушки, причем формальное преподавание литературы если и не безнравственно в полном смысле слова, то худо для юной души.

Осмелюсь сказать, не одного меня беспокоит популярное до сих пор препарирование литературного произведения, этакое паталогоанатомическое вскрытие, когда, скажем, от романа, способного пробудить в растущем человеке сострадание, тепло, любовь к героям, остается лишь голый скелетик, точно сунули в муравейник живое существо, вернулись, а перед нами учебное пособие для урока по зоологии.

Кто из сознательных читателей не плакал, не горевал, не тревожился, очищаясь, возвышаясь, страдая над страницами толстовской «Анны Карениной»? А вот какой «колодец» в «Анну Каренину» предлагает «отрыть» программа Министерства высшего и среднего специального образования СССР для средних специальных учебных заведений на базе 8 классов средней школы (цитирую): «Пореформенная Россия в романе «Анна Каренина», нравственные проблемы в романе, отражение сложности мировоззрения Толстого в период его перехода на позиции патриархального крестьянства». Все.

Бедный Лев Николаевич! Бедная Анна! Бедные учителя! И бедные ученики!

Правда, можно попытаться оправдать программу: дескать, она конспективно намечает лишь путь изучения. И верно, талантливому учителю ограничения программы не помеха. Но разве мы не знаем, что в педагогике, как и во всяком другом творческом деле, есть и подлинные таланты, а есть и посредственности, для которых такая программа — надежный щит, прикрытие, и неглубокий колодец, означенный программой, стано-

вится еще мельче в подаче среднего учителя и уж совсем малой ямкой в сознании ученика, ибо мы всегда должны помнить о снижении коэффициента полезного действия, идеи, мысли, смысла при, так сказать, перенесении их из одной головы в другую.

Вот и получается: кончил человек школу — это особенно заметно на тех, кто готовит себя к технической, например, карьере, — начинаешь с ним толковать о литературе, и выясняется, что все его знание ограничено набором расхожих стереотипов, неглубокими школьными колодцами: Катерина — луч света, Андрей Болконский — зазеленевший дуб, Ионыч — гибель личности в мире пошлости. «Что делать?» — новые люди, Обломов — лишний человек, а Лев Толстой — зеркало русской революции — и все тут!

А кодекс чести, а исповедь, а нравственность, а компас, по которому стоит поверять собственную жизнь? Они, оказывается, тут вовсе ни при чем, литература преподавалась как обычный школьный предмет, не более того, тут и по шпаргалке можно. И вот получается, что, вместо того чтобы оснастить свою душу, свою мораль высочайшими истинами, молодой человек, кончивший школу, оказывается часто — хотя, конечно, не всегда, гол как сокол, — подвержен первому же пустяковому влиянию заемной идеологии, с радостью рвется к мещанским, обывательским ценностям, заражен вещизмом, ничуть не вспоминая о литературе, совершенно не думая, что ведь все это было, было, было у Толстого, у Чехова, у Щедрина, у Горького и Маяковского, совершенно не прилагая к своей жизни и своим поступкам колоссального нравственного опыта мировой, русской и советской литературы.

И здесь хочется сказать об особой, если хотите, уникальной и явно недооцененной еще педагогической роли современной литературы и особенно литературы юношеской. Опыт Базарова или нравственная кристальность Данко, будем откровенны, воспринимаются учеником в ситуации обычной, бесконфликтной, да и то как историко-литературный пример. Но все чаще и чаще совершенно бессмысленным и лобовым занятием становятся попытки обращать духовный взор ученика к классическим героям в конфликтной ситуации, используя пример героя как выход из положения. В лучшем случае, подростки отвечают так: «Я бы, может, тоже в 16 лет командовал полком, как Гайдар, только сейчас время

другое». Таким образом, хотим мы того или нет, современная литература, приближенная по времени и обстоятельствам к нашим дням, а еще лучше — литература о сегодняшнем дне, а еще лучше — литература о сегодняшнем дне и сегодняшнем подростке, обладает наибольшими потенциями как непосредственная педагогическая сила.

Однако, увы, этой литературы почти нет в школьной программе. И очень мало в списках литературы для внеклассного чтения. Это весьма странно, ибо ведь зазор между личным опытом ученика — которому, кстати, очень нужен пример для подражания, и не только классический, а прежде всего — современный, приближенный к нему во времени, — и местом современной литературы в школе очевиден всем, ясен, известен. И тут хотелось бы привести пример из нестандартной педагогической практики, которая с явной очевидностью иллюстрирует эту мысль. Как вы знаете, у нас создана новая система школьных детских домов, так называемые сиротские интернаты, официально интернаты для сирот и детей родителей, не обеспечивающих опеки. Мне пришлось побывать в таких интернатах. Это потрясает.

Сирот в этих интернатах не так уж много — единицы процентов, хотя, как мы понимаем, сиротство — громадная трагедия маленького человека. Большинство же детей отняты судом, а значит, государством у родителей, чаще всего у родителя, и личное дело каждого такого ребенка — кровоточащая рана. Это дети беды, дети трагедии, дети взрослой безответственности, безнравственности, душевной опустошенности. В отличие от сирот, у них есть родители, но совершенно разрушены — с самого детства — представления о чести, о том, что такое хорошо, а что — плохо, о том, как надо жить, о справедливости и несправедливости.

Какой главный предмет в этих интернатах? При глубоком почитании всех школьных дисциплин — не они, а те, которых как раз в программах-то и нет: доброта, ласка, любовь, нежность, справедливость и терпение, безграничное, бескрайнее терпение. В такой школе, я убежден, должна быть атмосфера высокой нравственности, здесь должна всегда слышаться звонкая и чистая струна подлинности и веры в идеалы и справедливость. И это означает, на мой взгляд, что в таких школах должна царить литература.

Действенная духовность — высшее, к чему стремят-

ся и педагогика, и литература. Так не достойно ли объединить эти усилия, памятуя при этом, что введение современной литературы в мирообращение сегодняшнего школьника — подвижное, мобильное, требующее постоянного дополнения, но необходимейшее дело. Речь идет о включении в школьную программу, и особенно в списки внеклассного чтения, современной детской и юношеской литературы.

Вытекая из всего этого, возникает еще одна важнейшая проблема — книга и библиотека. Многие учителя говорили мне, что, когда речь идет о современной литературе, им приходится пересказывать содержание, ибо ученики не могут достать книгу. Школьные библиотеки все еще куцеваты, система их комплектования уныло невыразительна и решительно отстает от отношения к литературе как к исповеди коммунистической духовности. Я сам не раз и не в одном городе убедился: количество классики в детских, юношеских и школьных библиотеках неуклонно сокращается, современная литература случайна, библиотеки не могут снабжать обязательным комплектом хотя бы один школьный класс. По-моему, это тревожная ситуация.

Сообщающиеся сосуды, какими являются литературы детская и юношеская, взрослая проза и поэзия и наш труд для юных, литература и то, без чего работа наша немыслима, — школа, учитель, библиотека, — сообщающиеся сосуды эти, сосуды разума и искусства, должны восполнять друг друга силой своих достижений, властью опыта, знанием самых проникновенных глубин человеческого таинства. Движение вперед мыслимо лишь тогда, когда очевидна цель, высока нравственность не только литературы, но и литературной жизни, на мужественной высоте взаимная, но ободряющая самовзыскательность.

1981

«...НО ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН»

Содоклад на комиссии по детской и юношеской литературе VIII съезда Союза писателей СССР

Друзья! Давайте вспомним сегодня мальчика Пушкина, плачущего от бессильной зависти к времени, из-за которого он, подросток, не смог стать воином, чтобы

защищать Отечество. «Я не поэт, а гражданин». Рылеевский этот девиз диктовался подобной же силой вольнолюбивого нетерпения. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Афористичность некрасовского восклицания рождена предельно заостренной идеей освобождения, когда отношение к народной муке, эта высочайшая общественная цель, стала важнее всего остального.

Я обращаю мысленный взор к духоподъемным вершинам национальной истории потому, что глубоко убежден — и мы, наше общество, переживаем состояние духовного испытания, и наша современность ответственна за осязаемость реальных плодов нового государственного устройства, и мы, писатели, в полной мере отвечаем перед судом истории, и не только отечественной, за то, как скоро и в какой мере будут реализованы идеалы общества равных возможностей, с какой полнотой искренности уверуют наши дети и внуки в идеи, на которых выросли мы, пойдут ли в рост семена цинизма, мещанства, обывательства, увы, щедро посеянные отклонениями в общественном развитии. Партия на своем съезде, подтвердив главные задачи и цели, праведно потребовала трезвости самоанализа, нового отношения к сути дела, отметая суесловие и парадность. Гражданская позиция писателя, работающего для детей и юношества, уточняется самой жизнью. При этом мы хорошо помним старые и вечные истины о педагогической функции детской и юношеской литературы как главной специфической ее особенности, об учительской миссии писателя, о феномене советской литературы, создавшей книги, которые зовут к проецированию благородных поступков в жизнь.

И все же, друзья, говоря откровенно, можно заметить самим себе: многое понимая правильно, сознавая отчетливо, мы предпочитали порой играть в опасные прятки, прикрывая честной литературой конъюнктурный вал, достойными книгами — массу посредственности.

Мы тешили себя надеждой, что о литературе судят по достижениям и что писатель имеет право на неудачу, однако читатель не всегда соглашается с этой оправдательной формулой и горячо спорит не о вершинах, а о допустимости провалов, о массовой посредственности, о явлениях, рождающих детскую скуку. Мы же порой уповаем на то, что не найдется такого весовщика, который бы свалил на немыслимых размеров весы Мон-

бланы серости, двугривенных книжек для малышни и всяческого печатного фарисейства для подрастающих сограждан, что не возьмет он, этот весовщик, за грудки нас не в целом, не литературу вообще, но каждого порознь, и не спросит гласом страшного суда: а где ты был? Приумножал эти горы? Потакал халтурщикам? Хлопал в ладоши от галочек на верные темы?

Первейшая гражданская обязанность культуры для детей и юношества — беспокойство за мир детства. Мы десятилетия повторяли, подчас гипнотизируя самих себя, что дети у нас единственный привилегированный класс. По сути, по принципу — это так, и для детей немало сделано. Но есть еще реальность несовершенного. Есть еще миллионы детских душ, томящихся в уничтожающем одиночестве — при плотном частоколе окружающей родни. Есть новая генерация богатеньких детей, забыто опускающихся в глубины духовной нищеты. Есть юное суперменство кулака и кастета, цинично разделившее свою душу на два этажа — для мамы, для учительницы и для собственной, мнимой правды. Есть, наконец — и это вполне официальная статистика, — миллион детей, брошенных в прямом смысле этого слова пресытившимися, развратившимися, потерявшими совесть — подчеркну — молодыми родителями. Откуда это, коли родители такие выросли на наших добродетельных книжках? Не мало ли — возникает вопрос — тогда лишь одной добродетельности? Не обошли ли, не испугались ли мы, служители детства, иных, более глубинных и более сложных составляющих юной души, ошибочно полагая, что не все детское — вполне детское?

Мне кажется, воспитания добродетельности, послушания, исполнительности, выработки понятий чести и справедливости сегодня уже мало, если говорить о практическом участии литературы в деле душестроения. Увы, увы, но это поразительный парадокс современной жизни — можно, оказывается, любоваться мужеством литературного героя и тут же демонстрировать малодушие, можно чтить благородный кинообраз, но тем же часом совершать подлость, а то и предательство.

Гайдаром, который остается безусловным авторитетом, нас порой пытаются попрекнуть. Где, мол, ваш Тимур? Справедлив ли запрос? Время-то ведь теперь другое! Лидер, подросток или ребенок совестливый, честный, верный — безусловная потребность и жизни,

и литературы. Однако, веруя в то, что пример для подражания способен множить положительные начала в детском мире, мы должны энергичнее, настойчивее ставить перед собой еще одну многозначную задачу — воспитывать книгами в детских массах действенное неприятие зла, нежелание соглашения с обстоятельствами, которые способны заставить ребенка подчиниться предательству, оправдать нечестность, согласиться с мздоимством, принимать как норму карьеризм, словоблудие, фарисейство.

Такой герой может и не оказаться лидером тимуровского толка. Но разве так уж незначительно действенное исповедание коммунистической морали, истовое сопротивление всяческим проявлениям гнуси и общественного нездоровья — ведь едва ли не каждый ребенок наших дней проходит это строгое испытание — корыстью и бескорыстием, добром и злом, честью и бесчестьем.

Задача воспитать массовый иммунитет к социальному нездоровью мне кажется делом более острым, чем создание недостижимого для многих детей персонажа героя — победителя. Хотя, повторюсь, видимо, истина в соединении двух этих начал.

Сегодня мы констатируем: в литературе невозможна ложь. Она — питательная среда для неверия и цинизма. Она — антивоспитывает. Полуправда в литературе — тоже ложь. Однако, увы, правда принимается порой трудней, чем полуправда. До сих пор в некоторых областях не выпущен на экран фильм «Чучело», снятый по повести Владимира Железникова, и лишь по той причине, что правда оказалась слишком удручающей с точки зрения запретителей.

Но ведь в искусстве, как и в жизни, давно известен закон излечения боли болью. В этом оно сродни хирургии. Вполне очевидно, что остановить подростка от жестокости, предупредить его о возможных последствиях нежалости к подобному себе — гуманная цель литературы. Ее и осуществляет Владимир Железников, честно исполняя свой гражданский долг. В качестве аргумента запретители говорят о том, что боятся распространения жестокости после фильма. Что ответить на это?

Ну, во-первых, считать так, значит, совершенно не доверять человеческому в человеке. А, во-вторых, умолчание зла еще ни разу не приводило к его искоренению. Говоря о нравственном здоровье молодежи, мы должны

использовать все врачебные методы: и гомеопатию, и терапию, и хирургию.

Вернусь к словам: человеческое в человеке. Может быть, самое серьезное испытание, какое проходит растущий человек — это испытание его достоинства. Самая трагическая суть деформаций нравственности состоит именно в попрании личности, при этом ломаются личности и того, кто вершит зло, и того, кого этим злом попирают. Подозрительность, недоверие, априорное мнение, что всякий подросток еще должен доказать свою порядочность, — стало едва ли не главенствующей тенденцией воспитания — и семейного, и общественного. Этой тенденции многое противопоставляется — мудрых родителей, даровитых учителей нам не занимать. Но это почти как в литературе — здоровое ядро есть, но и отрицательная масса велика.

Так что, говоря о конкретных целях литературы сегодняшних дней, я на одно из первых мест хочу поставить именно это — защиту человеческого в растущем человеке, защиту его достоинства, адвокатские функции литературы.

Сейчас все рода литературы с пристрастием спрашивают: а как вели себя мы, видя издержки минувшего этапа развития? Сидели в кустах? Или шли вперед, игнорируя синяки да шишки? Как поведем себя дальше?

Вопрос этот вполне уместен и для детской, а прежде всего, юношеской литературы. Я думаю, можно с достоинством ответить так: многие работали честно, но ощущения исполненного долга нет.

Было бы наивно теперь, задним числом, считать, что юношеская литература абсолютно точно реагировала на окружающую действительность. Нет, не точно — и все же реагировала, порой довольно нервно, может быть, и не в силах поставить абсолютный диагноз, но, по крайней мере, вполне определенно очерчивая круг морального и общественного беспокойства. Критика, не очень-то внедряясь в глубины анализа общественных процессов, много раз попрекала юношескую литературу за мнимые-де проблемы джинсовых мальчиков с узко музыкальными интересами, мечущихся, неопределенных, без ясно выраженного гражданского лица, одним словом, негероев. Констатация справедливая, но констатация не причин, а результата. Литература не всегда докапывалась до корешков, ограничиваясь вершками, но это, пожалуй, была и ее вина и ее беда.

Жизнь, ее беспощадное течение, со всей определенностью подтвердила, что формальная регламентация как в управлении хозяйством, так и в воспитании стала путами, которые сдерживают инициативу творческих начал личности. Разве же это не процветало в школе? В комсомоле? Разве это не ломало растущую личность? Горько признавать, но, увы, типичной в молодежной среде стала подмена целей и смысла жизни. Идеалами становились не идеи, а вещи.

Констатировав провалы, юношеская литература попыталась создать свои плотины, чтобы удержать молодежь в пределах общечеловеческих и общенациональных высот. Вполне определенной стала борьба за индивидуальчую нравственность в каждом растущем человеке, которая должна слиться в понятие народной морали.

Обращаясь к традиций, к ближайшим предкам, к естеству человеческой природы и просто здравому смыслу, лучшие достижения юношеской литературы последнего пятилеті в полном смысле слова стали литературой нравственной, и это одно из высочайших ее завоеваний.

Мне кажется, именно под влиянием несовершенств современности любопытную метаморфозу испытали книги о военном детстве. В полной мере используя, так сказать, личностный, «воспоминательный» момент, они тем не менее активно отыскивали в прошлом общий знаменатель с нашей эпохой. А знаменатель этот — в единстве морали, в непреходящих нравственных ценностях, кое-какие из которых новые поколения стали подзабывать. Таким образом книги о военном детстве становятся архисовременной литературой — литературой напоминания и предостережения.

Одну из наших высших обязанностей я вижу в том, чтобы объяснять детей их собственным родителям. Увы, но это становится все более реальным фактом — родители плохо знают своих детей, их психологию, их переживания, не вникают в суть ошибок. Отношения в семье часто носят формальный характер. И наше дело вовсе не в том, чтобы выступать с педагогическими беседами для родителей, а в том, чтобы и художественными, и публицистическими средствами проникнуть в мир этих отношений.

Особенно хочу сказать о художественно-педагогической публицистике, о том, как важно, чтобы работали

в ней именно те, кто ближе других чувствует и понимает ребенка. По своему скромному опыту, по книге «Драматическая педагогика», уже дважды выпущенной издательством профессиональным — «Педагогика», — я вижу, как нужны такие работы и не только родителям, но и школе, учителям, которые далеко не всегда находят подспорье своим исканиям в трафаретных академических методиках.

Особого гражданского участия писателя ждет школа, все педагогические системы страны. Реформа образования только двинулась в путь, и без писателя, его участия — пером и поступком — ей не обойтись. Явным упреком всем нам должно послужить неактивное участие в учебниках, особенно по литературе. Посмотрите хрестоматии для начальной школы! Насколько убоги так называемые рассказы современных писателей про нашу жизнь, и тут, я думаю, главный упрек надо предъявить малышовой литературе, которая просто обязана наново написать для детей ни много ни мало — азбуку нашей жизни.

В число гражданских обязанностей нашего ремесла входит строгость оценок, реалистичность в осмыслении процессов — жизненных и литературных. Думаю, мы слишком долго купались в розовой мысли о беспечальном процветании многонациональной детской литературы, в то время как развитие этих литератур даже объективно не может быть равно адекватным, и во многих литературах до процветания на деле еще очень далеко. Кое-где действительная работа с молодыми авторами не означает ничего, кроме говорильни, а ведь поиск новых талантов, если хотите, творческая селекция и есть главный метод повышения класса литературы в целом. В иных республиках, например в Узбекистане, были случаи вступления в литературу не по признаку таланта, а по принципу кумовства и сговора, когда иные сочинения переводились из ничего в нечто и обратно с русского на родной язык, возникала некая форма «культурного» донорства, унижающая достоинство национальных литератур, самой идеи перевода.

Вместе с тем надо вновь и вновь сказать, что у многонациональной детской литературы нет своего всесоюзного издательства. Есть ли смысл сравнивать возможности редакции творчества народов СССР «Детской литературы», сделавшей очень много для упрочения национальной словесности, и специального издательства с

его организационными возможностями, с его углубленностью в процесс перевода, школами и курсами для авторов из республик, разных регионов, совместными встречами, семинарами крупных художников — такое издательство смогло бы быстро, не дожидаясь взрослости молодых авторов, выводить их на действительно всесоюзную орбиту, оказывать помощь тем литературам, которые в этом нуждаются.

Дружба народов — реальное осуществление этой формулы не терпит успокоения и не может быть остановлено мыслью, что все уже сделано нами. Нет, не все! Не может не подавлять сознание писателя такая мысль, что огромные детские массы в Туркмении, например, не знают русского языка. Это значит, они не могут прочитать молдаванина Спиридона Вангели, украинца Богдана Чалого, эстонца Казиса Сая и многих-многих других замечательных детских писателей, переведенных с родных языков на русский. Это значит, что идея, по которой русский язык — это язык межнационального единства, не осуществлена для многих и многих детей страны.

Писатель, посвятивший себя детству, отрочеству, юности, — это рыцарь без страха и упрека. Таков идеал. Достигнут ли он?

В устремлениях — пожалуй. В результате же — далеко не всегда.

Нравственность идеала нередко уступает перед практицизмом поступка. Не выдерживают критики — с точки зрения гражданской самоотдачи — многие книги, написанные на важные, в том числе политические темы для детей. Они часто неглубоки, выспренни, не воспитывают чувств, вызывают самое страшное, что могут вызвать — усмешку неверия.

Дети чутки к правде и фальши и не принимают книг, поспешно сочиненных на потребу сиюминутности, без вложения души и сердца, чем порой грешат довольно известные авторы. Писать плохо для детей — безнравственно, об этом говорил еще Лев Толстой, писать же плохо, поверхностно, коряво, ничего не добавляя к сказанному — о Ленине, о революции, об истории Отечества, — не только безнравственно, но преступно.

Общество наше справедливо обеспокоено защитой окружающей среды. Защита духовной среды, в которой обретается детство, если хотите, защита беззащитного детского сознания от дурного вкуса, лживых стереоти-

пов, воспитание творческой, личностной сути в каждом человеке — это и есть перспектива нашего художественного развития, высшая наша гражданская цель.

Еще об одной форме защиты детства нельзя не сказать. Это собственно жизнь детей, защита их от угрозы уничтожения — вместе со всем взрослым миром. Только что делегация Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей и юношества ССОД вернулась из США, где мы провели первый американо-советский симпозиум «Воспитание литературой и искусством». Для сотрудничества с нами коллеги учредили Американскую комиссию по детской литературе и искусству. Мы убедились в том, что большая часть американской интеллигенции, учителя, родители живут теми же чувствами, что и мы. На уровне литератур, искусств, педагогики можно и нужно сотрудничать, объединяясь во имя мира и защиты детства. Работа эта начата, но она требует углубления, расширения, поддержки.

Наконец, еще одно слово, одно понятие — без него немыслимо волнение, которое несет литература. Слово это — любовь. Любовь к детям есть подлинная, а есть и мнимая. Мнимое чувство легко обнаружить. Оно многословно, слащаво, недолговечно. Без любви немыслима сама жизнь детского писателя.

Руководясь любовью, давайте же отдадим себя детям — без остатка.

Желаю всем нам сомнений, участливости в реальных детских судьбах и действенного участия в государственных делах, означенных заботой о детстве, желаю нам мук, освещенных любовью к малым сим — они не забудут любви истинной.

1986

ОНИ ВЗИРАЮТ НА НАС ВО ВСЕ ГЛАЗА

Выступление на VI съезде Союза писателей РСФСР

Когда на государственном подворье дуют ветры благотворных перемен, а партия энергично и справедливо пересматривает состояние жизненно важных систем и отраслей, вполне естественно, что и мы спрашиваем се-

бя: а как дела в нашей духовной системе, как обстановка в нашей отрасли — в литературе? Все ли тут ладно, и в чем достоинства литературы наших дней? Если говорить о достоинствах, не грех сегодня еще раз помянуть добрым словом имена двух славных мастеров — Владимира Тендрякова и Юрия Трифонова, и хотя бы попробовать разобраться, почему при жизни, совсем недавно, книги этих писателей были кому-то неудобными, угловатыми, наступающими на мозоли, и почему — не правда ли? — столь точно, к месту звучат они в наши дни, когда партия призывает нас посмотреть на себя критически? Сколько ахов и охов вызвала, скажем, повесть Тендрякова «Ночь после выпуска», но вот решения о школьной реформе словно бы подтвердили книгу и проблемы, в ней поставленные, как данность, которую следует преодолевать.

А цикл антимещанских повестей Трифонова — разве не стал он прекрасным камертоном для строгих суждений наших дней о совести и морали?

Две эти судьбы — а к ним можно прибавить множество иных — пример достоинства современной литературы. Нет, она не дожидалась тихо нового времени, а решительно боролась за него, говорила читателю правду, вскрывая негативные общественные ситуации, и, таким образом, борясь с ними. Но почему же, овладевая общественным, народным сознанием, столь неохотно, нетерпимо вписывались книги этих писателей в сознание, скажем так — официально литературное? Может, потому, что в нашем литхозяйстве скрипят ржой кое-какие маховики устаревших представлений? Не зашориваем ли мы сами себе глаза, к примеру, тем, что десятилетия отбиваем поклоны лишь одной и той же иконе — положительному герою, и не важней ли для литературы наших дней такая категория, как положительный идеал? Ясное дело, героиня тендряковской повести «Поденка — век короткий» — неположительная героиня, мнимая передовичка, вкусившая славы, славой же и сломленная. Вроде сатира, да больно горько на сердце, жмет совесть. Но что же — у автора нет положительного идеала? Да вся повесть — мечта, а если хотите, тоска по справедливому ходу дел, по истинному, а не мнимому соревнованию, по тому, о чем без всяких экивоков — прямо и откровенно говорят сегодня люди.

Лучшие наши прозаики достойно доказывают своей работой, что мир неделим, что истинная забота словес-

ности не только отфильтрованное меньшинство, а грешное и не вполне совершенное человеческое большинство, которое и есть народ, и мечта о реальном совершенствовании миллионов, а не одиночек, умение возвысить их дух и разбудить совесть — и есть цель литературы.

Я думаю, особенно осторожно следует делить на положительных и всех иных мир персонажей детской и юношеской литературы. Окончательный приговор герою здесь опасен хотя бы потому, что юный человек весь в развитии, весь в надежде! Время от времени детской и юношеской литературе пеняют за то ли потерянного, то ли не найденного положительного героя, попрекая при этом Тимуром. Но вспомним: повесть Гайдара пронизана предвоенной тревогой, а раз так, то нет ли смысла подумать, что и из безобразников вроде Мишки Квакина война тоже сделала стойких солдат и настоящих героев, как это случилось с Александром Матросовым.

Когда-то первый съезд писателей открылся докладом Маршака о детской книге, и это очень справедливо, если рассматривать литературу как искусство о человеке. Человек же начинается с детства. Увы, сегодня о детской и юношеской литературе мы привыкли слышать не в начале, а в конце докладов, не в начале, а в конце заседаний, через запятую, между прочим, без должной глубины и серьезности. Не настала ли пора как следует, а не впопыхах разобраться, что же представляют собой современное детство и юность и какой же надобно быть литературе для них?

Счастливы работящие, честные родители, если у них вырастают такие же дети, но удручающей данностью наших дней становится, к сожалению, такое положение, при котором, защищая Байкал, реки, архитектуру, настала пора защищать детство — и чаще всего от собственных родителей.

Подростки, совершающие преступления, говорит статистика, вырастают в благополучных семьях, у них есть и отец, и мать. Они вполне заботливы, эти родители, но их заботливость носит бытовой характер, не цепляя детской души. Становится обычным делом, когда отношения между детьми и родителями носят, так сказать, справочно-информационный характер, когда из семьи исчезает душевный разговор, человеческая близость. Типовой стала другая крайность, когда родители увлечены карьерным воспитанием. С малых лет, лишая ребенка детства, заставляют его если рисовать — так,

чтоб обязательно добился медали на международном конкурсе, если кататься на фигурных коньках — так, чтоб непременно вышел в чемпионы. В физико-математические и прочие иные спецшколы — огромные конкурсы, и не столько детей, сколько родителей — их связей и веса, лишь бы в науку, любыми усилиями, чтобы удался хоть каких-нибудь наук, да кандидат. Стыдно сказать, но детский мир уже давно расслаивается социально — на тех, у кого есть заграничные джинсы, и на тех, у кого их нет, на тех, у кого есть кроссовки «адидас», и на тех, у кого только отечественные. Имеющие презирают неимеющих, вызывая зависть, а порой и ненависть. Вот как рано и на какой основе рождается ожесточение. Взрослые ограждают юных от душевных забот, воспитывают неверное отношение к работе, внушают мнимые идеалы, разрушают чувство детского товарищества, соучастия, рождая равнодушие.

Бороться ли со всем этим детской и юношеской литературе, или ей это не по зубам? Замечать ли пороки воспитания, руководствуясь при этом положительным идеалом, оставляя у читателя надежду, научать его умению и желанию бороться за нравственную правду? Мне кажется, это чрезвычайная задача наших дней. А вот о чем надо бы говорить строже, разумея литературу для подрастающих, так это об опасности лжи, украшательства, нежелания научить малого читателя разглядеть зло и сражаться с ним. Мудро сказал Гавриил Николаевич Троепольский в «Неделе»: «Если писать только о добре, то для зла это будет подарок». Слова эти, на мой взгляд, звучат особым остережением для детской литературы. Стать игрушкой, забавой в руках детей — невелика честь для книги. Быть безобманной опорой детского духа — высшее предназначение.

Как-то сиротливей, что ли, выглядит малышовая литература. Долгое время просят писатели, работающие в ней, ввести систему госзаказа, аккорд, еще что-нибудь вполне реальное — ведь ставки тут как всюду, да самито книжки по 10 страничек. Но десятилетиями голосу этому никто не внемлет. А ведь в эти же годы признано целесообразным дать такие ставки на госзаказ в кино, что один сценарий, на который ну полгода, ну год тратится — равен по оплате собранию сочинений в 3—4 томах, итогу целой писательской жизни.

Мал приток новых имен. Всесоюзные совещания молодых, где всегда есть семинар детской и юношеской

литературы, дает негустой урожай. Может, стоит вернуться к забытому — к всесоюзным совещаниям специально по этой литературе, да не одними словами завершить его, а конкретными договорами издательств.

Такие совещания, кстати, Союз писателей проводил вместе с ЦК ВЛКСМ в предвоенные да и послевоенные годы. Все это было бы не словесной, а практической помощью школьной реформе и школе, которая так устала от слов и так нуждается в делах — больших или хотя бы малых, — нуждается в новых книгах, в писательских уроках, в педагогической публицистике. Вот Виктор Петрович Астафьев печется о детском доме в Красноярске, а Савва Артемьевич Дангулов стал инициатором строительства блистательной детской библиотеки в городе своего детства Армавире, да еще и подарил ей коллекцию живописи, посвященную материнству.

Такое единство слова и дела, такое слияние личности писателя, его, если хотите, учительского облика с его словом — по-особому важно для детской, юношеской литературы.

На нас во все глаза взирает детство, научаясь у нас не только хорошему, но и дурному. Детство — наша совесть, и это не грех помнить всякий час, отдавая себе отчет в том, что, может быть, главное строительство наших пятилеток — это строительство растущей души.

1985

ЧЕЛОВЕЧНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ

Ответы на анкету журнала «Детская литература» о положительном герое детской литературы

Есть такая поговорка: новое — это хорошо забытое старое. Не раз и не два мы принимались бурно обсуждать то, что уже, кажется, давно решено и обнародовано. Тем-то, видать, и отличны гуманитарные дисциплины от наук точных. Если, скажем, теория относительности открыта и доказана, то второй раз ее открывать незачем. Она становится истиной, на основе которой строятся другие теории. Без фундаментальных, основополагающих истин невозможно ни одно серьезное дело. А вот в литературе, точнее в литературных разговорах,

однажды вдруг все вроде бы забывается начисто. Этакая всеобщая игра в жмурки. Люди сами себе завязывают глаза и гоняются за истиной, которую искать не надо, которая очевидна и хорошо известна.

Все это, на мой взгляд, в полной мере относится к рассуждениям о положительном герое детской и юношеской литературы.

Что же нами забываемо, что следует признать хорошо забытым старым?

Важные педагогические истины.

И тут я сделаю еще одно, весьма существенное, на мой взгляд, отступление. Если истинным следует признать положение о связи литературы со всем сущим, то применительно к литературе и искусству для детей и юношества эта истина выражается в единстве культуры и педагогики. Для тех, кто пишет о детях, педагогика, под которой мы разумеем не просто жизнь, а осознанные общественные усилия, влияющие на маленького человека, есть и духовное, научно обоснованное кредо, и территория, на которой происходят острейшие битвы, и процесс, в котором выявляется все новое, что вдруг или не вдруг возникает в наших детях. Помимо этого, детская и юношеская литература — часть общей педагогики, часть общих народных усилий, определяемых заботой о новых людях. Литература — непосредственная педагогическая сила нашего общества.

Но если это так, если жизнь, а значит, педагогика, признают воспитательную роль литературы, то почему же в литературных разговорах так легко забываются важные педагогические истины.

И тут я обращаюсь к одной из главных.

Лев Толстой в статье «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» так означает важную в этом разговоре истину.

«Здоровый ребенок родится на свет, вполне удовлетворяя тем требованиям безусловной гармонии в отношении правды, красоты и добра, которые мы носим в себе; он близок к неодушевленным существам — к растению, к животному, к природе, которая постоянно представляет для нас ту правду, красоту и добро, которых мы ищем и желаем. Во всех веках и у всех людей ребенок представлялся образцом невинности, безгрешности, добра, правды и красоты. Человек родится совершенным, — есть великое слово, сказанное Руссо,

и слово это, как камень, останется твердым и истинным».

Смысл рассуждений Руссо и Толстого — в стремлении первородные достоинства человека признать идеальными. Толстой так и утверждает: «Идеал наш сзади, а не впереди». Прежде чем прийти к этому посылу, он пишет: «Но мы так уверены в себе, так мечтательно преданы ложному идеалу взрослого совершенства, так нетерпеливы мы к близким нам неправильностям и так твердо уверены в своей силе исправить их, так мало умеем понимать и ценить первобытную красоту ребенка, что мы скорей, как можно скорей, раздуваем, залепляем кидающиеся нам в глаза неправильности, исправляем, воспитываем...» и «...все дальше и дальше удаляются от бывшего и уничтоженного первообраза, и все невозможнее и невозможнее делается достижение воображаемого первообраза совершенства взрослого человека».

Повторим главное, как бы законспектировав Толстого: ребенок — природный человеческий идеал, а детство — первообраз совершенства взрослого человека. И нет никакого отрицания диалектики в толстовском: «Идеал наш сзади, а не впереди». Напротив! Это — критерий истины.

Теперь давайте глянем окрест. Есть ли умные люди, чтущие детство как первообраз человека? Есть. Вдумчивые педагоги, глубоко любящие родители. Хорошая же литература вообще немыслима без этого. Вспомним хотя бы «Мальчика у моря» Николая Дубова. Сколько доброты, проникновенной пронзительности в одиночестве малыша, сколько непонимания вокруг него и сколько ясности и чистоты в том, кто захотел понять мальчика. Понявший и обогревший — не тот ли взрослый на пути своего совершенства?

Мне кажется, все разговоры о положительном герое на перекрестке двух дорог — детской и взрослой. Они равны во всем, эти дороги. Трудностями своими, непростотой, счастливостью понимания, если оно состоялось, идеалом — в понимании. Что же до положительного героя, то, по Руссо и Толстому, всякий ребенок не просто положителен, но идеален. Он становится не вполне идеальным, а часто и дурным лишь в силу разных на него воздействий. Он, таким образом, отходит от идеала.

Не это ли и ответ на старинный, как мир, вопрос о положительном герое?

Вот «Голубая чашка» Гайдара. По сути, весь этот рассказ — немое стремление ребенка образумить родителей, вернуть к первородной человеческой доброте, жажда примирения двух взрослых людей, как единственной праведной норме жизни. Что бы мы ни толковали про добрых и тактичных родителей, которые ни звука не произносят о ссоре, но лишь молчаливое упорство ребенка приводит к естественному желанию забыть все недомолвки. Кто тут положительный герой? Самый положительный — ребенок.

Можно возразить: однако жизнь сложна.

Вот именно! Потому-то, что жизнь сложна, положительное начало детства, как самой природой завещанный идеал, должно противостоять злу, накопленному недобрым «опытом жизни», «умением жить», непониманием, небрежением и всеми прочими неправдами, которые так часты и так тяжелы.

В сущности, смысл педагогики и всей культуры для детей, включая литературу, в том, чтобы, оградив ребенка от злых налетов необходимости, ввести во взрослую жизнь человека, способного и сохранить, и развить — но теперь во взрослой непростой жизни — первообраз совершенства.

Человек честный, правдивый, готовый к поступку во имя добра, и несть числа благим достоинствам, принесший понятия чести и честности из ясности детства и сумевший сохранить все это в себе, сумевший не отступиться от себя, и есть, на мой взгляд, искомый — если и не идеал, то его прообраз.

Тот, кто предал себя, забыл себя в детстве, предал маленького своего сына, то ли в злобе, то ли в простой усталости растоптав сперва одну, потом другую истину из первородных, сам того не заметив, становится злодеем. Так что, как видим, если и есть разница между взрослой и детской литературой, то уж вовсе никакой разницы нет между добрыми людьми этих литератур: ведь всякий взрослый всего лишь навсего — бывший ребенок.

Говоря же о традициях не только детской, но всей литературы, не могу, никак не могу припомнить ребенка — злодея, хотя таких взрослых — многие сотни. Давайте оглянемся. Пушкин? Толстой? Гоголь? Достоев-

ский? Всяк из великих потому и велик, что истину чувствовал нутром, жилами, а не только головой. Нет в нашей литературе отрицательных детей. И быть не может. Противу нашего естества такая гипотетическая возможность.

Что касается меня и моих опытов, скажу лишь одно: всегда старался мотивировать толстовским правилом поступки всех моих маленьких — да и не маленьких тоже — персонажей.

Понимание — истина из первоосновных. Ею диктуется доброта и правда. Понимание определяет и жизнь людей в книжных страницах. Это, я думаю, и все.

Добро и зло будут долго еще биться на страницах книг, составляющих российскую словесность. Дело чести писателя увидеть и понять неведомое в людях, не забыть первородное, охранить его. Мы не должны уклоняться от того, что предлагает нам жизнь от доброго и неправедного — это будет постыдно. Во взрослом, большом мире живут дети, подростки. Их нельзя спрятать в коробочку с ватными стенами и кормить одними приторными сладостями, увы, они вкушают тот же хлеб, что и взрослые, набираясь от них не только добра и не одних лишь высоких истин. Но за человечное в человеке нельзя уставать бороться. Это путь, который проходишь много раз.

Единственный путь.

1984

ХОРОШО БЫ ВЗЯТЬСЯ ЗА РУКИ

Выступление на заседании «Клуба деловых встреч» Московской международной книжной выставки-ярмарки

Я принадлежу к поколению, увы, уже пятидесятилетних людей, на детство которых легла тяжелая тень войны. Вот на Западе нас любят попрекать: не надоели ли, мол, вам бесконечные разговоры о минувшей войне и собственных страданиях? Собственно, вопрошать так может человек — или люди, — не знавший войны, не вкусивший ее трагедии, не испытавший горького военного послевкусья. Я же лишь хочу привести еще один, как мне кажется, новый аргумент в доказательство нашей неуспокоенности — делу народному, в полном смы-

сле национальному. Вот это доказательство — из отдельных печальных фактов, из частностей складывающееся в явление. Смерть несправедлива всегда. Но все чаще и чаще стали умирать и тяжело болеть те, кому нынче под пятьдесят или чуточку за. Ушли из жизни многие мои сверстники. И вот — не раз, и не два — мудрые, как правило, очень немолодые врачи говорят мне, что при отсутствии буквальных доказательств они глубоко уверены в том, что болезни и ранние смерти — это эхо войны. Несъеденный в детстве кусочек масла, в котором есть незаменимый витамин А, кусок хлеба, который отобран голодом, образуют пустоты в человеческом фундаменте, и человек ломается раньше срока, предопределенного ему судьбой. Так как же нам забыть о войне, не говорить о ней, если она болит и жжет нутро не только солдат ее, не только прямых ее участников, но даже детей, даже тех, кому было 2—3—6 лет в день ее начала.

Говорят, тотчас после окончания первой мировой войны какой-то английский профессор с точностью до года предсказал начало следующей, а в качестве аргумента привел такую, очень логичную мысль: война, сказал он, начнется тогда, когда окончательно вымрут те, кто помнит войну предыдущую. И оказался прав. Так что, как видим, вопрос памяти и памятливости — вовсе не пустое и не пропагандистское дело. И нам, литераторам, переводчикам, издателям, тем, кто полагает себя охранителями и продолжателями культуры, великим грехом перед будущим, и никак не менее, обойдется стыдливое замалчивание войны минувшей. И вовсе не случайно, не от усталости, нет, возникает на Западе сопротивление к изданию советских книг о войне и даже самим о ней разговорам. Кто-то, напялив на себя маску интеллектуализма, торопится поскорее стереть в сознании народов воспоминание о войне, отторгнуть от горькой памяти прежде всего молодых, кто собственной памятью об этой беде не обладает и кому — и это непростое дело — еще надобно передать не умственное, а чувственное, личностное понимание опасности бывшей, переходящей в опасность грядущую.

Как известно, взаимные попреки — неплодотворный жанр любой дискуссии. Дело литературы — строить мосты, а не сжигать их. Но сколько же их сожжено! Несколько лет уже меня не покидает чувство горечи и не-

доумения. Вместе со своими советскими друзьями я был в Испании, первое, куда мы пошли, был великий музей Прадо, нас сопровождала женщина-экскурсовод, громко и, конечно же, по-русски, дававшая пояснения. Через три-четыре зала наша скромная группа превратилась в огромную толпу — за нами, рядом с нами шли подростки, ученики школ, тоже пришедшие в Прадо, но великие полотна их уже не привлекали — во все глаза они таращились на нас, восклицая: «Руссо! Руссо!» Не зная испанского, мы, конечно же, нашли общий язык с ребятами, но до сих пор не покидает меня жалость к этим детям, до такой степени запуганным нами, замордованным пропагандой, школой — ведь только недавно в испанских детских книжках перестали рисовать русских с рогами.

Такая, с позволения сказать, культурная, издательская деятельность меня не удивляет. На международной книжной выставке-ярмарке детской литературы в Болонье я видел продукцию одного издательства, упражняющегося в выпуске для детей альбомов черного антисоветского юмора самого гнусного толка.

Доказательств того, что культурное книжное дело ставится на службу самым бескультурным и бесстыдным делам, более чем достаточно. Но замечают ли обозреватели, критики, всякого рода толкователи, что мы на, скажем, черный юмор для детей о Советском Союзе не отвечаем подобным же образом. Что мы никогда не издаем подобной пакости. Задавались ли они вопросом — почему?

Причин несколько. Первейшая в том, что для нас культура — категория, не поддающаяся манипуляциям. Что для нас достоинство — свое и других народов — понятие чтимое и горячо, сердечно воспитуемое нами в наших детях. А еще потому, что мы, простите, брезгливы, а это тоже не отвлеченное человеческое достоинство. И к тому же любим собственных детей. Вот и выходит, что мы наших детей бережем от мерзостей жизни, а те издатели, — своих детей, детей своего народа не берегут. Они для них только лишь часть рынка. Прискорбно.

Русская, советская литература никогда не отделяла себя от литературы мировой. С радостью высшего вдохновения внимали наши великие предтечи гуманному слову Вольтера и Бальзака, Диккенса и Голсуорси, Лонгфелло и Фолкнера. Внимаем им и мы — вечным

защитникам человека. Но вот что не может не поражать — так это мощный поток антилитературы в странах с величайшими литературными традициями. Конечно, в каждой из великих западных литературных держав есть охранители высокого духовного класса, замечательные мастера, книги которых мы, советские люди, и переводим, и издаем, и читаем, может быть, даже больше и глубже, чем у них на родине. Но не устает поражать: во имя чего, зачем расшатывают стены собственного дома авторы книг, воспевающих насилие, жестокость, ненависть, секс? Неужто жажда собственного преуспеяния начисто зачеркивает гуманистическое предназначение культуры? Неужто нет дела выше, чем воспитать юного насильника, который надругается потом над тобой же самим? Или сдвинуть мир с оси, превратить родную страну в сборище ожесточенных, если не сумасшедших, это и есть смысл существования некоторых, считающих себя литераторами?

Вопросы можно множить. Они очевидны. Но нет ли у наших западных коллег опасения, что собственные их традиции рушатся — а ведь речь идет о духе, о человечности, о милосердии, и уж если говорить не об отдельных художниках, а о литературах в целом, то не кажется ли им, что охранителями их, западных, гуманистических традиций становятся сегодня не литературы Запада, а литературы социалистических стран?

Наши литературы верны собственным традициям, нам нет нужды отламывать от чужого пирога, памятуя наследство Толстого и Достоевского, Чехова и Гоголя. Но мы всегда стремились к широте, любя шедевры гуманистической западной литературы, как собственные, как достояние мира, не имеющее границ и портов приписки. Классика, как известно, принадлежит народам.

Но вот в некоторых городах у народа отнимают Марка Твена — чудовищно, бессмысленно, жестоко! Книги снова горят в кострах, хотя костры эти и не публичные, как в 33-м.

Что можно сказать на это? Что Марку Твену не о чем беспокоиться. Он не горит в огне. Сожженные книги не исчезнут — их сохранят другие народы. Пожалеть надо лишь юных американцев, которые станут беднее на целого Марка Твена! Как, впрочем, на целую полку великих художников слова.

Гуманистическая классика Запада вдохновляла наш народ тем, что она дарила человеку надежду. Литература надежды — издавна блюдет эту человеколюбивую традицию русская и советская, нынешняя литература. Памятуя об отсутствии паритетности в книгоиздательском деле у нас и на Западе, о том, что мы издаем куда как больше, чем издают нас, я хочу заметить, что по моим чисто человеческим наблюдениям молодому человеку во многих странах основательно недостает надежды, веры, любви, что слишком жестко ему живется и не так уж много духовных сил существует, способных возвысить его убеждения. Иными словами, отнимая надежду у молодых, мы лишаем человечество добродетельного будущего, ожесточая мир и людей внутри этого мира.

Негуманное, злое дело. Мосты сжигать легче, чем их строить. К тому же много поджигателей развелось на белом свете. Обращаясь к западным издателям прежде всего, я хочу сказать им: пусть освободит вас страх от жупелов, вроде «руки Москвы», «красной пропаганды», «русского терроризма», «советской агрессивности», этих копеечных козырей в дешевой карточной игре. Мы хотим мирно жить и мирно растить своих детей, у нас много собственных, домашних забот. И, между прочим, наша забота о нравственном человеке, о его душе, наша литература, исполненная надежды, вполне может пригодиться вам в ваших человеческих заботах о гуманистическом праднезначении ваших книг к реальному молодому человеку. Как бесспорно нужен нам ваш великий классический и значительный нынешний опыт защиты человека.

Недавно телевидение показало такую хронику: на протяжении 40 километров, вокруг военной базы в Европе стояли люди разных возрастов, профессий, национальностей. Они стояли, взявшись за руки, протестуя против атомного оружия. Давайте почаще браться за руки и мы, писатели, издатели, переводчики — чтобы и атомное оружие, и распущенность человеческую, и злобность, и ненависть — окружить, сделать их явными, чтобы провести резкую черту между сердцем и бессердечием, добром и злом, и исполнить, таким образом, высшее предназначение культуры.

1985

ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА

Выступление на Всесоюзном сборе воспитанников детских домов в Колонном зале Дома Союзов

Собираясь к вам, дорогие мои друзья, размышляя о том, что я могу и должен вам сказать, я подумал о непреходящих ценностях вечных истин, о пользе мудрости при самых конкретных разговорах, о важной, вседневной человеческой памятливости наиглавнейшего, что не следует забывать ни тем, кто старше, и уж особенно помнить тем, кто молод, кто в великом жизненном многообразии выбирает свою единственную, на всю дорогу, вечную истину. Я говорю о достоинствах человека.

Человеческих достоинств много, и в то же время не так уж много, чтобы забыть хотя бы одно из них. Человеческие достоинства высоки, много достойных мужей — философов, писателей, борцов — думали о них, чтобы мы позволили себе пренебречь их мудрыми мыслями. Поэтому я призову в помощники себе тех, кому мы безоговорочно верим.

Первое среди человеческих достоинств — *мужество,* и автор бессмертного образа прекрасно чистого Дон Кихота, Мигель Сервантес Сааведра, размышляя о мужестве, записал так: «О мужественное сердце разбиваются все невзгоды». Запомним это!

Второе среди человеческих достоинств — *скромность,* и великий Лев Толстой так рассуждал об этом. «Человек подобен дроби, — говорил он, — числитель есть то, что он есть, а знаменатель то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь». Запомним эту мудрую арифметику!

Третье среди человеческих достоинств — *справедливость,* и прекрасно сказал старинный французский писатель Жан де Лабрюйер: «Справедливость по отношению к ближнему следует воздавать безотлагательно; медлить в таких случаях — значит быть несправедливым». Запомним и это.

Еще одно великое человеческое достоинство — *честность,* и полными глубокого смысла звучат слова Виктора Гюго: «Ближе всего к великому стоит честность». Не забудем и этих слов.

Рядом с честностью, рука об руку с нею, стоит *правдивость,* и нельзя, невозможно забывать великих заветов великих учителей, один из которых — а это Мак-

сим Горький — сказал: «Нежной правды нет», и другой — а это Александр Блок — подтвердил: «Только правда, как бы она ни была тяжела, — легка».

Важнейшее достоинство личности — *совесть*. «Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не согласно с правдой. Соблюдай это самое важное, и ты выполнишь всю задачу своей жизни». Так сказал древний римский философ Марк Аврелий, и эта истина жива поныне. Прекрасное среди человеческих достоинств — *честь*. «Настоящая честь — это решение делать при всех обстоятельствах то, что полезно большинству людей», — мудро заметил американский ученый Бенджамин Франклин.

Мужество и скромность, справедливость и честность, правдивость, совесть, честь — все это слагаемые человека, слагаемые человеческой души, его нравственности, и без точного знания, а главное, каждодневного, ежечасного, вечного соблюдения нравственных законов, дарованных человеку его сознанием, немыслимо добро, немыслимо дело, немыслима сама жизнь наша.

Меньше всего я хотел бы выглядеть проповедником на трибуне этого прекрасного зала. Но давайте представим — ведь в этом зале бывали декабристы, всей своей жизнью исполнившие самые высокие человеческие представления о чести! О достоинствах человека здесь, в этом зале, спорил с друзьями великий и незабвенный Александр Сергеевич Пушкин! Здесь выступал достойнейший из людей Владимир Ильич Ленин, чья жизнь, чьи помыслы и свершения исполнены стремления, исполнены жажды общества такой социальной справедливости, которое лишь одно способно осуществить мечтания мудрецов всех времен о человеческой личности, полной высших достоинств.

Как же не повторять нам с вами великих истин! Как не помнить о них! Как не чистить себя, по образному выражению Маяковского, под образцами мудрости, как не поверять свою жизнь вечными истинами, которые и составляют вкупе достоинства коммуниста, достоинства человека с большой буквы.

Желаю вам, дорогие друзья, быть настоящими комсомольцами, стать настоящими, верными нашему делу, коммунистами, людьми с большой буквы. Будет непросто. Будет трудно. Но иной истины для нас нет!

1982

ГЛАВА
II

Хочу заметить напоследок: мы часто и охотно толкуем о доброте, но порой это понятие звучит пустым, хотя и желанным звуком. Но доброта — понятие конкретное, осязаемое. И оно состоит из конкретных решений, поступков и дел. Мужество и скромность, справедливость и честность, правдивость, совестность, честь — все это слагаемые человека, его души, его нравственности, и без точного знания, а главное, каждодневного, каждочасного, вечного соблюдения нравственных законов, дарованных человеку его создателем, немыслимо добро, немыслимо дело, немыслима сама наша жизнь.

ДОБРОТА — ПОНЯТИЕ ОСЯЗАЕМОЕ

Письмо рабочим Кировского электромашиностроительного объединения имени Лепсе

Уважаемые земляки!

Прежде всего хочу сказать о чувстве, которое мною владеет сейчас, когда я пишу эти строки.

Немало, как всякий человек, отправил я писем в жизни — близким, родным и совсем посторонним людям в силу своих писательских обязанностей, но впервые пишу письмо, обращенное сразу ко многим людям, и все эти люди такие разные. Рабочие и инженеры, конструкторы и вахтеры, уборщицы и администраторы,

добродушные и усталые, добрые и не очень, молодые и пожилые, рядовые и руководители ответственных производств, женщины и мужчины, счастливые и не вполне, бездетные и такие, у кого семеро по лавкам. У каждого, ясное дело, свои заботы, своя суета, свои радости и печали, но все это, в общем-то, называется жизнью, а соединяет вас воедино просто место вашей работы — завод.

Волнение мое объясняется вашей человеческой непохожестью, пожалуй. Сколько людей, столько и характеров, столько судеб, не говоря уж о мнениях. У иного два, а то и три соображения по одному и тому же поводу случаются, не говоря уж о том, что к одному и тому же очень ясному предмету, например, к работе, может быть, у людей, станки которых стоят рядом, несколько совершенно разных отношений.

Но работа — дело ясное, а я вот вознамерился у непохожих людей — пусть и одного предприятия, одного, можно сказать, коллектива — вызвать общее чувство.

Что ж — рискованно, но попробую.

Речь о детях. Уточню — о чужих детях. Чужих и вам, и мне, если мерить, конечно, близость и дальность человеческих отношений, увы, общепризнанными в быту мерками.

Об этих детях мало кто даже по-настоящему знает. Как говорится, справиться бы со своими. Вон, на своем-то ботинки так и горят, в школе перебивается с двойки на трояк, по улице свищет допоздна, да еще попробуй ему замечание сделать!

Но речь все-таки не о своих. Хоть и получит порой ваш или ваша под горячую руку призовую затрещину в качестве акта педагогического отчаяния, хоть и поблажат, попривередничают, пообижаются, а все же нет у этих мальцов никого ближе вас, никого ближе матери и отца.

А по жизни нашей тем временем, по улицам городов и селений ходят и бегают совсем другие дети, не очень-то отличимые от остальных своей одеждой и все же одетые похуже. Эти дети растут без родителей: или не имеют их вовсе, или родители их лишены государством материнских и отцовских прав, или же родители эти «в бегах», а еще и того хуже — за решеткой, оказавшись там в силу деяний наказуемых.

Иначе говоря, в стране нашей еще достаточно на-

стоящей, горестной детской беды, и первое, что я хочу подчеркнуть: ребята невиновны в своем одиночестве.

Поговорим о родителях — кто они? Иные страдают, маются, прибегают к воротам детских домов, ищут встречи с собственными детьми, но ничего не могут поделать со своей натурой, сломанной пьянством, а то и наркотиками. Другие — и среди них немало молодых матерей — отреклись от ребенка прямо в роддоме, расписались в том и исчезли в людском море. Третьи, отбыв положенное в местах не столь отдаленных, возвращаются к своим детям, но, увы, порой очень поздно.

Во всех детских бедах повинны родители. Увы, слишком часто родня этих детей — дядья, тетки, бабки и дедушки — если и не отворачиваются от них, то не желают или не способны относиться как к собственным. Так что путь один: детский дом.

Для детских домов в последние годы немало сделано. Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об этих не очень-то радостных, но необходимых пока домах. Пересказывать суть этих решений смысла, пожалуй, нет, скажу только, что укрепляется материальная основа воспитания, дети будут лучше одеты и сытнее накормлены, придут новые педагоги, и положение работающих там серьезно улучшается. Словом, сделано многое, чтобы детский дом стал подлинным теплым и родным домом, способным внушить ребенку надежду, одарить лаской и любовью.

И все равно: мать, отца он не заменит, нет!

Однако же невинных детей надо обеспечить максимумом человечности — много ли будем стоить мы все, как люди, если станем считать это дело чьей-то ведомственной заботой! Немало шумных слов о коммунистическом сообществе наговорили мы друг другу, но не маловато ли истинно коммунистических поступков и дел совершаем в нашей человеческой повседневности? Не слишком ли часто еще ждем, когда кто-то где-то и непременно наверху сделает это властью высшей, приняв постановление, объявив, признав необходимым. Кстати, о необходимости сделать заботу о невинных детях подлинным делом партии и народа — и сказано, и постановлено, но сделать дело-то должны конкретные люди в конкретных городах и районах.

Да, отца-мать не заменишь, какой бы немыслимой доброты люди ни работали в детских домах. И все-таки общество обязано что-то сделать для максимальной

реализации нашей человечности во имя этих детей, не так ли?

Однако практика такова, что детский дом, школа-интернат для сирот и детей родителей, лишенных родительских прав, — учреждения, подведомственные Министерству просвещения, не могут прыгнуть выше собственной головы в наиглавнейшем деле. А именно: детский дом не способен даже организационно обеспечить будущность этих детей. Переступил воспитанник порог детского дома, и он сам себе — вольная птица. Подумайте-ка о своих: можно ли, нужно ли предоставить полную волю человеку, закончившему восемь или даже десять классов?

Сколько внешней помощи еще надо начинающему студенту, ученику профтехучилища, молодому рабочему! А после детдома? И без того одинокие, ребята остаются еще и бесконтрольными. Дай бог, повезет, встретятся на заводе, в ПТУ, институте добрые, сердечные взрослые — не просто дадут койку в общежитии, а проявят участие, станут интересоваться — как с зарплатой, как деньги тратишь, во что одет, с кем водишься. Иными словами, выход из детского дома для многих тысяч наших сограждан — это как падение с обрыва. Только крика не слышно. Эти дети не умеют кричать так, чтобы их услышало общество. Но голос их мы услышать обязаны.

Теперь я должен сказать про себя: зачем про это пишу, почему этим занимаюсь.

Современное сиротство — при живых родителях — очень беспокоит меня как одно из наипечальнейших наших несовершенств. Чисто по-человечески. В свое время я обратился в ЦК нашей партии с обширным письмом, предлагающим кардинально изменить обстановку в детском доме, и безмерно счастлив тем, что с этого письма началась подготовка важного документа.

В документе есть пункт, разрешающий предприятиям строить новые детские дома. Он, этот пункт, и открывает ворота для торжества социальной справедливости, создает возможности реально обеспечить будущность покинутых детей. Этим-то и заканчивается мое как бы нравственное объяснение предмета, мое предисловие к важному предложению, которое я выношу на ваш суд.

Предложение состоит в том, чтобы с помощью объединенных усилий заводского народа и педагогики поставить совершенно новый социальный эксперимент —

создать новый тип детского дома: детский дом промышленного предприятия.

Почему, спросите вы? Зачем надо заниматься этим предприятию — у него и своих забот немало.

Верно, немало. Точнее, очень много. Среди этих многих дел на одном из первых — кадровая. Чтобы мощно и бесперебойно работала вся система заводского кровообращения, ему постоянно нужны новые молодые люди, привязанные к заводу не только рублем, хорошей работой, перспективой, то есть привязанные выгодой, но еще привязанные морально. Благодарные люди нужны заводу.

Заметьте: одно дело — благодарность взрослого, закаленного жизнью человека. Такой испытывает чувство благодарности к заводу за все вместе, комплексно, и единство параметров, по которым он достиг удачи — получил квалификацию, квартиру, уважение, орден — есть не что иное, как судьба.

У молодых же ни о какой благодарности речи нет. Годы требуются, чтобы возникло это высокое чувство.

Итак, молодые кадры. Кроме, пожалуй, выпускников заводского профтехучилища, все остальные новички — просто люди с улицы. В лучшем случае — ученики подшефных школ, не попавшие в институт или техникум. Придут, осмотрятся, кто-то остается, кто-то исчезает. Типичная ситуация.

Не отрицая этих ручейков, из которых и сливается кадровая река, я предложил бы создать по существу особую кадровую школу, постоянно, каждогодно поставляющую своих воспитанников заводу. При этом каждый ученик заранее знает, что он уже со школьной скамьи числится человеком завода.

Детский дом промышленного предприятия призван будет сыграть роль коллективного родителя, участвующего в воспитании и образовании своих детей.

Приглашение детей — именно приглашение! — в детский дом завода должны сделать сами рабочие, специально избранный актив из наиболее благородных и зрелых людей. При этом детям надо прямо и откровенно сказать, что их приглашают не просто в новый детдом, где будет лучше и интереснее жить и учиться, а именно в заводской детдом, и приглашает именно предприятие, которое даст им самое главное: будущность.

После детдома — этого детдома! — они не полетят

с обрыва во взрослую жизнь. Они просто переступят с одной ступени на другую в одном и том же доме. Из заводского детдома перейдут в заводской цех, получив заранее специальность, получив место в общежитии, а потом и квартиру. И этот заводской цех не станет чем-то абсолютно новым и пугающим, потому что практику ребята будут проходить вполне определенно: каждый класс — в своем цехе, прикрепленном к классу постоянно, на долгие годы.

По существу, предприятие берет под свое крыло обездоленных детей, даруя им профессию, жизненную перспективу, гарантированность рабочего места, жилья, равный с остальными социальный и гражданский статут. Приходя на завод, такой молодой рабочий не станет смотреть на сторону уже хотя бы потому, что у него непременно возникнет чувство привязанности.

Чувство это будет глубоким, многолетним, серьезным, если, конечно, его не разрушать.

А от разрушения такое чувство надо сберечь. Например, будущими товарищескими советами выпускников детдома, куда войдут представители администрации, парткома, профкома, комитета комсомола. Но это — потом.

Пока же я хочу внушить читателям этого письма мысль о необходимости общественного участия в судьбах обездоленных детей. Педагогика, сама система детских домов оказалась слишком изолированной от главных общественных сил страны. Так называемое шефство способно залатать дыры на крыше детского дома, но никак не рассчитано на действенное и многолетнее ответственное участие в судьбе малого человека.

Отстраняться от наших общественных забот — что ж, в этом, увы, опыт наш не мал. Принять на себя тяжесть чужой беды, отвести ее — это непростое, нелегкое дело, и много мы еще набьем себе синяков, пока научимся такой достойной, нужной работе.

И вот теперь предлагаю вам вместе поставить социальный эксперимент: построить детский дом промышленного предприятия. Если хотите — макаренковскую школу на новой основе, когда крупному заводу и его людям есть дело до покинутых детей.

Я выношу для вашего обсуждения так называемое педагогическое задание на проектирование детского дома. Прежде чем опубликовать его, я изложил свою идею дирекции предприятия и областному комитету партии.

Там меня поддержали. Средства на стройку нашлись. Теперь я предлагаю публично обсудить эту идею. Прежде чем взяться за дело, как бы проголосовать за него. А еще глубже — пригласить всех и каждого внести свои дополнения, уточнения, предложения. Как говорится, ум — хорошо, а тысяча лучше.

Средства на социальное развитие предприятия, которые можно использовать для строительства детского дома, послужат высокообщественной задаче — они помогут ощутить уверенность сотням детей, найти свое место не где-то там — далеко в жизни, а вполне конкретно — на вашем заводе.

И если у этих десятков, потом сотен, а затем тысяч молодых людей жизнь станет лучше — то это произойдет благодаря заводу и с реальной пользой для завода!

Хочу заметить напоследок: мы часто и охотно толкуем о доброте, но порой это понятие звучит пустым, хотя и желанным звуком. Но доброта — понятие конкретное, осязаемое. И оно состоит из конкретных решений, поступков и дел.

Рабочие объединения поддержали идею. Идет проектирование нового дома.

1986

ОБЕРНУТЬСЯ К ДЕТСТВУ

Взыскующее время очищения плодотворно еще и тем, что мы возвращаемся — должны вернуться! — к общечеловеческим первоистинам. То, что в суете сует казалось безумно важным, с точки зрения элементарного здравого смысла вдруг выглядит малозначащим, и мы вполне искренне хватаемся за голову: да что же это на самом деле! да где же мы были раньше?

Искренне заблуждаемся, искренне отрекаемся от собственных заблуждений... Спрашивается, что же из этих двух состояний более искреннее? Нет ли в этой поспешной готовности сменить точку зрения отсутствия убежденности, элементарного человеческого неверия в первоистину, целевой невнятности? Не теряем ли себя, хватаясь то за то, то за это, самое главное отодвигая на вторые, третьи, а то и пятые места? И постепенно забывая, что это и есть главное.

О чем я? О детях, о детстве. О проблеме современного состояния детства — да, именно о проблеме, потому как она назрела вполне очевидно, эта проблема, пока мы занимались славословием, гипнотизируя себя лозунгом, что дети, мол, в нашей стране — единственный привилегированный класс.

При этом мы ссылались на уникальные эталоны, непревзойденные по сей день, вроде Театра кукол Образцова, Дворца пионеров на Чукотке, ансамбля Локтева, центра эстетического воспитания в Ереване. Честь и хвала создателям этих педагогических оазисов, но вглядишься в общий облик детства и призадумаешься: система-то действительно оазисная. Зоны детской отрады созданы, но много ли их и что в пространствах между ними?

А в этих пространствах — захудалые зальчики детских кинотеатров, которых к тому же постыдно мало, кукольные театры, влачащие нищенское существование, ТЮЗы, явно обретающие черты третьесортности. А много ли мы знаем детских больниц и поликлиник, оборудованных по последнему слову медицинской мысли? Построили, конечно, кое-что, но если посмотреть широко — опять все тот же оазисный принцип: есть чем похвастаться, но это никого не утешает и проблем не снимает.

Можем ли мы объяснить сами себе, отчего это сооружения райкомов и исполкомов во многих селениях похожи на хоромы, а детские дома, стоящие напротив, самая что ни на есть дореволюционная рухлядь — купеческие еще жилища и бывшие церковноприходские школы? Отчего здравницы разнообразных ведомств для взрослых сияют первосортными отделочными материалами, а санатории для детей-инвалидов по пальцам можно перечесть, да и устроить туда ребенка, надрывая сердце и нервы, многим родителям никогда не удастся.

Словом, за что ни возьмись, какую «отрасль» детства ни тронь — библиотеки ли для ребятни, спортивную ли базу или еще что иное, — всюду этот оазисный прием.

Новую, деловую окраску получает термин «приоритет». Я глубоко убежден, что главным приоритетом духовной жизни нашего общества должно стать детство. Нет смысла повторять общие прописи на тему, что дети — наше будущее, лозунги, как показывает жизнь, способны набивать долго не проходящую оскомину.

Скажем проще: как аукнется, так и откликнется. Или: угол падения равен углу отражения.

При этом речь не только о государственных вложениях в детство. Речь о наших с вами личных приоритетах.

Социологи провели в Ленинграде исследование, результат которого не может не потрясать: средняя семья тратит на воспитание ребенка... восемь минут в сутки!

Статистика свидетельствует: в результате разводов (а их — треть от общего числа браков) каждый год 700 000 детей от 1 до 18 лет остаются без отца или матери. Легкость, с которой совершаются разводы, и их нарастающее множество, говорит очень явственно: не очень-то казнятся перед детьми эти люди, чаще думают о себе.

Больше миллиона детей растут вообще без родителей. Речь о тех взрослых, кто лишен своих материнских и отцовских прав — одни в заключении, иные в распутстве и загуле, кто просто бродяжничает — такие вот родители. Есть и новое совершенно явление — я о нем говорил ранее — кукушечья порода вполне благополучных молодаек, которые бросают детей прямо в роддоме при странной беспомощности закона.

Судьба, благодарение ей, свела меня, пока заочно, с выдающимся педагогом — вот подлинный новатор! — Героем Социалистического Труда Георгием Павловичем Сологубом. Многие годы он директорствовал в Очерской спецшколе Пермской области, теперь вышел на пенсию, но остался там рядовым учителем. Что за спецшкола? Чтоб ясней стало, скажу, что школы эти обнесены колючей проволокой, а по старой терминологии звались колониями. Пацанят, натворивших таких делишек, которые подпадают под статьи разнообразных кодексов, посылают на излечение туда, в спецшколу.

Надо ли говорить, что за работа, какой категории сложности, какой меры душевных трат?

Увлекаясь исследованием педагогической технологии, мы, к сожалению, отодвигаем на второй план такую категорию, как учительское подвижничество, педагогическое самосожжение во имя детей. Георгий Павлович и его супруга — именно такие люди, они без остатка отдают себя детям, латая своими нервами, кровью, жизнью прорехи в сознании детей, сотворенные раньше

всего их собственными родителями. За год-другой Георгию Павловичу удается вернуть ребят из темных омутов к здравым нормам людского общежития, и вот настает миг возвращения на свободу.

Знаете, какая главная печаль Сологуба? Как устроить детей на этой злополучной свободе.

Он пишет, как страдают ребята, вернувшись домой, как никомушеньки они не нужны, и раньше всего собственным родителям, как, словно чумных, отталкивают их от себя школа, ПТУ, производство. И о чем более всего мечтают выпускники Сологуба — вдумаемся и ужаснемся! — вернуться назад, в школу за колючей проволокой.

МВД вынуждено внедрить такую практику: каждого несовершеннолетнего, «отбывшего» свое в колонии, возвращают назад с сопровождающим, но не из страха, что он сбежит, чего-нибудь натворит, а из боязни, что ему не устроиться на работу, учебу, в общежитие или домой без сопровождения официального лица при милицейском погоне. Вот ведь до чего дело дошло!

Обратимся к иной части нашего мира, внешне вполне благопристойной. Дети здесь одеты на завидку другим, во все импортное, владеют сызмала иностранными языками и разнообразной радиотехникой, даже видеомагнитофонами. Но из этого, досрочно все познавшего, успевшего крупно наошибаться, переевшего материальных благ щенячьего мирка доносится порой такой тоскливый, одинокий вой, что дико становится: эвон как выглядит нынче извращенная форма взрослой опеки о собственных же детях — дать им все, что только можно выдумать, и этим утешиться.

Нет, душа растущего человека требует иного — разделения радостей и невзгод, надежности и опоры и уж никак не одиночества, оборачивающегося только одним — безверием. Нельзя, никак нельзя духовное подменить материальным!

Возьмем совсем уж идеальный вариант: ребенок ваш природно послушен, а вслед за этим усидчив, хорошо учится, его избрали в пионерский совет, все вроде у него благополучно. Ой ли? Как и в жизни любого взрослого, в детском мире нет простоты, больше того, здесь все втройне трудно, потому что совершается впервые. Сложен процесс притирки — с товарищами, в новых обстоятельствах, в первых конфликтах, — и как же безмерно

необходима близость со старшими в эту пору жизни, как важен не просто совет, мнимая рецептура от истинных напастей, а единодушие, сопереживание, чувство надежности.

В Ленинграде, на Невском, возле кафе «Москва» есть небольшой отрезок асфальта, прозванный «Сайгоном». Там толкутся люди «системы», «системщики». Речь о системе квартир, по которым кочуют эти совсем молодые люди, подростки, порвавшие с семьями. Из дому они ушли, как многие выражаются, «по причине семейного террора». Семья требует от них жить по одним меркам, выбрать реальную специальность, быть «как все», а они так жить не хотят. Говорят, выше всего на «Сайгоне» ценится душевность, человечность, доброта. По-разному можно судить «систему», но, коли этой толпе современных бродяг, только начинающих жить, дома недостало душевности, — есть от чего вздрогнуть.

Как грибы, по всей стране разрослись клубы металлистов, есть люберы, фураги, летяги, набаты, вовлекающие в свои ряды тысячи, если не миллионы подростков. Не вдаваясь в оценку этих клубов, скажу только, что сам факт их возникновения — не что иное, как свидетельство родительского, а значит, общественного безразличия к судьбам своих детей.

Мотивация безразличия одна: занятость. Работа, быт, общественные обязанности.

Но что стоит работа, общественные интересы, коли самое главное — дети! — оказались на задворках наших забот?

Пустой звук!

Что же делать?

Обернуть самосознание общества к детям. К своим собственным детям. К детям чужим. Ко всем детям.

Вернуть началу человеческой жизни — а оно основательно усложняется год от году — общенациональную приоритетность.

Давайте плясать от печки! Давайте совершать все наши прочие трансформации — в области экономики, общественного переустройства, экологии, культуры, искусства, спрашивая не в конце концов, а в начале начал: что мы делаем при этом для детей, для их душ и голов?

И здесь я вижу главный выход в одном-единствен-

ном: развязать руки народной инициативе, народной энергии, народному здравомыслию.

Глубочайшим общественным заблуждением оказалась теория, по которой детей должно воспитывать прежде всего государство. Достаточно вспомнить школы-интернаты, которые спешно возводились для того, чтобы забрать детей на всю неделю, высвободив родительство для труда и плодотворного отдыха. Трудно придумать идейку более зловредную для общей нашей морали. Под видом социального преимущества был нанесен социальный удар по семье. За краткий срок миллионам внушили, что о детях можно не печалиться. Семье ничего не оставалось, кроме как вкалывать да веселиться.

Плоды веселья общеизвестны. Идея беспривязного содержания детей в школах-интернатах скоро лопнула. Но вот что интересно. Ошибочную идею, как у нас часто бывает, раздували громогласно, а вот прикрывали ее втихую, так что мыльный пузырь лопнул, но многие до сих пор в святом убеждении, что за детей отвечает только государство, только школа. Реабилитация семейной ответственности за детей, родительского труда, взаимных обязательств друг перед другом не произошла по-настоящему по сей день. А ведь именно в этом главный приоритет общественного сознания: дети и родители — единое целое. Дети и родители взаимно заботятся друг о друге. Не только заботятся — душевно соучаствуют друг в друге.

Если хотите, мы обязаны воссоздать единственно возможный в нашей семье культ — культ семьи. Каждый день и каждый час наша пропаганда должна внушать необходимость возрождения внутрисемейных отношений, их очищения, упрочения их деликатности, осветления их радости. Семья из темы периферийной должна стать приоритетной во всем. Чего стоит самый что ни на есть разударник в труде, если он дома хам и сатрап? Почему производственную результативность мы начисто отрываем от результатов воспитательных и прежде всего дома, в родном, самом близком кругу? Почему на партийных конференциях докладчик никогда не вырвется из клубка привычных тем в сферу итогов свойства нравственного: сколько коммунистов разошлось за отчетный период и сколько детей осталось без матери и отца. И как отец, ушедший из семьи, продолжает воспитывать детей?

Скользко, вот почему! Да и у самих лидеров, глядишь, рыльце в пушку, не все дома ладится. Увы, мы должны констатировать и такое: среди подростковых компашек есть и своеобразно специализированные: дети руководящих работников высоких звеньев. Так вот, компашки эти отличаются особой изощренностью, зловредностью и аполитичностью своих проделок.

Зная, что рыба тухнет с головы, конечно же, начать обновление семейных канонов надо лидерам нашего общества — директорам заводов, институтов, деятелям культуры. А то тут один молодой талантливый артист признался: нам, мол, вообще детей рожать надо бы запретить, то мы на съемках, то на гастролях, то на спектаклях до поздней ночи, детей видим лишь спящими, какое тут воспитание.

И все же не лидеры решат дело, а миллионы и миллионы рядовых родителей, хотя родительство по сути рядовым быть не должно.

Теперь об отношении к детству не родительском.

О детстве — как тревоге и соучастии общественной.

Молодая грузинская художница — не стану называть ее фамилию, — приглашенная участвовать в неделе «Творческая молодежь — воспитанникам детских домов», увидев этих ребятишек, усыновила сразу троих.

Уверен, именно бюрократические регламентации, которыми в течение десятилетий окорачивалась всякая народная инициатива, почти отучила нас от бескорыстия.

И если мы искренне желаем возродить народную нравственность и направить ее прежде всего в адрес детства, ограничения эти надо уничтожить раз и навсегда.

Студенты, приезжающие без предупреждения в детский дом с кукольным спектаклем, должны быть твердо уверены, что по одной лишь воле оголтелой директрисы не останутся ночевать на улице, так и не допущенные к детям. Человек, желающий завещать наследство с тем, чтобы его получал в качестве стипендии наиболее талантливый воспитанник музыкального училища, должен быть уверен, что после его ухода над благородным решением никто не сможет надругаться элементарной забывчивостью.

Я знаком с Татьяной Викторовной Бабушкиной из

Ростова-на-Дону. Много лет подряд, работая с трудными подростками, она привозила их в Загорск, чтобы помочь тамошнему детдому слепоглухонемых детей. Ее хулиганы менялись на глазах! Сострадание, оказалось, способно не перевоспитывать, а преобразовывать человека. Кстати, возле загорцев каждое лето обретался всесоюзный актив молодых... патриотов, да, иначе не скажешь! В очередные отпуска, за свой счет, из разных городов, приезжали люди, желающие только одного: помочь.

Построить, отремонтировать, прокопать канаву, пообщаться с детьми. Холодное и тяжелое пресс-папье околопедагогического происхождения прихлопнуло, увы, всяческие приезды.

Но нет, доброту не так-то просто прихлопнуть! Татьяна Викторовна Бабушкина вместе с мужем, который был незаурядным ученым, подготовил диссертацию, имел публикации не только в наших, но и зарубежных научных изданиях, пошли воспитателями в детский дом, произвели там революционный переворот, навели настоящий порядок, одарили тамошнюю ребятню настоящей, а не поддельной любовью и надеждой. Я радуюсь: хотя борьба там еще не кончилась, за этот детдом можно быть спокойным.

Стихийный почин, неорганизованная инициативность, энергетика добрых, бескорыстных поступков — да это же то, о чем мечтал Ленин, и что — вольно ли, невольно — умерщвляли мы в себе, в своем сознании, в своем народе, без конца повторяя слово «нельзя» там, где должно слышаться «можно». Как ни давили народную инициативу асфальтовым многотонным катком бюрократических установлений, а до конца придавить не смогли и — глядь! — снова пробивается сквозь трамбовку зеленая трава жизни. Стыдно и преступно было бы вновь скосить эти ростки. Непростимо по-прежнему связывать руки добрым началам народной само-деятельности, да еще и обращенным к нашему главному приоритету — детству.

Как организовать, как направить эту инициативу? Мне кажется, ни одна из существующих структур даже по своей природе не может, да и не должна брать ее под свое крыло. Минпрос? Комсомол? Профсоюзы? Нет.

Инициативе народной и форму организации надо дать инициативную, общественную, народную.

Нужно создать Советский детский фонд.

Собственно говоря, это далеко не новая идея. Траурный съезд Советов, посвященный памяти Владимира Ильича — а он состоялся на пятый день после смерти вождя, по предложению М. И. Калинина учредил фонд имени Ленина в помощь детству. И этот фонд считался лучшим народным памятником Ильичу. Тогда же работало общество «Друг детей».

Советскому детскому фонду, который надо создать как можно быстрей, следует дать имя В. И. Ленина, сохранив преемственность с общенародным решением 1924 года. Кроме того, Фонд может стать организацией, принимающей функции общества «Друг детей». Иначе говоря, Фонд — не только народная копилка, но и народная общественная организация.

Оглянитесь вокруг — у нас тысячи общественных педагогов, ведущих бескорыстно кружки в ЖЭКах, вспомним хотя бы опыт Пензы, где детских клубов более ста. Но с точки зрения организационной, методической — кому нужны эти энтузиасты, кроме детей и ЖЭКов? Вот бы и объединить их всех под крышей Советского детского фонда. Разве это не поднимет общественный авторитет, элементарное самоуважение ветеранов, которые учат ребят разбираться в мотоциклах или студентов педотрядов, которые обретут новый статут?

Хочу обратиться, кроме разума, — к чувствам. Вспомним Маяковского: «Один, даже очень сильный, не поднимет простое пятивершковое бревно». Переведу на идею Фонда: а если 20 миллионов дадут по одному лишь рублю? Для бюджета семьи даже пустяком не назовешь — меньше пустяка, но на эти деньги можно построить уникальный санаторий в Анапе для детей-инвалидов. Еще и еще один!

Повышенные стипендии для художественно одаренных детей — стипендии Фонда. Детский городок развлечений где-нибудь в Сибири — вроде Диснейленда — городок Фонда. Сеть детских видеотек в городах и селах — пока-то Минкульт раскачается! Центр для умственно неполноценных детей. Серия специализированных клиник — детской онкологии, детской кардиологии, детской офтальмологии. И не только в столицах, в больших городах.

Я получил письмо от воспитательницы из детдома-погорельца! Был пожар, все сгорело, просят книг — книги они, конечно, и сейчас получат. Но Детский фонд мог бы создать уникальное общественное явление — Народный книжный банк, куда каждый мог бы подарить книги, а уж банк пошлет их в детский дом, в далекое село и просто мальчику, одному-единственному малышу, который живет где-нибудь в «неперспективной», вымирающей вятской деревушке, куда и газеты-то неделю идут, а книг, особенно новых, нет вовсе.

Есть вещи и посложнее. Наивно было бы надеяться, что такие тяжкие явления, как детская токсикомания, юношеская наркомания и алкоголизм, одолеют одни лишь ведомства, и тут Фонд может сказать слово и сделать дело. А разве не может, не должен помочь он детям мира, страдающим от эпидемий, голода, стихийных бедствий, войн?

Вообще надо, чтобы отделения Фонда в областях, городах имели свои местные идеи и проекты, мне представляется, что Фонд должен иметь «Родительскую газету», похожую на «Литературку», учредить издательство, выпускающее книги для детей, а прежде всего, для родителей. Конечно же, все это нельзя реализовать без ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, творческих союзов, общественных организаций, которые должны стать учредителями Фонда, без предприятий, колхозов, институтов, которые могли бы стать коллективными его членами. Впрочем, это надо обсудить всем миром.

Хочу пояснить, подчеркнув эти слова десять раз, Советский детский фонд не должен и не может подменить государство. Нельзя ставить судьбы детства в прямую зависимость от Фонда — это было бы нелепостью, не иначе! Усилия Фонда, а значит, народа, обращены не в замену, а в подмогу, в помощь государству. Его можно сравнить с тем человеком, у Маяковского, разница лишь в том, что поднимает он пятисотпятидесятипятивершковое бревно новых экономических проблем. Как же нам, народу, не подсобить, не подмочь, особенно если речь о детстве.

Главное среди главных, чем должен помочь Фонд обществу, государству, народу, — это обернуть духовное сознание нации к собственным детям. Многие беды, которые мы сами же и хлебаем, рождены нашей собственной социальной беспечностью, куда я отношу и родительскую безответственность. Смешно уповать на государ-

ство, на какие-то верхи, если мы сами не выполняем элементарные человеческие обязательства.

У нас многого не хватает, но превратить «оазисную» систему в сплошной «оазис» государство не сможет без материального и духовного соучастия своих граждан. И трижды не сможет обернуть к детям сознательность его собственных родителей, если эту работу не захотят разделить миллионы тех, кто обладает сознательностью, кто способен вмешаться, не испугается трудностей и готов к борьбе.

Кто — за?

1987

НЕ ПОРА ЛИ УСТЫДИТЬСЯ?

Выступление на общем годичном собрании Академии педагогических наук СССР

Мне довелось быть на XX съезде комсомола и, так сказать, из первых уст услышать горькие слова, сказанные Генеральным секретарем ЦК нашей партии в адрес Министерства просвещения и Академии педагогических наук СССР. Как говорят знатоки, такого еще не бывало. Когда над кем-то и над чем-то сгущаются тучи, когда корабль дает течь, люди ведут себя двузначно — одни бегут с корабля, другие становятся к помпам и начинают ремонт. При этом ремонте важен, мне кажется, трезвый самодиагноз. О чем идет речь? О случайной пробоине, которую достаточно заштопать, или же о разломе всего корпуса? И тогда одного энтузиазма, суеты, честной работы мало, требуются осмысленные конструктивные перемены. По-моему, сегодня речь идет о самых серьезных переделках.

Всего лишь год я заведую на общественных началах лабораторией воспитательной работы в детском доме, создания которой добился сам же — спасибо Академии педагогических наук, что у нее есть такая добрая традиция — подпускать к своим делам писателей и деятелей искусств. Правда, состоит наша лаборатория пока из двух человек, да и угла у нас еще своего нет, но жизнью мы живем довольно интенсивной, что объясняется высоким человеческим интересом к нашим проблемам ЦК КПСС и Совета Министров СССР, М. С. Горбачева

и Н. И. Рыжкова, их искренней обеспокоенностью за дела в детском доме. Всего лишь в 1985 году было принято капитальное постановление ЦК и Совета Министров СССР по этой проблеме, а сейчас готовится уже новое, и я могу свидетельствовать, сколь неформально, всерьез идет работа над этим решением.

Не могу не поделиться сильнейшим впечатлением — эмоционального, человеческого свойства. Недавно меня пригласил к себе Н. И. Рыжков и попросил рассказать подробнее о детских домах. Скажу откровенно: никто никогда не говорил со мной на эту тему столь углубленно, заинтересованно, детально. Разговор продолжался два с половиной часа, и я был переполнен ощущением человечности высшей пробы, которая исходила от моего собеседника.

А. П. Чехов когда-то обронил: «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой». Мне кажется, все мы, весь народ, вся нация, должны испытывать сегодня одно из самых искренних чувств — стыд перед детьми. Стыд за несделанное, за наши взрослые отговорки, за разнообразие объективных причин, за кивки на верхних и нижних, за чувство взрослой безответственности, которое расцвело пышным и горьким цветом, за родительство и учительство (пусть это даже была только их часть), которые охотно попирали по праву старшинства личность маленького человека.

Полагаю, стыд вполне может быть действенным двигателем общественного самоочищения, самообновления. В самом деле, кто будет очищать общество и нас самих, если не мы сами? И кто вспомнит о несделанном, о недоделанном? Кто устыдится?

В свое время в приказе о создании нашей лаборатории меня тихо покоробили два слова — «в порядке исключения». Семь десятилетий существуют в стране детские дома. На самых трудных отрезках истории общество занималось ими всерьез, и Министерство просвещения СССР — тоже. Но вот прошло 70 лет. И что же? Как был у нас миллион безродительских детей в годы гражданской войны, так он и сейчас остался. Давайте вдумаемся в трагизм этих цифр. Итоги гражданской войны и итоги нашего, сытого, необездоленного времени — и между ними можно поставить знак равенства.

Неужто же это не боль, не национальная скорбь, не свидетельство распада — и семьи, и такого святого по-

нятия, как материнство, и распада наших общественных институций, равнодушно взирающих на озверевших волчат предкоммунистического времени, которые одиноко ли, объединяясь ли в горестные детские стаи, шныряют по помойкам нашей общественной лженравственности.

Вот уж боль так боль, если радеть за детей искренне, не имитируя своих человеческих чувств. И от кого, как не от Академии педагогических наук, общество вправе ждать серьезных советов, как жить дому ребенка? Каково в нем педагогическое начало? Как работать в детдоме с ребятами, осатаневшими в своем безверии к взрослым? Речь идет о новом социальном явлении — сиротстве при живых родителях.

Увы, не академия, не Минпрос оказались защитниками обездоленной ребятни перед обществом, не они решительно постучались в ЦК партии и напрямую сказали о больной проблеме. И только тогда, когда мысль хотя бы о лаборатории стала очевидной, ее создали «в порядке исключения».

Мне кажется, из этого скромного сюжета можно сделать общий вывод: академия больна такими болезнями, как нерешительность и нечувствительность к острым социально-педагогическим ситуациям в детском мире.

Начав работу в лаборатории, по существу только заявив о ее существовании, я обнаружил, что в рабочих столах научных сотрудников разных институтов лежит, если не капитал, то уж во всяком случае полезные средства, так, к сожалению, и не пущенные в педагогический оборот. Усилия иных из них вполне годились бы для сегодняшней жизни, однако или были малоизвестны, или вообще оказались мертвым капиталом. Таким образом, еще один вывод, говоря языком бога торговли Меркурия, состоит в том, что академия, и это относится уже не столько к ее руководству, сколько ко всем остальным, — не умеет торговать даже тем товаром, который наработан.

Наша лаборатория выступила с инициативой — поставить важный социальный эксперимент: построить в городе Кирове детский дом крупного промышленного предприятия. Мы использовали новые демократические средства в «обкатке» этой идеи, обратились с письмом к рабочим завода имени Лепсе. Это письмо вместе с педагогическим заданием на проектирование было опубликовано сначала в многотиражке, потом областной газете,

широко обсуждалось на протяжении трех месяцев, его одобрил, принял сердцем народ, состоялось совещание в отделе науки ЦК КПСС, архитекторы создают проект. Цель эксперимента — освободить детдомовцев от очевидной социальной несправедливости, из-за которой за порогом детдомов их не ждет ничего хорошего, кроме дурного. По существу, это решает попутно идею трудовой школы и идею непрерывного социального развития. Можно сказать так: Академия педагогических наук ставит социальный эксперимент. Думаю, эта работа и есть тот самый позитивный конструктивизм, которого так не хватает АПН. И что же? Кто знает об этом эксперименте? Знают в ЦК, в Совмине, Министерстве просвещения и руководстве АПН СССР, но не знает народ, учительство. К реальному делу не прилажен пропагандистский мотор. Не эта ли безмоторность позволяет средствам массовой информации без конца укорять АПН в бездеятельности? И вообще — не следует ли Академии педагогических наук создать несколько общеакадемических проектов, к реализации которых подключить группы сотрудников разных НИИ, причем надо предельно обострить эти проекты, приобщить их к главным проблемам жизни.

Первый проект, который я предлагаю, нужно посвятить научно-практической помощи современному сиротству.

Здесь мне видится дюжина методик по организации жизни в детдоме, медико-педагогическая концепция непрерывного развития ребенка в этой системе — от нуля до прихода в трудовой коллектив, и, может быть, среди первейших ценностей проекта было бы пробуждение национальной самоответственности за рожденное человеком дитя. А кому, как не академии и Минпросу, быть среди закоперщиков Советского детского фонда, по новому возрожденного фонда имени Ленина, существовавшего в 20—30-е годы?

У нас есть прекрасная школа дефектологии, однако, что касается практики спасения больного ребенка или приспособления его к жизни, мы тут сильно поотстали. Так нет ли смысла создать академический проект «Дети-инвалиды», превратив его в дело глубоко эмоциональное, нравственное, может быть, подняв его до уровня Бюро по социальному развитию Совмина СССР?

В молодежной среде много накопилось негатива. Жизнь молодежи, цитируя Писемского, похожа на взба-

ламученное море, причем в этом море много социально важного. Нас сотрясают децибелы поклонников тяжелого рока, металлистов, милиция охотно хватает их за железные цепи, а выясняется, копнув поглубже, что это молодежь из наименее обеспеченных семей, молодой рабочий класс, который к тому же говорит: вы носите золото, а мы — железо. В прошлом году в стране состоялось около 80 неофициальных всесоюзных съездов различных неформальных объединений, некоторые, как, например, группа спасения памятников архитектуры Ленинграда борется за Советскую власть с самой Советской властью, некоторые, в знак протеста против поверхностного престижа, называют себя стилягами, одеваясь только в магазинах уцененных товаров, а педагогика опять в стороне, хотя многое из названного мною — издержки не одной лишь политики, но и воспитания. Нет ли смысла создать, привлекая социологию, психологию, философию, — Программу экстренного анализа негативных явлений? Может быть, вообще сегодня работа институтов должна поддерживаться масштабными межинститутскими исследованиями, за каждое из которых отвечает вице-президент или заместитель министра? Не снимая с себя обычных, плановых нагрузок, может быть, стоит принять на себя сверхнагрузки новых коллективистских отношений с быстрым, а не многолетним постижением истины.

Мне кажется, выход из кризиса возможен при соблюдении трех важных величин. Это честный, без дураков интерес к ребенку, срочность в выполнении заказов, предъявляемых самой жизнью, и укрупнение конкретности цели. Киностудия «Мосфильм» сейчас разделилась чуть не на дюжину автономных студий с временно, на пять лет, избираемыми худруками. Может быть, наши межинститутские проекты тоже стоило бы уподобить таким студиям или отдельным кинокартинам с заранее установленными точными целями и сроками исполнения под руководством крупных ученых? В академии, мне кажется, необходим институт семьи.

Впрочем, я не специалист по организации академической науки. Просто по-человечески тоскливо становится, когда узнаешь, что в Ленинграде 200 000 подростков отыскали номер телефона, по которому каким-то таким технически таинственным способом голос твой слышим сразу многим, и можно поговорить со многими — так называемый эфир, и это телефонное чудо, необъяснимый,

почти магический парадокс свидетельствует, как одиноки десятки тысяч самых юных наших сограждан!

Детские дома, товарищи, это только отстойники нашего общественного позора, лишь составная часть общенациональных печалей, среди которых остаточный принцип отношения к детству стал, увы, главенствующим.

Что мы с вами, мужчины, приносим с работы своим женам? Остатки израсходованных чувств. А детям? Остатки остатков.

Эта остаточная философия сильно разрушила устои школы, культуры вообще, нравственности. Вопросы воспитания ушли на периферию общественной ответственности. За пребывание на работе под шафе люди вылетают из партии, и поделом, но я не знаю случая, чтобы коммунист, не воспитавший собственного ребенка, понес такую же ответственность.

Раскачивая просвещение, остаточная философия сделала учителя лицом пятистепенным, а такие тяжкие места, как дом ребенка, детдом, спецшкола для малолетних преступников, интернат для маленьких инвалидов, вообще зарыла в песок безгласности.

К нечести просвещения, оно не трезвонило в колокола, а предпочитало политику ведомственно-охранительную. Не скончалась она и по сей день. По собственному опыту знаю, как иным должностным лицам от педагогики претит, удивляет сама мысль, что просто человек может просто за что-то бороться во имя детей.

Не знаю, может быть, буду слишком резок, но порой академия мне видится прицепным вагоном Минпроса, неким придаточным, обслуживающим ведомство органом. Мы начали выпускать методики для детдомов, их бы педагогам, да поскорее, но, оказывается, ученого совета института недостаточно, без Минпроса не обойтись, и вот путь удлиняется вдвое, и за этими рокировками, за борьбой амбиций и ведомственных распорядков теряется смысл работы, забывается необходимое ускорение темпов.

Академия, на мой взгляд, не имеет права не быть лидером в переосознании народом ответственности за собственных детей, в возвышении очищающей роли детства, очищающей нас, взрослых, в упрочении авторитета учителя. В педагогической науке есть свои фундаментальные разделы, но сегодняшняя брешь в корабле требует выдвижения на первые позиции тех усилий, которые,

соединяясь с социальными реконструкциями партии и государства, способны возвратить народ к своим первоистинам и защищать детство, вывести заботу о нем в первые ряды государственных забот.

1987

ДЕТИ, КАК ЗВЕЗДЫ

Прочесть блистательно написанную книгу по педагогике, согласимся — сладостный, но редкостный десерт. Острота ума не как лишь личностное самовыражение, а как результат огромной, невидимой глазу работы мысли, наполняет душу читателя — не простым сопереживанием, но ощущением сотрудничества и соратничества, точно кто-то знающий и достойный взял тебя за руку и ведет по лабиринтам собственных мыслей, а ты узнаешь ходы, но решительно не узнаешь выходы, радуясь самой чистой радостью, что выходы эти есть, существуют и так удивительно неожиданны.

Человеческая натура склонна обрастать предрассудками, увы, очень часто они приходят к нам вместе с такой благородной тяжестью, как знание, как опыт, — и предрассудки эти напоминают шоры, некие мыслительные ограничители, не позволяющие нам согласиться с очевидным, а уж тем паче отыскать в очевидном — с нашей точки зрения — неочевидность куда как более глубоких мыслей. Как бы нам сделать, чтобы избавиться от мнения, считающегося бесспорным, как бы освободиться от уверенности, что убеждение, дарованное одним знанием, совершенно исключает иные варианты, что опытность всегда бесспорна и не терпит пересмотра. И раньше всего — как бы добиться этого в педагогике, науке явно неточной, зато весьма человечной, я бы сказал — душевной, а душа, как это очевидно, во-первых, категория множественная, во-вторых, меняющаяся, и, в-третьих, трудно уловимая.

Многие, в том числе опытные педагоги, чтут свое занятие, как всякую науку, делом постижимым, представляющим собой не более как сумму знаний плюс опыт. Но прекрасно неточная наша наука скорей похожа если не на искусство, будем скромнее, то на ремесло — в высоком понимании этого слова, когда упорный ткач в одиночестве — тихом или шумном — ведет свой, ведомый лишь ему рисунок, а кузнец в снопах искр выколачивает

из железной чушки ему только очевидный предмет, способный поразить совершенством конечных линий. Тайный замысел, помноженный на понимание материала — металла, пряжи — вот что роднит учителя с мастеровым, да еще штучность, единственность конечного результата. А отделяет от него, возводит в высокий ранг духовного кузнеца разность материала: того, с которым имеет дело учитель, скроен из несовершенного совершенства — радостей и слез, песен и криков, проделок и ласковости, намерений и посягательств — всего, что зовется маленьким человеком.

Нет, не знания, хотя глупо отрицать их, нет, не опыт, хотя бессмысленно с ним не считаться, а понимание и любовь, готовность поставить себя, взрослого, знающего и опытного, на место малого своего неразумного ученика — вот дрожжи, на которых взойдет — и всходит! — тесто, из которого уж и хлеб выпечь можно.

Понимание, да, повторим это слово.

Не сумма знаний, нет, не набор рецептов — их вовсе не существует, ибо примененное и удавшееся к одному ученику один раз может оказаться — и оказывается! — совершенно непримеримым к другим, ибо у каждой звезды — свой свет, своя температура, своя атмосфера, а самое главное, своя удаленность от нас, и добиться победы можно лишь относясь к детям — ко всем детям — как к звездам!

Книга опытного и знающего болгарского педагога Георгия Данаилова, педагога с большой буквы, тем и блистательна, на мой взгляд, что оперирует он не понятием опытности и многознанием, а душевностью и пониманием.

В мышлении более всего он не щадит стандарта, а педагогику приближает к хирургии: скальпель его учительских суждений режет по живому. Я понимаю и принимаю его метод. Мне кажется, что боль, доставляемая таким скальпелем, приносит настоящее облегчение, а не загоняет болезнь внутрь организма.

Книга Георгия Данаилова называется «Не убить Моцарта», и в этом праведно полемичном заголовке выражена суть его высокогуманистических убеждений: каждый из детей — бесконечно талантлив, надо только подобрать ключ к дарованию, а это уж забота и печаль взрослых — родителей, учителей. Смотреть на дитя и видеть в нем не зримое никому сплетение дарований — вот высшее педагогическое предназначение тех, кто отдает себя высокому делу воспитания. Говоря «не убить»,

автор как бы предполагает иную, трагическую возможность — ведь можно и убить. Можно и убить Моцарта в ученике, которого не разглядел учитель. Кто же в ответе за это бескровное убийство? И какой криминолог докажет, что оно совершено, и перед тобой не обыкновенный шалопай с тяжелой наследственностью, к чему так часто, к печали нашей, апеллирует учитель, совершающий грех.

Ах, наследственность! Какую подарила она извинимость учительскому несовершенству, педагогической бестактности взрослому бездушию. Сколько списано — и еще спишется! — на нее судеб, топорно обрубленных торопливыми, суетно спешащими за какими-то мнимыми, выдуманными целями ложно умудренными людьми. Педагогическая помощь, в отличие от «Скорой медицинской», должна быть неспешно внимательной и понимающей, словом, человечной, а человеческого-то как раз и недостает нам в погоне за успеваемостью, баллами, мероприятиями и всеми иными причиндалами, кои придают делу воспитания серьезность отчетной — в сводках — работы.

Особенно дороги моему сердцу суждения Георгия Данаилова о личности учителя — видно, потому что и сам я исповедую ту же самую истину. Ведь в конечном счете только он, учитель, может задать сам себе этот вопрос: убил ли он Моцарта? Убьет ли? Способен ли убить? Он лишь один может возложить на собственную душу тяжесть безболезненного преступления — он же способен и ответить. Как он же — все он же! — может и убить Моцарта в Моцарте, загубить талант, затоптать личность и он же, коли без дара человеческого, без совести, не спросит себя за содеянное. А еще чаще — не поймет даже своей греховности.

Да — все в учителе. Простите — все в человеке. Миллионы родителей тоже становятся учителями в большом и малом. Среди родителей не так уж много учителей, в том самом первородном смысле слова, когда один научает другого не только знаниям, но и сердечности, и доброте, и нормам людского общежития. Учительское предназначение куда выше! Он не просто образовывает и даже не только любит, он содеянное иными учителями, чаще всего родителями, научающими собственное дитя лжеистинам, обязуется эти истины вернуть к первородству, к подлинности и чистоте.

Вот почему так люба мне мысль о совпадении поня-

тий хороший человек и хороший учитель. Вот почему нельзя не согласиться с книгой — основа которой высокая человеческая истина, по которой все мы несем ответственность за несовершение убийства таланта, любви, несем ответственность за то, как раскроется из бутона прекрасный цветок, за то, в какую бабочку превратится тихая куколка. И вовсе не фантасмагоричны вариации, при коих из куколки этой вырвется чудище без стыда и совести, монстр, попирающий любовь, нежность, ангел с волчьими зубами, способный перегрызть горло своей матери.

Нагнетаю, литературствую?

Да вы только взгляните на детскую фотографию Гитлера, на это нежное создание, подарившее людям ужас и посеявшее смерть, которая посейчас еще восходит на земле коричневыми злаками неонацизма преддверия XXI века. Неужели они будут восходить и в новом веке? Прошу простить за горестный прогноз: будут. У зла, как и у добра, увы, есть своя живучесть. Даже не вдаваясь в непроходимые дебри патологического ненавистничества, коим стал современный гитлеризм, разве мало мы страдаем от таких бытовых мерзостей, как зависть, ложь, попустительство, карьеризм, чинодральство, лицемерие, бюрократство, подлость, предательство? Разве это категории одних лишь прошлых салтыковских эпох? И разве нынче это все те же извиняемые, оправдываемые когда-то «пережитки капитализма»?

Жизнь нас отрезвляет время от времени. Может быть, не так поступательно, не так точно и динамично, как бы хотелось, с отступлениями в стороны, с возвратами. И все же хочется верить, что идем мы вперед не по мерке «шаг вперед, два назад». Хочется верить, что наоборот — если и шаг назад, то все-таки два шага вперед.

Самые ясные, требующие одной только правды и честной логики, соответствия слов делам, самые чистые, одним словом, — это глаза детей. Учитель — это не адвокат данностей, он адвокат честности. Таким образом, учитель — всегда борец.

Но бороться за мнимые идеалы нельзя. Борются лишь за то, во что верят. Вот почему в борьбе против бескровных убийств учитель должен быть не только лишь защитником: он обречен на вечное самоусовершенствование, на бескомпромиссность наедине с собой. При мысли об ответственности за будущее одного человека может

стать страшно. При мысли о том, что ты можешь убить в ребенке Моцарта, может стать ужасно. Но при мысли об ответственности за поколения талантов мало страшиться и ужасаться. Тут надо выбирать: или ты отступаешь в сторону, или, засучив рукава, бросаешься в драку.

Равнодушным оставаться нельзя.

Вот за это — за неравнодушие, коли речь идет о воспитании, — я аплодирую Георгию Данаилову.

1984

ИМЕНЕМ ДЕТСТВА, ВО ИМЯ ДЕТСТВА

Доклад на Всесоюзной учредительной конференции Советского детского фонда имени В. И. Ленина

Дорогие товарищи и друзья!

Священно место, где мы с вами собрались. Священно тем, что здесь бывал светоносный гений Александр Сергеевич Пушкин, великий радетель правды и справедливости Лев Николаевич Толстой, совесть многих поколений, интеллигентнейший из интеллигентных Антон Павлович Чехов. Именем Октября отворив двери этого дворца народу, здесь не раз воспламеняли людские сердца истина и слово Ленина.

Не для нескромных параллелей обращаю я к истории наше общее сознание. И не для того, чтобы укорить нас несравнимостью с великими предшественниками, вовсе нет.

Память об истории новейшей и далекой нужна нам, чтобы поверять сегодняшние помыслы, чтобы возвыситься духом над обыденностью рядовых дней жизни, чтобы дать себе отчет в том, что творим мы сами — высокое и низкое, — и как же нам, обыкновенным, обычным гражданам, взойти своими поступками на высоту продолжательства дел, начатых до нас.

Лучше мы стали или хуже соплеменников иных эпох? Все ли мы помним из завещанного нам? Или же в суете сует наловчились поспешно отрекаться от первородных истин во имя душевного комфорта, материального благополучия, покоя? Научились торопливо соглашаться там, где надо спорить, отступаться от того, что предавать

просто подло, точно в комиссионном магазине уценили наши духовные ценности, среди которых на первом месте стоят материнство, отцовство, семья, любовь, благородство, порядочность, честь, достоинство и, наконец, средоточие всех человеческих помыслов и надежд — детство. Что случилось с этим прекрасным и незабываемым возрастом, который проходит каждый?

Эти вопросы не собраны искусственно. Их скопила нам наша собственная жизнь. Мы обязаны ответить на них, прежде чем учредим Советский детский фонд имени Ленина. Мы обязаны быть честными, отвечая, и этой честности требует от нас наше сегодняшнее духоподъемное время, усилиями партии освобождающее себя от пут предрассудков и мнимых страхов.

Да, мы переживаем время обновления, очищения, время большой стирки. Перестройка экономики, улучшение взаимодействия государственных и общественных систем немыслимы без обновления и улучшения всех форм межчеловеческих отношений, если мы не хотим, чтобы очищение осталось лишь трибунной и газетной фразой и уделом группы наиболее сознательных и зрелых граждан.

Обновление человеческих отношений невозможно реализовать без очищения морали. А ревизия морали бесплодна, если мы не отскребем от ржавчины и плесени одно из наиболее решающих межчеловеческих отношений — отношение к детству.

Итак, детство. Как мы относимся к детям? Что мы знаем о них? На первый взгляд вопросы из букваря. Относимся — ну просто распрекрасно. А знаем — почти все. И в самом деле, у нас множество блистательных образцов гуманного, подлинно ленинского отношения к детству. Многие заводы, колхозы, глубинно решая экономические проблемы, сделали серьезные материальные вложения в детство, втройне окупив их на производстве. К примеру, Кировское электромашиностроительное производственное объединение имени Лепсе построило для детей своих рабочих двадцать два детских комбината, причем некоторые из них можно признать эталонами международного класса, замечательный детсад санаторного типа за городом, рядом с заводским профилакторием для родителей, и вот совершенно конкретный материальный эффект — число бюллетеней, выдаваемых ро-

дителям для ухода за больными ребятишками на этом объединении, сокращено за последние пять лет в два раза. Для справки: на оплату бюллетеней, связанных с уходом за ребенком, в стране ежегодно расходуется около 1 миллиарда рублей.

Этот пример — убедительное доказательство того, что детство напрямую связано с такой серьезной категорией, как экономика, что вложение средств в детство выгодно отдельному предприятию и обществу в целом, что новые принципы хозяйствования, вводимые в практику, должны самым серьезным образом обернуться к детству.

Однако не успела промышленность перейти на хозрасчет, как стала бить по интересам части детства. Дело в том, что, кроме «своих» детей, в детских садах предприятий есть и «чужие» — дети родителей, не работающих там. Так вот, следуя букве и духу хозрасчета, иные хозяева детских комбинатов стали предлагать родителям этих «чужих» детей оплачивать полную стоимость содержания ребенка.

С хозрасчетом, как видим, все в порядке. А с гуманизмом? Неужели же детство окажется беззащитным перед хозрасчетом?

Детство само по себе вообще беззащитно. Это его естественное природное свойство, вот почему так очевидна многовековая истина, что детство нуждается в защите и помощи не только самых близких людей — родителей, родни, но и всего общества, всех его механизмов. Однако в последние годы эта тема звучала все упрощенней, все примитивней. Гипноз общегуманистических прописей, нежелание углубиться в факты, обнародовав их, тенденции к освобождению индустрии от ответственности за последствия своей деятельности, сиюминутные экономические выгоды в ущерб многолетним результатам — все это привело к отрыву следствий от причин. И в первую очередь это касалось детства, степени человеческой и государственной заботы о нем. В результате мы можем констатировать новую форму эгоизма — индустриальный эгоизм.

Чем еще, как не индустриальным, хозяйственным эгоизмом, порождающим социальную, экологическую, нравственную безответственность, можно объяснить следующие факты.

В районе Новолипецкого металлургического комбина-

та концентрация фенола и сероводорода в воздухе в 2,5 раза выше допустимого, угарного газа — в 3 раза. Это оборачивается тем, что угроза прерывания беременности у женщин, живущих в этом районе, возрастает троекратно, в 2,5 раза чаще регистрируются врожденные пороки развития, а детская смертность на 78 процентов выше по сравнению с районами относительно чистыми.

Распространенность бронхиальной астмы у детей в промышленных центрах Башкирии — 14,9 процента, или в 3,5—7 раз выше, чем в других регионах республики. В городе Салавате, например, в 2 раза чаще заболеваемость малышей острыми фарингитами, ларингитами, хроническими тонзиллитами, в два раза чаще регистрируются психические расстройства — неврозы, умственная отсталость.

Много надежд мы возлагаем на семейный подряд в сельском хозяйстве, и это понятно. Но уже сейчас мы располагаем фактами, которые упрямо утверждают, что всякое новое дело следует всесторонне оценивать с точки зрения защиты интересов матери и ребенка. Этот взыскующий, строгий критерий должен быть приложен ко всему, чем мы живем, ко всему, чем руководствуемся.

Так вот, в Киргизии, Узбекистане, Молдавии на табачных плантациях, которые возделываются на основе семейного подряда, работают беременные женщины, кормящие матери, дети. В результате исследований установлено, что в грудном молоке — высокая концентрация никотина, а это ведет к анемии и гипотрофии у ребенка, гинекологическая заболеваемость этих женщин — 60 процентов.

Мы много творческих сил потратили, чтобы воспеть труд женщины-механизатора. Спасибо этим женщинам, не щадившим ни себя, ни будущих детей своих во имя необходимости трудных лет нашего Отечества. Но теперь-то — не пора ли начать самую серьезную работу по освобождению женщины от несовершенных тракторов и комбайнов? Не пора ли честно сказать, что рождение ребенка и сохранение здоровья женщины важней, чем пахота, а у женщин-механизаторов давно уже отмечена высокая гинекологическая заболеваемость, выше угроза бесплодия.

Почему мы говорим об индустриальном эгоизме на учредительной конференции общественной организации? Разве это не следствие деятельности министерств и ве-

домств? И разве не они должны нести ответственность за этот тяжелейший вид общественного эгоизма?

Они. Но такой однозначный ответ лишает будущий Фонд его главной сути. По этой логике мы бессильны перед решающей властью ведомств, которые занимаются металлургией, сельским хозяйством и не занимаются детьми и матерями, хотя впрямую влияют на их судьбы и их здоровье.

Гласность, открытость общества, приобщение к судьбам страны миллионов и подконтрольность этим миллионам сотен ответственных руководителей — такова сегодня политика партии и государства. Ею, без страха и без оглядки, должны руководствоваться мы, создаваемая организация взрослых защитников детства, материнства, семьи. Сам факт нашего создания — это свидетельство восстановления демократических, ленинских норм общественной жизни. Отсюда, безусловно, вытекает: общественность, объединяющаяся во имя столь благого дела, как защита и охранение детства, должна иметь реальные права, реальную возможность влияния на такие процессы, как индустриальный эгоизм.

В связи с этим я хочу процитировать документ 1919 года. В постановлении Совета Народных Комиссаров об учреждении Совета защиты детей было сказано: «Совету защиты детей предоставлено право налагать «вето» через соответствующих народных комиссаров на распоряжения ведомств... если такие распоряжения ведут к явному ущербу для детей». Лучше не скажешь! Исторический аналог, как видите, есть. Давайте же обратимся к ЦК партии, Совету Министров СССР с предложением документально закрепить за нашим Фондом такое право действенного участия в регуляции *отношений экономики и детства.*

Второй глобальный аспект проблемы — *общество и детство.* И здесь взор нам следует обратить на самих себя.

Речь прежде всего о семье, о ее прочности. По существу, сверхзадача нашего Фонда — всевозможное упрочение семьи. Будет крепка семья, детство окажется под надежной защитой матери и отца, бабушки и дедушки, хотя полная семья тоже дарует нам немало новых, прежде всего нравственных проблем.

Роман Льва Толстого «Анна Каренина» начинается

с мудрой фразы, повторяемой уже многие десятилетия: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему». При этом сознание наше, скользя по первой части афоризма, согласно замирает на второй. Однако в чем же похожесть счастливых, какова она, как выглядит?

В двух словах расскажу пока что про одну из 70 миллионов советских семей, счастье которой, на мой взгляд, и похоже, и непохоже на другие счастливые семьи. Людмила Сергеевна и Михаил Михайлович Иордан знают друг друга с раннего детства и оттуда, из детства, принесли во взрослую жизнь свою любовь и мечту. Дело в том, что росли они в одном детском доме и, лишенные домашнего уюта, вымечтали там вроде бы совсем недетскую мысль о крепкой, большой, многодетной семье, которая не подпустит ни к одному их ребенку ни чувство одиночества, ни холод, ни беду.

Повзрослев, они соединили судьбы. Теперь у них десятеро ребятишек. Михаил Михайлович — рабочий «Невского завода» в Ленинграде, Людмила Сергеевна — мать-героиня, медик. Оба они, муж и жена, были включены в состав Оргкомитета Детского фонда, а накануне конференции мы в Оргкомитете подумали: ну что за разговор, если не будет конкретных, а главное, вполне живых примеров. И пригласили семью Иорданов в полном составе сюда. Спасибо, дорогие Людмила Сергеевна и Михаил Михайлович, за исполнение вашей детской мечты, за вашу верность и надежность. Мы верим, что если вам самим в вашем детдомовском детстве недоставало доброты и тепла, то ваши дети сполна наделены любовью. Поклон вам от всей нашей конференции. Кстати, четверо в этой семье работают на «Невском заводе».

Вырастить десятерых детей — это подвиг, и многим из нас, увы, он не под силу, товарищи. Но значит ли это, что многодетная хорошая семья должна уйти куда-то на задворки общественного интереса? Я полагаю, одной из важнейших этических задач Фонда должна стать всяческая поддержка основательных, достойных многодетных семей. Подчеркну — достойных, потому что в одной только Латвии за прошлую пятилетку Президиум Верховного Совета республики воздержался от представления к награждению материнскими наградами 406 многодетных матерей за пьянство и прочие грехи.

Вообще современная семья проходит серьезные испытания. В 1986 году, к примеру, зарегистрировано 2 мил-

лиона 727 тысяч новых супружеских пар в стране. Однако в том же году 943 тысячи браков расторгнуто. В результате разводов каждый год 700 тысяч детей до 18 лет остаются без одного из родителей. Растет число незарегистрированных браков. Скажем, среди молодежи Москвы в возрасте 24—30 лет удельный вес таких браков 20—25 процентов, 11 процентов зрелых граждан — закоренелые холостяки или одиночки, отрицающие всей своей жизнью необходимость создания семьи. Возрастает число бездетных браков. Растет армия внебрачных детей. Семью сотрясают конфликты, раздоры, которые рождают адюльтер, цинизм, психологию иждивенчества, отсутствие какой бы то ни было ответственности за семью и детей. Ученые Тюменского университета провели исследование, в результате которого в области обнаружено 3000 детей, которые буквально на соломе спят, не знают простыней, кое-как питаются, и это, так сказать, не криминальные дети, дети «домашние».

В массе семей основной режим — полное непонимание друг друга, эгоизм, отсутствие жалости, сочувствия. Около 60 процентов детей в таких семьях — сироты при обоих родителях, хотя в детдом их не заберешь.

Иногда влезаешь в такие истории, и жутко становится! До чего же мы озверели! До каких степеней одичали! Как нетерпимы друг к другу! И здесь, хоть и много разговору в наши дни о непутевых женах и загульных женщинах, первое и главное слово укора все-таки к нам, мужчинам! Нет, товарищи мужчины, каковы мы, таковы и наши жены. Такое впечатление, что мы из сил выбиваемся, чтобы разнуздаться. Вспомним хотя бы недавние времена вселенских выпивок. Получка — обмыть, премия — ну как же, иностранная делегация — да разве ж без этого возможно. Переходящее Красное знамя — даже вокруг него, а может, и с особой страстью именно вокруг него — попойка грандиозного масштаба, после которой какая уж там взыскательность, какая строгость в работе, в морали? Кстати, среди многих писем, поступивших в Оргкомитет, есть и такое. Сергей Васильевич Севастьянов, ученый из Новосибирска, пишет: «Нельзя ли обратиться от имени Фонда с предложением «вверх» и «вниз» сделать День защиты детей Всесоюзным днем трезвости — чтобы по всей стране в этот день не торговали «алкогольными изделиями». И продолжает: «Вы скажете, что один день ничего не решает и стоит ли за него биться? А мне представляется так. Если мы, взрос-

лые, согласимся один день в году не пить именно ради детей, то на следующий день неизбежно логика должна привести нас к вопросу: а разве остальные 364 дня мы живем не ради них же, детей наших?»

И тревога, и постановка вопроса абсолютно справедливые, особенно если вспомнить, какие плоды мы пожинаем от выпивок, даже случайных. Только в Москве 8 процентов детей страдают врожденной олигофренией. Второй результат — не менее тяжелый — семейная расхристанность, вседозволенность в быту, за закрытой дверью, которые не один дом под откос пустили.

Сдержанность, этическая грамотность, культура торможения в быту — как же мало мы говорим о таком простом и таком нужном. Почему столь неактуальны такие понятия, как семейная терпеливость, покладистость в доме, уступчивость, как мерило достоинства, ума, чести?

А рыцарство, мужское рыцарство — оглянитесь окрест, товарищи мужчины, про многих ли из своих соседей, друзей, сослуживцев, включая самих себя, сможем мы сказать: это — настоящий мужчина, настоящий рыцарь?

Извините за непарламентские выражения, но мужчины обабились. Чего же обижаться на иных современных женщин, если они при этом обмужичились?

В защиту женщины можно и должно сказать еще очень многое. Задолжали мы им, что и говорить, и ласковых слов, и цветов, и настоящей, без подделок, любви. Превратили их в тягло, в главную движущую силу нашего с вами семейного комфорта, да еще и половину общественного труда на них свалили.

Вот цифры, чтоб не быть голословным, цифры, просто с ног сшибающие. По расчетам социологов и экономистов, ежегодно в стране на домашнее хозяйство затрачивается около 100 миллиардов человеко-часов. И все это — доля мужских усилий здесь микромизерна — выполняют наши родные и любимые. Для сравнения: на весь производительный труд в стране тратится 180 миллиардов человеко-часов, а уж тут женская доля весьма велика. По существу, женщина работает по 13—14 часов в сутки: 8 часов на работе и 5—6 часов дома. Среднестатистический подсчет утверждает, что при таких диких перегрузках женщина тратит на воспитание детей только 40 минут в сутки.

Можно со всей уверенностью говорить, что нижайший уровень бытового обслуживания, плохая организация торговли — а это опять же часть экономики! — впрямую влияют на семью, на ее настроение и, в конце концов, на рождаемость. Однако, ссылаясь только на это, мы можем самоликвидироваться как народ.

Настало время всем нам самым решительным образом повернуться к семье, к ее нуждам, к ее лучшим, умягчающим общие нравы, традициям. Бывая в других странах, общаясь с разными людьми, вот какую нетрудно заметить закономерность. Там человек, работая хорошо, с энтузиазмом, приподнято, тем не менее хранит в душе еще один, более теплый оазис. Этот оазис — мысли о семье, о детях, об их проблемах и заботах, о предстоящем уик-энде. Заговорив о семье коллеги, можно получить в ответ улыбку, повышенную эмоциональность. Вообще интерес к семье собеседника считается хорошим тоном, признаком человечности, добрых взаимоотношений. Взрослые носят в своих бумажниках фотографии жен, детей, престарелых родителей, а дети — фотографии отцов и матерей. Подготовка к выходным — дело всей семьи, которое всерьез обсуждается и дотошно планируется.

А у нас? Уверен, что у большинства сидящих в этом зале нет такой привычки — носить фотографии своих близких. Я тоже в этом числе. Мы не умеем гордиться детьми, поглядывать на фотографии своих жен. Это даже считается чем-то нескромным, что ли.

А что в домах наших? Исчезла прекрасная русская традиция украшать стены фотографиями родных, близких, умерших бабушек, дедов. А вспомним хотя бы старую избу в деревне — ведь там всегда была такая нехитрая застекленная рама с дорогими лицами. Где она теперь? Высмеяли, выбросили, не подумав, что, глупо высмеивая придуманное не нами, мы выбрасываем из сознания наших детей саму память о наших предтечах. Цепочка поколений разрывалась и таким необдуманным образом.

Нашему Фонду надо стать ининциатором создания новых или возрождения старых семейных традиций. Давайте сегодня основательно поговорим об этом. Семья — это не случайное соединение людей, каждый из которых занят своим делом и своей судьбой. У семьи должны быть общие дела и интересы, единое чувство, свои нерушимые устои.

Мы должны утвердить единственно возможный в нашей социальной структуре культ — культ семьи...

При этом семья, особенно многодетная, нуждается в защите общества, а значит, Детского фонда. Например, в стране до сих пор действует Указ 1947 года, по которому матерям, родившим четвертого ребенка, выплачивается в месяц 4 рубля, пятого — 6, шестого — 7, седьмого и восьмого — 10 рублей. Совсем недавно, в 1981 году, принят документ, по которому малообеспеченным семьям выплачивается по 12 рублей на детей до 8 лет.

Но — спрашивается — почему до 8 лет? Почему именно в тот момент, когда на ребенке все буквально «горит», когда по всем законам ему нужно больше, а не меньше, он лишается даже такой помощи государства?

Готовясь к конференции, Оргкомитет получил не одно письмо от многодетных семей. У москвичей Шориных, к примеру, девятеро детей — такие семьи в Москве редкое исключение, а не правило — отец получает 220 рублей, помощь от государства 60. 38 рублей платят они за квартиру, около 20 рублей за свет. В семье нет телевизора, магнитофона. Просто нет возможности. Попробовали обзавестись садовым участком, чтобы хоть летом всей семьей немного овощей для себя выращивать. Но дачный кооператив исключил многодетную семью — она не смогла выплатить 3000 рублей за домик.

Оргкомитет обратился в Бабушкинский райисполком с просьбой посмотреть, нельзя ли отменить этой семье квартплату, плату за свет, нельзя ли поискать возможность сохранить их в садовом кооперативе. Но райисполком произвел на свет очередной образчик бессердечия и бюрократизма, подписанный зампредом т. Гавриловым: «По возможности Шориным оказывается материальная помощь, — отвечает он. — В 1986/87 учебном году школой № 246, помимо бесплатных завтраков, была оказана материальная помощь на сумму 87 рублей».

Наш Фонд еще на уровне Оргкомитета не раз и не два убеждался, как охотно отгораживаются инструкциями именно от детей современные бюрократы. И ведь чем пользуются? Детской безгласностью и слабым голосом матерей, которые у нас, к сожалению, выслушиваются не в первую, а в последнюю очередь, а их борьба за благополучие и выживаемость часто напоминает настоящее хождение по мукам.

Явление это, к сожалению, типичное. Народ устал от такой уничтожающей типичности. Большая семья исстрадалась от безразличия, жаждет человечности. И как же прекрасны образцы такой человечности. Вот, например, в колхозе имени Ленина Чернобаевского района Черкасской области при рождении третьего ребенка оказывают единовременную помощь в размере 500 рублей, четвертого — 600, пятого — 800, шестого — 1000, седьмого — 1500, восьмого — 2000. Такие же пособия в колхозе «Радянська Украина». В Черкасском районе этой же области многодетным семьям строят отдельные дома, предприятия, колхозы оплачивают строительство, торговля привозит семьям нужные товары прямо домой.

Сегодня экономика переходит на хозрасчет, так не настала ли пора из средств социального развития предприятий оказывать постоянную материальную помощь многодетным семьям работников этих предприятий? Разве первоочередное вложение в детство — не есть наилучшая форма вложений в социальное развитие общества?

Может быть, нам сегодня следует учредить Семейный совет Советского детского фонда, в состав которого ввести супругов Иордан, председателя колхоза имени Ленина из Черкасской области, супругов Шориных, которые испытывают такие трудности. Пусть бы они обозначили болевые точки многодетной семьи, малообеспеченной семьи, предложили поправки к законам. Это было бы очень демократично и справедливо.

Несколько слов о понятии первоочередности, приоритетности. Взгляните на обыкновенную человеческую очередь где-нибудь на вокзале, на стоянке такси. Сегодня уже не всякий раз очередь благодушествует при виде матери с грудным младенцем. Увы, не однозначно гуманно даже само отношение к детским проблемам — и эта неоднозначность, а порой однозначная неприоритетность демонстрируется едва ли не всюду — от министерств, от руководителей партийных комитетов до рычащего на мать с ребенком хама из очереди.

Давайте уступать дорогу матери и ребенку, товарищи! И в государственном значении этих понятий, и в личном, человеческом.

Давно уже набита горькая оскомина от многолетних и порой ничего не значащих повторений истины, что детям надо отдать все лучшее. Но лучшее-то очень часто остается фразой, не подкрепленной делом. Задача нашего Фонда в том, чтобы всюду, на всех человеческих фронтах — от партийных, государственных до самых что ни на есть бытовых, если хотите, кухонных, сделать отношение к детству приоритетным. И здесь важно участие каждого мужчины, каждой женщины — от министра до работницы. Хочу подытожить. Семья — перекрестие едва ли не всех наших проблем — от экономических, социальных, экологических, демографических до сугубо личных.

В семье, как нигде, сплетаются воедино наши грешные человеческие слабости и достоинства с общегосударственными и даже общечеловеческими. Именно в семье рождаются и утверждаются негативные явления, ликвидировать или сократить которые должен Советский детский фонд. Как это сделать практически? Давайте думать и делать сообща. По существу, речь идет о том, чтобы *все духовное самосознание повернуть к семье и детству,* чтобы укрепить самоценность семьи, вкладывающей свои коллективные усилия в собственных детей.

Однако именно семья одаривает общество тяжелейшими недугами, принять участие в излечении которых может и должен Детский фонд.

Одна из первых забот Фонда — защита ребенка, отвергнутого семьей или отнятого у семьи законом. 300 тысяч детей живут в домах ребенка, в детских домах, школах-интернатах для сирот и 700 тысяч находятся в опеке, попечительстве или усыновлены. Как будто существует достаточно стройная государственная система.

Среди делегатов нашей конференции — выдающиеся защитники таких детей. Прежде всего — это великая мать Антонина Павловна Хлебушкина. В годы тяжкой войны, еще совсем молоденькая, стала она создательницей детдома в Ташкенте, который принял детей Сталинграда. 45 лет директорствует Антонина Павловна, вырастила 3280 ребятишек, половина из них получили высшее образование, среди ее детей есть и министры, и народные артисты, 40 выпускников носят ее такую теплую, такую добрую фамилию — Хлебушкины. Низкий поклон вам, дорогая Антонина Павловна, за великолепный

образец подлинно материнского служения детству, вы — истинно великая учительница.

В этом прекрасно возвышенном и бесконечно трудном ряду настоящих отцов и матерей — главный врач Дома ребенка № 12 Москвы, Герой Социалистического Труда Марина Гургеновна Контарева, директор Сыктывкарской школы-интерната Александр Александрович Католиков, директор школы-интерната из села Верба Ровенской области, Герой Социалистического Труда Анна Дмитриевна Нестеренко. Великая благодарность вам, прекрасные, благородные люди и педагоги!

Пользуясь правом, предоставляемым нам уставом Фонда и несколько опережая его принятие конференцией, — думаю, такое нарушение нам простится! — предлагаю избрать, товарищи, Антонину Павловну Хлебушкину, Марину Гургеновну Контареву, Анну Дмитриевну Нестеренко и Алексадра Александровича Католикова первыми почетными членами Фонда.

Но будем честны, таких, как эти выдающиеся граждане, увы, немного в домах ребенка, детдомах, школах-интернатах. К сожалению, лишь одна пятая этих заведений может быть признана удовлетворительной. Во многих процветает воровство взрослых, нормой педагогической вседозволенности стало избиение детей. Нынешним летом партия опубликовала постановление о коренных переменах в деле воспитания и защиты таких детей. Напомню, именно этим постановлением поддержано предложение о создании и нашего Фонда. Как бы отталкиваясь от тяжкой данности современного сиротства, признано необходимым самое широкое участие общества в искоренении причин, порождающих его, в народной помощи безвинно страдающему детству, которое, согласуясь с серьезными усилиями партии, государства, должно изменить положение дел самым коренным образом.

Как помочь детским домам? Кто это должен сделать? На этот счет будущее правление Фонда должно выработать — и срочно! — свою общественную программу. Главные позиции этой программы должны быть, по мнению Оргкомитета, в следующем. Широко распахнуть двери домов ребенка детских домов и

школ-интернатов для общественности, для представителей Фонда. Прежде всего надо с помощью народа, активистов Фонда усилить человеческое начало в развитии и воспитании детей прибавить душевного тепла. Одновременно необходимо создать систему общественного контроля и в самые краткие сроки проверить состояние всех до единого домов ребенка, детдомов, школ-интернатов для сирот, решительно навести там порядок. ЦК КПСС предусмотрел всесоюзную переаттестацию всех руководящих работников этих учреждений. В этой работе должны непременно участвовать представители Фонда. Иными словами, речь идет о предоставлении Фонду права всестороннего контроля заведений такого рода. Обращаюсь к Комитету народного контроля СССР с предложением: считать Детский фонд подразделением КНК СССР во всех вопросах, связанных с защитой детства не только в сиротских заведениях, но и вообще во всех сферах нашей жизни.

Предлагается создать в рамках Фонда две общественные организации — Всесоюзный попечительский совет и Всесоюзный совет воспитанников детских домов. Как им работать? Жизнь уже предложила прекрасный пример. В Днепропетровске воспитанники детдомов разных лет провели свой первый слет и создали клуб, который назвали «Взрослый детский дом». Этот клуб имеет двоякое назначение. Объединяет бывших воспитанников и помогает воспитанникам нынешним. Оргкомитет предлагает признать днепропетровский клуб «Взрослый детский дом» первой первичной организацией нашего Фонда.

Помощь взрослыми воспитанниками детских домов нынешним их ученикам может вырасти в высоконравственное, подлинно народное дело. В среде тех, кто прошел эту нелегкую и непростую школу, таится огромный и до сих пор плохо используемый потенциал мудрости и утверждающей силы. Сегодня надо честно сказать: история детского дома стала частью трагической истории нашей страны. Сиротство оказалось зеркалом, отразившим беды и лишения гражданской войны, жестокий голод в Поволжье, коллективизацию и раскулачивание. Одной из самых горьких страниц детдомовской истории стал 1937 год, отмеченный созданием специальных учреждений для детей репрессированных. Целое поколение ребят выросло в детдомах военного и

послевоенного времени. Сколько детских жизней и душ спасли воспитатели, имена которых, к сожалению, известны мало! Помощь таким домам считалась важной обязанностью даже в самые трудные годы. Однако в последнее время настало странное затишье, отодвинувшее детский дом на задворки общественного интереса. А жизнь тем временем одаривает нас своими зловещими плодами — плодами попранного материнства, когда юные кукушки отказываются от своих ребятишек прямо в роддоме, когда родители лишаются самых святых своих прав судом за безнравственный образ жизни, пьянство, наркоманию. У сегодняшнего сиротства — тяжкие, черные цвета. Почти 95 процентов нынешних детдомовцев — сироты при живых родителях, и это накладывает тяжелый отпечаток на весь процесс становления личности.

Можно говорить бесконечно о нравственных аспектах проблемы. Но как вернуть детям веру в себя? И как Фонд может влиять на это?

Прежде всего — созданием в стране атмосферы моральной ответственности за рождение и воспитание детей. Привлечением в детские дома лучших педагогических и моральных сил общества. Взыскующим контролем.

Созданием новых типов детских домов. В Кирове предполагается построить детский дом-коммуну совершенно нового типа: детский дом промышленного предприятия. Группа энтузиастов — и Фонд это должен поддержать — выступает с идеей создания детских домов семейного типа. Наконец, архитектор Устинов по своему почину разработал проект детского дома, где обеспечивается непрерывное развитие ребенка — с рождения до 18-летнего возраста, до выхода, так сказать, в свет.

Таким образом, создание новых типов учебных заведений, их проектирование, финансирование строительства и обеспечение будущей работы — своеобразный полигон гуманизации воспитания — должны стать одним из конкретных дел Фонда.

Следующая важная цель — восстановление социальной справедливости по отношению к этим детям. В прошлом году в РСФСР 10 классов закончили лишь 397 детдомовцев, а в вуз сумели попасть 50. Большин-

ство ребят детские дома вместе со школой в полном смысле слова сбагривают в ПТУ. При всем уважении к системе профтехобразования, там нет педагогической структуры, хотя бы отдаленно восполняющей заботу и защиту. Многие детдомовцы, попав в ПТУ, словно с обрыва падают.

И уж во всяком случае высшее образование для них практически недоступно.

И здесь надо воззвать к гражданской и человеческой совести учителей школ, где учатся детдомовцы, к педагогам детских домов. Дорогие товарищи, слов нет, эти дети вдесятеро трудней, чем их «домашние» сверстники. Но ведь и вдесятеро возрастает ваша педагогическая ответственность за них. Давайте считать высшим классом учительского добросердечия и профессионализма такой критерий: скольким ребятам с трудной судьбой вам удалось эту судьбу поправить. Давайте сообща восстановим социальную справедливость и откроем этим детям двери высшей школы. Все сказанное относится и к вузам. Товарищи ректоры! Ведь высокие профессорские звания вовсе не равнозначны человеческой толстокожести, не так ли? Но почему же тогда студенты-детдомовцы, как правило, не известны вам в лицо, почему их присутствие в вузе не вызывает повышенной температуры сердечности ни в ректоратах, ни в студсоветах, ни в профсоюзном комитете, ни в комитете комсомола? Знает ли вуз, что у такого-то студента, пришедшего из детдома, прохудились ботинки, а у такой-то студентки одно-единственное платьишко?

Нашей педагогике, школьной и вузовской, надо бы как следует очиститься именно в человеческом плане. Много у нас добрых учителей, это не про них говорится, они не обидятся, а, уверен, разделят наши тревоги. Но ведь много и равнодушия, пустых глаз. Мыслимо ли равнодушие педагога, если речь о таких детях?

Так что в учительстве видит Детский фонд своих главных союзников, если мы хотим добиться восстановления подлинной социальной справедливости к ребятам из детских домов. Ну разве это не укор всем нам, что в 30-е годы подавляющее большинство детдомовцев шло именно в вузы, а сейчас, в 80-е, туда попадает пугающее меньшинство? Вообще дальнейшая судьба воспитанника детского дома, его первые шаги по жизни должны получить моральную и материальную поддержку Фонда.

Тяжкую эту печаль — современное сиротство — разгребать предстоит всем миром: и партии и государству, и обществу, нам с вами. В таком деле гражданская, человеческая инициатива — дороже всех богатств. Многие из вас, товарищи, наверное, уже слышали имена иркутян Галины Вениаминовны и Виктора Петровича Рожковых. Отец семейства — старший научный сотрудник Института географии Сибири, кандидат наук, Галина Вениаминовна — мать, и это слово Мать здесь я произношу с большой буквы. Дело в том, что, имея своих двоих детей, эта семья усыновила еще пятерых ребятишек, одарив их теплом и любовью. Эта семья сегодня здесь в полном составе.

Пока Минпрос СССР мялся в своем отношении к семейным детским домам, семья Рожковых создала его явочным порядком и теперь выступает со своей концепцией таких домов.

Подобный высоконравственный поступок совершила семья санитарки Галины Ивановны Василевой и строителя Ивана Тодорова. Это интернациональная, советско-болгарская семья, живут и работают они в Старом Осколе. У них тоже было двое своих ребятишек. Потом случилось горе — умер брат Галины Ивановны, дети сначала оказались в детдоме. Теперь Светлана, Миша, Таня, Оля и Наташа Коробкины снова живут под одной крышей вместе с мамой Галей и папой Иваном.

В сущности, это нормальный человеческий поступок: тетя и дядя не дали судьбе в обиду собственных племянников. Но как же нечаста еще, товарищи, такая нормальность.

Родственные узы, как и семейные устои, претерпевают нравственные изменения, близкая родня очень часто не дружит, а соперничает, состязаясь на пошлую тему — у кого чего больше. И напротив, в иных районах страны родственность обернулась коррупцией, протекционизмом — газеты дали нам немало подобных фактов в последнее время. Родственные чувства нам нужно очищать, как вообще следует объявить войну зависти, соперничеству, клевете, злобности в наших отношениях. К сожалению, они пышно расцветали в последние годы. Жаль, что этим низким чувствам недостойно предается наша интеллигенция, пусть даже если это только ее часть.

Доброжелательство, если оно делает добрые дела, поощрение благородных идей и нормальных человеческих поступков, а не злобное выискивание в каждом благом намерении гнусного подтекста, тайной подлости — вот чем надо нам, создателям Фонда, поверять свои помыслы и поступки. Да, есть такое выражение — благими намерениями вымощена дорога в ад. Хотелось бы уточнить: дорога в ад вымощена не благими намерениями, а намерениями неисполненными. Не делать — проще, чем делать, не помогать, осуждая ошибающихся, проще, чем помогать, ошибаясь при этом. В письмах, которые получили мы, готовя конференцию, были и такие: почему мы должны исправлять ошибки других? Глубоко убежден: чувство справедливости похоже на весы. Если человек недобрал любви и добра в родном кругу, судьба неизменно должна компенсировать эту недостаточность чем-то другим.

Собственно говоря, для этой нравственной компенсации, для возможности осуществить социалистическое милосердие по отношению к детству и создается наша новая общественная организация — Советский детский фонд, освященный именем величайшего борца за социальную справедливость Владимира Ильича Ленина.

И здесь мы выходим на такие важные для общества вопросы, как цель и способы нашей жизни, как мораль, как ответственность нормального поведения, когда мы по обязанности родителей отвечаем за собственных детей и по обязанности детей заботимся о родителях, и чувство гражданского отношения к окружающему — идеальная линия человеческого поведения.

И здесь я хочу рассказать про Асгата Галимзяновича Галимзянова из Казани. В последние годы он передал 40 тысяч рублей Казанскому дому ребенка, купил автомобиль «Нива» и, ни разу не сев за руль его, подарил тому же Дому ребенка. Во дворе этого дома скульпторы на деньги Галимзянова построили первый в стране памятник педагогу Дома ребенка. 5 тысяч рублей Асгат Галимзянович отправил Ивановскому интернациональному детскому дому, 10 тысяч перечислил на чернобыльский счет, отправил деньги в Грузию после стихийного бедствия.

Кто он, Асгат Галимзянович? Миллионер? Нет, простой возчик, как шутит он, «водитель кобылы». На лошадке этой объезжает дома, собирает пищевые отходы, откармливает бычков, мясо сдает в магазин, а деньги,

не беря их в руки, переводит детям. Зарплата у Галимзянова — 110 рублей, жена — инвалид первой группы, живут они в квартире с печным отоплением без всяких удобств, помогают им двое взрослых детей, которые мировоззрение отца полностью разделяют. А мировоззрение у Галимзянова такое. Когда его спрашивают, почему он это делает, Асгат Галимзянович отвечает прекрасно: ну кто-то же должен!

С бесконечным преклонением перед ним представляю вам, товарищи, Асгата Галимзяновича Галимзянова. И предлагаю избрать его почетным членом Советского детского фонда.

За много лет до создания Фонда Асгат Галимзянович его первым единолично учредил. Решением своей совести!

Наши классики, Маркс и Ленин, частенько употребляли слово «альтруизм», означающее бескорыстную, необязательную помощь другим. Всячески поддерживая идеологию материального стимула, без чего невозможно никакое улучшение жизни, давайте все же почаще — и не только в словах — обращаться к альтруизму, руководствуясь простой мыслью, что одно без другого быть не может. Материально стимулируя наш труд, мы возвышаем свое благосостояние и свое тело, помогая другим, мы возвышаем свой дух и свое человеческое достоинство. И Асгат Галимзянович Галимзянов преподает всем нам блестящий урок альтруизма.

Давайте пригнемся к земле. Как утверждают биологи, даже обыкновенный листик, простая былинка незримо страдает и неслышно кричит, если ее ранить. А дитя человеческое?

Зарубежные ученые доказали, что, если женщина, ждущая ребенка, не хочет его, эта «нежеланность» потом долгие годы подспудно преследует растущего человека. И уже не зарубежные ученые, а московские специалисты предлагают образовывать вокруг беременной женщины, попавшей в моральную беду, небольшие, но мобильные бригады просто-напросто доброжелательных людей, которые снимают с нее стресс, внушают радость грядущего ребенка, создают ореол положительных чувствований и радостей. И весь мир профессионалов уже согласился с тем, что эстетическим влиянием на ребенка надо заниматься, когда он еще в матери, —

важна музыка, которую слышит мать, природная сфера, атмосфера — в прямом и переносном смысле слова.

Это означает, что человечество становится все грамотнее и гуманнее, глубже познает детство. Однако же как далеки эти вершины мысли от бренностей жизни!

С горечью следует признать, что по детской смертности мы значительно опередили другие развитые страны мира. Детский гроб, похороны ребенка — душераздирающее это событие мы переживаем в 2,5 раза чаще, чем американцы, в 5 раз чаще, нежели японцы, в четыре раза чаще, чем шведы. Я вполне сознаю, товарищи, что эти признания могут быть по-своему истолкованы мировым общественным мнением. Однако будет худо, как бывало не раз, если, страшась других, мы вновь припрячем собственные грехи. Не для сенсации называем мы эти горькие, больные цифры, но для народного знания, для пробуждения народной решимости защитить и охранить детство. Мы детей своих защитим, в этих словах нет обещания, а только одно чувство абсолютной общественной решимости сделать дело в в кратчайшие сроки. Министерство здравоохранения СССР организовало нынче благороднейшее дело. 1300 врачей, специалистов из ведущих медицинских центров страны, поехали на два летних месяца в районы Средней Азии для спасения детей. Некоторые врачи охарактеризовали обстановку, в которой они оказались, как фронтовую — в это время возрастают заболевания кишечными инфекциями. Всего два месяца — но достигнут реальный результат. В детском инфекционном отделении Кушку-Пырской районной больницы, в отделении интенсивной терапии Самаркандской центральной больницы, в других местах детская смертность была снижена в 2—3 раза. Только в Узбекистане за июль и август приезжие медики спасли от смерти 500 детишек!

Сразу хочу предложить нашей конференции: давайте обратимся к медикам страны с просьбой — снова поехать в Среднюю Азию в будущем году, но не на государственные деньги, а на средства Фонда. И пусть отряд этот удвоится! Давайте продолжим спасение детских жизней!

Вторая идея — учредить там, где высока детская смертность, должности консультантов — педиатров Советского детского фонда при министрах здравоохране-

ния и заведующих облздравотделами, с тем чтобы эти консультанты в профессиональном отношении были подчинены напрямую Минздраву СССР, зарплату получали нашу и, используя все возможности и любую поддержку, за год-другой резко снизили детскую смертность. Было бы полезно, думается, объявить всесоюзный конкурс на замещение этих сверхответственных и очень необычных должностей, напечатать в газетах портреты полномочных представителей Фонда в белых халатах — чтобы их знали в лицо те, кому они очень понадобятся.

Если же говорить в целом о стране, то лишь половина новорожденных абсолютно здорова, 8—10 процентов детей имеют врожденную или младенческую патологию.

Каждый день из жизни уходят инвалиды минувшей войны. Но каждый день их место занимают люди, уже рожденные инвалидами. Только детей, больных церебральными параличами, — 400 тысяч. Фактически здоровая часть общества даже не подозревает об этой беде. А не зная, нельзя сострадать, нельзя сочувствовать. В конечном счете — нельзя помочь. Еще совсем недавно от этого слова — сострадание — многие морщились, полагая, что за этим стоит некая жалость. Мне кажется, настала пора высказаться и о слове «жалость». Алексей Максимович Горький сказал когда-то, что жалость унижает. Но он имел в виду жалость имущих к неимущим, жалость классовую. Разве это имеет что-то общее с жалостью, которая делает человека человеком? Если сильный, увидев беду слабого, помог ему, разве это может быть оскорбительным? Если взрослый разделил несчастье малого, в чем, скажите, унизительность такого поступка?

Говорить, мне кажется, надо лишь о действенности этих благородных чувств, о действенном сострадании, о жалости, которая влечет за собой поступок, облегчающий участь того, кого мы жалеем.

Дети-инвалиды — вот кто нуждается в действенном сострадании Детского фонда. Школы-интернаты для маленьких инвалидов — принадлежность Министерства социального обеспечения. Положение в них — аналогично положению детского дома. Есть образцовые, но много и безобразий. Однако даже и не вдаваясь в

анализ порядков, царящих там, надо сказать: обществу есть где приложить свою человечность, употребить действенное, реализованное в поступках сострадание.

Давайте, товарищи, помощь маленьким инвалидам означим как одно из важнейших направлений деятельности Детского фонда. Равно как решительную борьбу с детской смертностью, за совершенство детского здравоохранения. Дело это крупное, о работе в одиночку и речи быть не может. Вместе с Минздравом, с профсоюзами, с Госпланом, строителями хорошо бы возвести на народные деньги — для начала — три суперсовременных санатория для детей-инвалидов: в Крыму, на Кавказе и где-нибудь в Сибири. А прежде всего давайте обратимся к Министерству медицинской и микробиологической промышленности СССР и Минздраву СССР с таким маленьким, но вполне конкретным предложением, в которое, я думаю, Фонд мог бы вложить любые средства: в кратчайшие сроки, сообща, добиться такого положения, чтобы детям и женщинам, ждущим детей, уколы делали только шприцами одноразового пользования.

Следующая крупная задача Фонда — помощь несовершеннолетним преступникам, резкое сокращение этой печальной разновидности закононарушения. Об этом много думал и писал еще Федор Михайлович Достоевский, посетивший первый в России исправительный дом для малолетних. Немало пишется об этом и сейчас, но вот беда: масса публикаций почему-то не обращается в критическую, взрывную массу общественных усилий, которые могут изменить обстановку, улучшить дело. Сопереживание от прочитанного очень часто заканчивается у человека лишь личным эмоциональным всплеском и не влечет за собой поступка.

А сколько взрослых усилий, сколько поступков требуется, чтобы охранить детство от такой беды, как преступность — обдуманная и необдуманная, «списанная» с экрана зарубежного фильма или ставшая подражанием тяжелым взрослым образцам. 200 тысяч детей стоят на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, из них 14 тысяч — воспитанники детских домов. 29 тысяч пьяных подростков зарегистрировала только в этом году милиция — а сколько не зарегистрировала. Растет уже детская, а не только юношеская преступность,

14—15-летние дети составляют сегодня треть, 29 процентов, всех несовершеннолетних преступников. Вообще начиная с прошлого года юношеская преступность в стране несколько сокращается. Тем больше усилий должны приложить мы все к тому, чтобы придать этому снижению качество положительной инерции. Сегодня вопрос надо ставить так: мы должны создать единый фронт семьи, школы, трудового коллектива взрослых, министерств, общественности, чтобы свести к минимуму преступность людей, лишь начинающих жить. Пока же каждый пятый грабеж в стране, каждое третье изнасилование, каждая третья кража личного имущества, каждый второй автомобильный угон принадлежит несовершеннолетним, 14 тысяч подростков милиция застала за употреблением наркотиков, каждый год регистрируется 14 тысяч венерических заболеваний в детской среде, из них 66 процентов — это девочки.

Товарищи, мы все должны содрогнуться от этих фактов, должны испугаться. Страх — плохой помощник в любом деле, но детская наркомания, токсимания, алкоголизм, всяческая скверна детского тела и детского духа должны вселить в нас чувство социального страха за наше будущее. Однако лишь только пугаться — этого мало. Испугавшись за наших детей, надо сделать дело.

Но вот каково это дело, его уровень. В нашем Оргкомитете работал Георгий Павлович Сологуб, Герой Социалистического Труда, многие годы директор Очерской спецшколы Пермской области. Главной заботой Георгия Павловича было следующее: как вернуть домой исправленного им ребенка.

Ни семья, ни школа, ни ПТУ, ни предприятия, ни органы местной власти не ждут его, не умеют ему помочь, все сводится в лучшем случае к формальным решениям, к очередным столкновениям, а в результате — острое детское чувство «никомуненужности» и следующий за ним неумелый протест в виде рецидива.

Фронт, только соединенный гражданский фронт нам поможет, товарищи. Термин это не мой, его предлагает, и очень справедливо, Министерство внутренних дел СССР. Пусть будущий Фонд попытается объединить общество для такой новой, но важнейшей работы. Давайте в краткие сроки найдем способы оказания человеческой и организационной помощи тем детям, кто оступился, но у кого — вся жизнь впереди.

О детстве можно говорить бесконечно. Проблем у нашей малышни накопилось не меньше, чем у нас, взрослых, все дело лишь в том, что они не всегда сознают то, что обязаны осмыслить мы. Не сознают, но очень чувствуют. Беда, боль, несправедливость — это вневозрастные чувства, и дети порой гораздо глубже, чем мы, взрослые, испытывают их всей своей незащищенной ранимой душой. Советский детский фонд обязан стать скорой социальной и нравственной помощью нашим же собственным детям.

Фонду предстоит энергично воспользоваться правом законодательной инициативы, которое имеют все общественные организации. Одни наши законы слишком суровы, другие слишком мягки. Достаточно известна истина, что тюрьма еще никого не исправила. Особенно крепко это надо помнить, когда речь идет о детях. К примеру, в Биробиджанской колонии отбывает наказание семнадцатилетний юноша по имени Аркадий, фамилию опущу. В свои 17 лет он лишь одну четверть проучился в школе, не умеет читать и писать, однажды его семья несколько месяцев жила на вокзале, потом мальчишка год провел в тайге совсем один. Он нарушал закон, чтобы выжить. Вообще очень часто едва ли не равно наказываются те, кто совершил серьезное преступление, и те, кто ворует велосипеды. Иными словами, рядом с психологической, медицинской, педагогической защитой детства Фонд должен владеть защитой юридической.

Впереди предстоит грандиозное дело — поднять все общество, весь народ, начав дело с самых сознательных, инициативных, жаждущих.

По сути, речь идет о высвобождении колоссальных духовных ресурсов общества, ресурсов доброты, человечества, выраженных в конкретных делах на пользу обществу. Свердловчанка Эвелина Владимировна Проскурякова, инженер по профессии, организовала в своей 20-метровой квартире музей Пушкина, с тем чтобы в своих маленьких земляках воспитывать поклонение поэту, знание его поэзии. Никто ее не просил, сама сделала.

Вот эти слова — сама, сам, вот именно такая инициативность должна стать главной формой работы Фонда. Оргкомитет завален конкретными предложениями инициативных групп: построить в Москве киноград для детей, вроде Диснейленда, организовать Детскую

музыкальную академию, создать Клуб детского здоровья. Хочется верить, что народное объединение взрослых в помощь детству, сам процесс соединения усилий не окажется пятистепенным делом для партийных, комсомольских комитетов, советских органов на местах. Особую роль в делах Фонда предстоит сыграть комсомолу, вообще молодым, ведь речь идет о детях, а это значит, об их молодых родителях. Одно из важнейших дел для будущего Фонда — соединение во благо детства усилий интеллигенции: художественной, технической, научной. Академик Роальд Зиннурович Сагдеев, например, получив американскую научную премию, купил на эти доллары несколько компьютеров и подарил их на днях клубу юных космонавтов Московского городского Дворца пионеров, при этом актовые лекции для юных мечтателей прочитали американский астронавт Салливан и советский космонавт Серебров. Хороший и конкретный вклад в наш Фонд.

Кстати сказать, помощь юным талантам во всех областях знаний, поиск их по всей стране, умение и желание повести их по жизни могут стать одной из главнейших обязанностей Фонда. Мы не должны дать погибнуть ни одному дарованию. Страна наша, ее наука, техника, культура, литература очень нуждаются в талантах, а еще более — в гениях. Не грех бы нам вообще относиться к каждому ребенку как к гению. Это вовсе не означает сюсюканья, потакательства, но означает высокое почитание младших старшими, обещающее ответную благодарность, и в том числе высочайший этический и даже экономический эффект. Глубокая перестройка нашей жизни — конечно же, массовая демократическая работа, и как же важен в ближайшей перспективе приход талантливых, социально активных граждан, художников, ученых, инженеров, врачей, которые сумеют продолжить усилия подлинных революционеров сегодняшнего обновления.

К тому, что происходит в нашей стране, проявляют огромный интерес не только взрослые во всем мире, но и дети. Каждую неделю, пока работал Оргкомитет, к нам обращалась по крайней мере одна американская общественная группа с предложениями о детском обмене. Детская дипломатия стала явью наших международных отношений, и это вполне законно, если мы хотим, чтобы дружба народов и взаимное понимание стали явлением полноценным и всеобъемлющим. Умению

бороться за мир надо учить и учиться. Начинать эту работу следует с детства. Желание жить без войн, просто жить, не может быть заботой одних лишь взрослых. Мы знаем, сколько детей обращается непосредственно к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с волнующими их, порой наивными, но по сути очень серьезными вопросами. Детский фонд мог бы объединить распыленные пока что усилия в области детского обмена, сыграть значительную роль в упрочении мира, исходя хотя бы из таких простых истин, что детская память — самая сильная память, и добрые уроки помнятся всю жизнь, и что самый краткий путь к сердцу взрослого лежит через душу его ребенка. Прописи, которые могут сыграть огромную роль не только в сфере воспитания, но и в области миротворчества.

Детский фонд должен собрать под свое знамя представителей общественной педагогики, взрослых разных профессий и возрастов, отдающих свое сердце и время работе в детских кружках, клубах, но часто никому не нужных, кроме как домоуправлениям. Фонд должен заняться педагогическим ликбезом родителей. Нет, пожалуй, таких «детских вопросов», по которым народ не связывал бы своих надежд с будущим Фондом. Однако объять необъятное нельзя, и правлению, которое мы изберем, надо гласно сформулировать наши приоритеты.

Несколько слов о средствах Фонда и стиле деятельности.

Думается, стиль работы — это абсолютно точная конкретика. Помощь конкретному ребенку, конкретные инициативы, акции, поступки, проекты. Овеществление предложений потребует денег. Поэтому широкая пропаганда конкретных проектов Фонда должна соединиться с пропагандой гуманистических идей и привлекать в Фонд не только инициативы, но и средства. У Фонда не будет обязательных членских взносов. Вся материальная сторона дела будет строиться на добровольных пожертвованиях и взносах. При этом мы торжественно заявляем: ни один рубль, переданный гражданами Фонду в качестве добровольного взноса, не может быть истрачен на содержание аппарата. Аппарат, без которого, конечно же, не обойтись, должен будет действовать по принципу самофинансирования и самоокупаемости и сам заработать деньги на свое содер-

жание — имеется в виду производственная, издательская и прочая деятельность.

Предлагается, чтобы отделения Детского фонда были образованы пока во всех союзных республиках, краевых, областных центрах и 25 крупнейших городах страны. Важную роль в работе должна сыграть еженедельная газета Детского фонда «Семья», которая начинает выходить с января, а также Институт детства, владеть которым Фонд будет совместно с Академией педагогических наук.

Возвращаясь к средствам Фонда, хотел бы обратить внимание на два важных посыла. Во-первых, добровольность взносов должна быть незыблемым принципом материального участия. Никто, нигде, никогда не должен заставлять людей участвовать в Фонде. Материальное содействие Детскому фонду — не обязанность, а вопрос совести. Это первое. Второе. Будет плохо, если мы, только материально поддерживая Фонд, как бы откупимся от детства и его проблем. Дал деньги и тут же совершил антидетское деяние. Такое расщепление морали не может устроить ни Фонд, ни детство. Только подкрепляя средствами моральные усилия человека и общества, можно достичь благих перемен. При этом, мне кажется, не грех обновить старую нравственную истину о том, что, отдавая другому, ты становишься лучше и чище.

Впрочем, эти истины живы в народе. Докладываю конференции: в первые же часы своей работы Оргкомитет обратился в Госбанк с просьбой об открытии счетов Детского фонда в рублях и валюте, с тем чтобы еще до учредительной конференции и официального создания Фонда народ, общественные организации имели возможность не только морально, но и материально выразить свое отношение к детству. Повторю во всеуслышание номера счетов Детского фонда: 707 — в Госбанке СССР и 7070 во Внешторгбанке СССР, куда можно перечислить все виды валюты.

Еще одно уточнение. Наш Фонд не должен, да и не может заменить государственные усилия в пользу детства. Речь идет о дополнительном народном соучастии. Если же говорить о семейных обязанностях, об участии в воспитании родителей, общественности, о соединении добрых сил общества для его новой пользы, то следует внятно сказать: не только государство должно помочь народу, но и народ государству.

Философы установили такую диалектическую цепочку: семья — народ — человечество. Очень мудрая связь. Давайте, товарищи, возьмем ее в качестве девиза, в качестве фундаментальной мысли, отражающей высшее гуманистическое предназначение Советского детского фонда.

Партия прилагает неимоверные усилия, чтобы вывести страну из кризиса. Мы смотрим правде в глаза, не боимся этой правды, как бы горька она ни была. Рука об руку с неприкрашенной правдой о нашем детстве должен идти учреждаемый нами Советский детский фонд — один из благороднейших, нравственнейших народных институтов перестройки, очищения, обновления духовной жизни страны. И мы с вами, сидящие в этом зале, и главное, наши единомышленники во всех городах и селениях великого Отечества нашего должны ощутить себя ответственными участниками революционных преобразований, отчетливо понять — партия, государство ждут от нас дел и поступков, и не одних лишь слов и сочувствий.

Учреждая Фонд, мы приступаем к строительству. А строительство требует качества, терпения и упорства.

Нет, не с пустого места мы начинаем. У советского народа, идущего к 70-летию Октября с достоинством честного искателя истин, славные традиции, выработанные поколениями. Разве не охранили мы детство в годы революции и гражданской войны, разве не защитили в годы кровопролитной Отечественной? Разве не гордимся мы славными именами Дзержинского, Крупской, Макаренко, Сухомлинского? Все наше — при нас. Но завоеванное — обязывает.

Из семьи, из детства выходят во взрослую жизнь и лучшие и худшие. Вложить в детство моральный потенциал нашего общества — это значит, как и в экономике, получить конкретный нравственный результат — вид духовной продукции.

Чем больше вложим, тем больше получим, чем охотнее и сердечнее вложим, тем больше лучших людей получит общество.

Я не хочу упрощать: воспитание продолжается всю человеческую жизнь. Но фундамент закладывается в детстве. Это азбука. Однако, если мы чувствуем себя частью государства, народа, вряд ли следует упиваться иждивенческими традициями. Следует самим нам помочь детству и себе.

Сами — себе, сами — для себя, сами — для своих детей, для своей семьи. Помогая государству, принять на себя часть нелегкой ноши — такова высшая созидательная, строительная идея Советского детского фонда имени В. И. Ленина. Нам предстоит непростая работа — повернуть к детству духовное самосознание народа.

Именем детства, во имя детства и нашего с вами будущего.

1987

У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ СВОЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Это не простое и очень болезненное занятие — заполнять «белые пятна» нашей недавней истории. Слишком обжигающее незабытое, еще не угасли угли наших бед, стоит только стряхнуть золу с поверхности этого костра, как алый жар бьет в лицо тяжкими, непростыми, обидными воспоминаниями.

У истории нашей страны, конечно же, героической, есть сопутствующие ей страницы. Своеобразная подыстория. Факты, которые пока историей не очень-то принимаются в расчет, и редко-редко вычитаешь в какой-то научной книге подробность, похожую на ответвление дерева, которое исследователи не берут всерьез, которое историей считать не принято. Это вроде бы некий сопутствующий материал, какие-то необязательные факты.

Однако же в этих фактах кровь и слезы, пусть уже высохшие или стертые, но кто возьмет на себя смелость заявить, что все это ответвление, вся эта подыстория — малозначимая мелочь на фоне героических усилий, которым несть числа и которые единственно и составляют подлинную историческую первооснову?

Увы, среди фактов, так сказать, малозначимых оказывается история детства нашей страны, с которой виртуозы научных исследований обращались с мастерским иезуитством, выкрашивая из куска хлеба всю внутреннюю суть и оставляя лишь пересохшие корки внешних событий, не считаясь, что детство тем временем страдало и плакало, металось и ломалось не менее, а может быть, и более драматично и усложненно, чем весь наш общий взрослый мир.

Вот история сиротства. История, замечу, а не подыстория. Драматическая, уходящая корнями в давнюю историю, фольклор, ведь и в старых русских сказках добро и зло нередко особо обостренно заявляли себя в горьких повелениях мачехи, отправляющей падчерицу в новогоднюю студеную зимнюю ночь за подснежниками в глухой лес с такой очевидной и простой целью — немыслимым приказом свести с бела света немилую, мешающую жить падчерицу, добрую и милую, ласковую и беззащитную. Есть свидетельства, по которым еще в XIII веке монахи стародавних монастырей опускали за их стены специальные корзинки, сплетенные из ивняка, для того, чтобы бедные, несчастные, страдающие матери могли положить туда свое дитя, которое они не могут спасти от голода, нищеты даже ценой собственной жизни.

Но вернемся в наш век из века XIII.

В горестный, полный трагизма век.

Вернемся к себе домой и мысленным взором окинем нашу собственную историю. Гражданская война, ее горький, но, в общем, понятный итог — сотни тысяч беспризорных, ни в чем не повинных детей, наследство кровавого людского водоворота, решительной социальной ломки, в которой сын поднимал руку на отца и брат на брата.

У истории поступь не бывает легкой. У истории — жесткая поступь. Но ведь иногда эта жесткость объяснима. Наивно полагать, что борьба миров может оказаться бескровной. И в этой кровавой воронке оказываются дети, ничего не понимающие, ни во что не замешанные.

Ленин хорошо понимал эту невинную вину революции. О детях — страдающих, голодающих, приносимых в жертву — он спрашивал у всех, кто приходил к нему в Кремль из разных углов великой страны с неистовым упрямством и одержимостью. Посылки с харчами и даже целые эшелоны, направляемые лично вождю, он без раздумий отправлял детским домам. Его вопрос — как дети? — рефреном звучал во всех его выступлениях, а если где не звучал впрямую, то подразумевался, имелся в виду. Все, что делала революция, творилось во имя детей, во имя будущего. Это будущее сберегалось изо всех сил. Однако трагическое настоящее состояние дет-

ства не просто волновало, а подвигало к действиям на уровне самых чрезвычайных государственных мер.

Детским домам отданы бывшие дворянские усадьбы, лучшие дворцы, детям отдается лучший кусок хлеба. Любопытны распоряжения той поры, связанные с едой для детей. Каждому ребенку полагался мед. Мед! Это в пору неразберихи, отсутствия связи, медленных железнодорожных скоростей, отсутствия снабженческой структуры! И дети получали мед. Каждый в обязательном порядке. По декрету Ленина создаются первые государственные органы, цель которых спасти и защитить детство. Год интенсивной работы дает, однако, отрицательный результат. Положение вещей в корне не изменилось. Дети по-прежнему бедствуют. Усилия наркома просвещения явно недостаточны, его авторитет не имеет чрезвычайного характера и наивысших полномочий.

Из сумятицы забот, из кровавой бойни с контрой выступает великий детолюбец, человек, мечтавший стать когда-то учителем — Феликс Дзержинский. Он предлагает себя в качестве лидера. Без ложной скромности предлагает. Без мнимого стыда, которым бы нынешние нравственники смогли попрекнуть всякого, кто согласился на подобный поступок.

Детство, его спасение берет на себя Всероссийская Чрезвычайная Комиссия. Вдумаемся в смысл этих слов. Чрезвычайная! Комиссия! Тем, кто борется с разрухой, контрреволюцией, неполадками на транспорте и в снабжении, дается обязанность: в этот суровый ряд необходимых задач, да к тому же на первое место, поставить сиротство, одиноких детей.

Чрезвычайная комиссия справилась с задачей. Детские дома, созданные после гражданской войны, воспитали целые плеяды полноценных граждан Отечества, истинных борцов и патриотов, многие из которых легли на поле брани тяжкой Отечественной войны.

Но история не терпит провалов, она не допускает образования ниш, в которых кроется нечто не доступное счастливым воспоминаниям. Заметим тем не менее, что ниши были. Одна из них — специальные детские дома для детей граждан, репрессированных в 1937 и иных годах.

История детских домов — отражение горестной части нашей общей истории. Да, в 1937 году, когда в народном сознании уже крепко засел образ вождя со счастливой пионеркой на руках, собравшей для Родины

рекордное количество хлопка, когда создание культа вторглось уже и в такую сферу, как отношение к детству, безусловно, в высшей мере отеческое, заботное, — в эту пору за этими радостными картинками, за спиной этих картинок спешным, срочным порядком искусственно формировались гнойные аппендиксы тогдашнего детства — неплохо меблированные дома, куда сбрасывался человеческий материал по имени «дети».

Этим детям внушали превосходную истину — сын не отвечает за отца.

Что это было? Вновь неумолимая жестокость социальной битвы? Нет. Исторический казус, укрепление единоличной власти, вознесенной в богоподобие, и надчеловечность не считались ни с чем — ни с жизнью, ни с детством, жизнью, только начинающейся.

Мне кажется, именно в этих детских домах, в самом факте их возникновения, в том обстоятельстве, что детей мнимых предателей и врагов склоняли так или иначе к мысли об отказе от собственного отца и собственной матери, подвигали к предательству, — само это положение, возможность этого чудовищного попрания элементарной истины — самый тяжкий, самый непомерный обвинительный аргумент против сталинского культа, самое тяжкое его последствие.

Повествование Ирины Черваковой «Кров», первоначально опубликованное «Новым миром», впервые в нашей документалистике обращается к горестным страницам сиротства 30-х годов. Казалось бы, фактура, которой располагает литератор, больше пригодна для художественного повествования, стоит лишь осмыслить материал. Но мы должны сказать спасибо Черваковой за уход от этого искушения, ибо факты, цитаты, имена, которыми она оперирует, на которые ссылается, потрясают больше, чем художественная литература. Сила и страстность этой книги — в невыдумке, в том, что нам в руки попадает свидетельство, тяжелое, как всякая правда.

Ирина Червакова знает свою тему не понаслышке. Несколько лет она работала директором интерната, правда, это были 60-е годы. Однако 60-е, да еще на сибирском Севере, в Норильске, — это, оказывается, совсем недалеко от 30-х, роковых. Еще живы свидетели, участники, очевидцы, еще не истлели документы и частные письма людей не сожжены в печках от простой их ненужности.

Ирина Червакова пишет про себя, про своих детей, про горести свои и радости, про «мелочи жизни», про борения в педагогической среде, где так силен еще взрослый волюнтаризм, жива еще самая тяжкая правда —правда взрослой силы, перед которой бессилен ребенок.

60-е в Сибири ознаменовались событиями строительного размаха, казалось, земля стронулась с места и нечто невероятное творится возле будущих плотин, невероятное не только в материальном, техническом, инженерном смысле, но и в смысле человеческом, ведь в этом людском клубке, предполагалось, созидается новая мораль и возрождаются новые люди.

Ирина Червакова не только участница, но созидательница тех событий. В свое время известный публицист Клара Скопина посвятила ей огромный очерк, опубликованный в «Комсомольской правде» и вошедший потом во многие книги Скопиной. Со страниц того запомнившегося очерка, — а это, мне думается, сторонняя и более точная оценка личности Ирины Черваковой, в сравнении с той, какую может дать она сама в собственном сочинении, — она выступает как подлинный патриот и подвижница. Вместе со своими воспитанниками, не желая бросать их и прекрасно понимая, как еще слабы они, как не уверены в себе, как нуждаются в помощи старшего друга, — ведь у них нет родителей! — Ирина Червакова идет с выпускниками своего интерната на стройку, помогает им обрести уверенность в жизни, получить профессию, построить семью.

«Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонений, во дни раскаяний, волнений: ты в день печали был мне дан...»

Вспоминая в горький миг эту строчку великого поэта, она как бы задается вопросом: каков же талисман ее судьбы? В чем ее удача?

Книга, весь ее дух и строй отвечает: талисман этот в умении пожертвовать собой, чтобы помочь беспомощным.

И еще. Эта жертвенность мыслима лишь при одном условии — если она ценится в мире, а не спотыкается о жестокость. О жестокость времени или жестокость человека.

Жестокость человека можно одолеть. Но жестокость времени — как одолеть ее?

У каждого времени своя жестокость. Заполняя белые страницы детской истории нашей страны, полезно соединить горечь того послевкусия с нынешними бедами.

Чем сегодняшняя-то жестокость вызвана?

Что движет человеком, совершившим зло, вольно или невольно обращенное против собственного ребенка?

Не укради — внушают ему. А он крадет, наивный, думая, что помогает своему детенышу. А сам ломает его жизнь.

Новое время одарило нас новыми жестокостями — простой человеческой глупости, пьянства, преступности, изувеченной морали, по которой нет цены ничему — ни взрослому, ни детскому.

Книга Ирины Черваковой, как жизнь наша, непростая и непрямая, не дает прямых ответов на непрямые вопросы.

Но она заставляет думать, взывает к состраданию, внушает важную нашим дням истину, что человек должен действовать, как бы ни было горько и трудно, что он может и должен действовать, может и должен помочь слабым.

1988

ГЛАВА

III

Как бы ни была трудна жизнь, какое бы сильное негативное давление не оказывала на каждого из нас, все же человеческое должно оставаться в человеке. Потому мы и люди, потому и живем мы надеждой — а без нее нельзя, что способны противостоять обстоятельствам и остаться людьми... Без личной морали, без собственных установок, которые основаны на морали, выработанной веками человеческой жизни, не может сохраниться человек.

УЦЕНЕННЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ, ИЛИ ПРОБНЫЙ ПОИСК ОБЩЕГО ЗНАМЕНАТЕЛЯ В ПОНИМАНИИ ЖЕНСКОЙ ЧИСТОТЫ

Начну с конца: общего знаменателя не оказалось. Традиционная система ценностей расшатана. Рассудительность, обращение к примерам, угрызения совести, увы, торопливо расступаются перед напором частных потребностей сиюминутного свойства. Самооправдание строится не на знании картины, не на стремлении посмотреть в итог, в конец пути, а на одном лишь сегодняшнем впечатлении, которому придается обобщающее значение.

По сути, речь об эгоизме нового толка — о социальном эгоизме, не несущем ни перед кем и ни перед чем никакой ответственности.

Но пойдем по порядку.

Редакция журнала, посвящающего себя борьбе за здоровье физическое, дала мне письмо юной его читательницы о здоровье, так сказать, душевном, хотя и вполне физическом в то же время, попросив прокомментировать его.

После публикации этого письма и моей статьи редакцию завалили письмами. Меня просили вновь вернуться к теме, но я отказался. Сказанное уже сказано, и я не видел смысла вновь повторяться, да к тому же журнальный объем не смог бы «прожевать» то, что казалось существенным мне при дальнейшем рассуждении на эту, когда-то скользкую, тему.

Теперь скользкость как будто исчезла. На фоне всеобщего правдоподобия многие перестали деликатничать и в сфере самой что ни на есть интимной. Тем более что тема, о которой идет речь, доступна всем и у всякого тут есть свой опыт и своя мораль. Все в этом деле разбираются досконально.

Мне казалось важным не вновь писать об одном и том же, а как бы уйдя в сторону, дать слово тем, кто хотел бы дополнить письмо, мои суждения, поддержать тот или иной взгляд, высказать свой или же вовсе опровергнуть изложенное. Это представлялось мне интересным потому, что почти у каждого оказалась своя система доказательств, своя история, факты, аргументы. Свои, наконец, слова.

Соединенные с первоначальным письмом и моей статьей, состыкованные рядом с ними — но не в хаотическом разбросе, а в определенной, логически обоснованной последовательности, они, мне кажется, дают картину явления, не могущего не волновать. Ведь речь идет о свободе нравов, о телесных радостях, оказавшихся уцененными, о новой форме распутства, хотя и вызывающей тревогу общества, но все же, к сожалению, из периферийных, а не заглавных. Любопытство к клубничке не достигло пока что уровня социальных и нравственных тревог. А жаль.

Отворив ворота откровенности, мы пока не оказались готовы к тому, чтобы во всеоружии знания и понимания проанализировать то, что в эти ворота поперло.

Вот почему я называю свою попытку пробным поиском. Его надо продолжать средствами социологии, статистики, психологии.

Картина, сложившаяся из мнений самых разных лю-

дей, ясное дело, не претендует на полноту. Но она все же очерчивает ареал этой боли. Пусть пунктирно, но очерчивает.

Я предпочел, сказав свое слово, как бы отступить в сторону и предоставить слово разным правдам разных людей, позволив себе лишь дать свои подзаголовки каждому письму — исповеди, обвинению, несогласному крику или псевдофилософскому обоснованию. Меня могут попрекнуть тем, что подзаголовок дает все-таки ту или иную оценку письму. Что ж, я и не скрываю этого. Ведь объективный выбор писем, попытка дать каждому слово в споре вовсе не означает моего — а часто и общественного — согласия с такой точкой зрения. Мы говорим о плюрализме зрения. Мы говорим о плюрализме мнений, об умении выслушать всех и всякого, независимо от уровня его правоты.

Итак, вначале — письмо и мой комментарий, напечатанный в журнале с многомиллионным тиражом.

Далее — разные мнения людей, большинство из которых подписалось именно так — инициалами.

ОТКРОВЕННОЕ ПИСЬМО

Здравствуйте! Я учусь в 10-м классе, в прошлом году я прослушала этот курс этики и психологии семейной жизни и считаю, что это все ни к чему. В свои 15—16 лет мы, школьники, уже знаем больше учителя по этике. Больше половины класса уже живет половой жизнью. Например, я живу половой жизнью с 14 лет и считаю это вполне нормальным явлением. Меня привлекает интимная близость, и я глубоко не согласна, что это результат неразумности, беспечности, моральной незрелости. И, поверьте, так думают многие, даже, можно сказать, большинство. Ведь если так откровенно сказать, никакой любви на самом деле нет, все основано на привычке к человеку и интимной связи.

Я хочу немного написать о себе. Я живу хорошо, у меня почти никогда не бывает проблем, я чувствую себя уверенной в себе, родители меня хорошо обеспечивают, у меня есть золото, дорогие вещи, хорошая квартира. Ежедневно я посещаю кинотеатры, Дом культуры, хожу на танцы. И я хочу сказать, что все юноши и девушки, посещающие танцевальную площадку, вовсе не «маменькины» дочки и сынки, большинство из них после

танцев идут не домой, а, как это у нас называется, «слушать музыку и пить чай». Мы стараемся взять от жизни все. Но кто же может устоять перед ароматом дымящейся сигареты, перед бокалом приятного вина в компании симпатичных парней? Кто предпочтет этому экран телевизора или чтение книги, тот много теряет. Ведь надо торопиться жить, жизнь-то она короткая, нельзя терять время, надо испытать все радости жизни.

И вообще, какой может быть разговор в настоящее время о робости юноши перед девушкой. Какая может быть робость? Сейчас такого парня и не найдешь. Я считаю, что об этой стороне человеческих отношений не стоит писать статьи, какой, например, является статья «На пределе откровенности». Ведь мы, современная молодежь, лучше знаем все о себе, а то, что пишут об этом в ваших статьях, все ерунда, ведь половая близость — это потребность, это лучшая сторона нашей жизни. Ну вот пока и все. Хотелось бы еще многое сказать, но некогда. До свидания.

Ваша постоянная читательница.

Татьяна С.,
г. Красный Кут Саратовской обл.

НАЧИНАЮЩАЯ

Печать перестала сторониться сверхострых тем, обходить опасные углы. Гласность повлекла за собой ответную откровенность. То, о чем прежде предпочитали помалкивать, теперь оказалось предметом пристального интереса.

В том числе и грязное белье.

Что делать? Выбросить такое письмо в корзину? Чертыхнуться, обругав скопом всю молодежь?

Или засучить рукава и попробовать простирнуть грязное бельишко?

Что ж, теперь у нас в стране время большой стирки — возьмемся и мы. При этом местоимение множественного числа я отношу не к стороннему сверхуважению своей персоны. Нет, мы — это мы. И женщины, прежде всего женщины, — прабабушки, бабушки, матери, к вам раньше других обращаю я свое сознание. Обижайтесь, не обижайтесь, а это нам с вами прежде всего надо заняться большой стиркой в мозгах ваших правнучек, внучек и дочерей.

Нам — это культуре, идеологии и вам, женщинам, потому как за душевный мир молоденькой вашей девочки кому еще ответить, ежели не вам? Мужчина ли, парень ли, слов нет, в интимных связях иных наших современниц — фигура не свидетельствующая, но участвующая. И от своей доли греха его не отмыть. Но я все же о мировоззрении женском, потому как женщина, только женщина, одна лишь женщина в силах растолковать иной юной женщине, нормы и ценности ее, женщины, интимного мира.

По стечению обстоятельств героиню этой исповеди зовут Татьяной. И я думаю: бедный Пушкин! Почти полтора века его Татьяна наполняла души русских женщин идеальными представлениями о девичьей гордости и чистоте. И вот новая Татьяна новых времен. До чего же мы дошли!

Впрочем, не хватит ли причитать? Да и что там гордость, чистота, когда нынешняя молодайка — слова-то подходящего не нахожу, кто она: девушка? женщина? — торопится «взять у жизни» максимум желанных удовольствий.

Это словечко — взять — увы, буйной крапивой разрослось в жизни Татьяны С. «У меня есть золото, дорогие вещи, хорошая квартира», — пишет она, и в этот миг на ее узком лобике нет и тени сомнения. Да полно, у тебя ли все это есть? Это дали тебе родители, и ты пользуешься всеми этими причиндалами благополучия, пока есть твои близкие. Что дальше? Когда пооботрет тебя жизнь? Когда лобик твой изукрасят морщины? Добро, ты вырвешься с провинциальной танцплощадки, окажешься хитрей жизни, которая достаточно жестока и которая за все мстит, а если — нет? Продашь золото, сдашь в комиссионку дорогие вещи, а далее — что?

Вообще, не скрою, письмо это чисто по-человечески меня бесит. Что я должен сказать этой Татьяне, почему во всей этой грязи надо барахтаться, опускаясь до уровня начинающей кокотки...

Вот-вот, пора уж прямо сказать: да это же, граждане и гражданки, начальная стадия проституции.

Сейчас печать не уклоняется и от этой общественной язвы. Речь, правда, все о больших городах, о меркантильном, денежном промысле с валютными метастазами, и читатели этих сюжетцев ахают и охают в спазмах осуждения.

Но чего охать-то? Или письмо Татьяны из глубины

России, с Саратовщины, для нас откровение? Не знали мы, что творится с нашими девочками? Что творят они с собой? Не ведала школа, как отдыхают ее отличницы и двоечницы из восьмых, девятых и десятых классов в наивных форменных фартучках?

Ведали, ведали строгие классные дамы-нравственницы, ведают сие и учителя, трактующие курс этики и психологии семейной жизни, и директора школ, и заведующие рай-, гор-, облоно ведают и замы министров до министров включительно — все слыхали, если уж и не досконально, но с «проблемой» знакомы. И бездейственны, молчаливы, умышленно отстраненны. Дескать, мол, успеваемость, это — да, профессиональная ориентация — очень важно. Компьютеры — ох, да как же без них?

А вот без морали, выходит, можно. За нее потому что ни с кого спросу нет. И как выяснишь — есть она или нет?

Ну вот, а теперь и пора приспела сказать: увы, увы, Татьяна С. не одинока, и хотя не может быть точной статистики, свидетельствующей распутство, но по косвенным приметам нетрудно догадаться, что цифры ранней любительщины неспелой клубнички ох как немалы!

Итак, проституция. Корыстная торговля женщины своим телом.

Ну а если не торговля? Если просто так? Задарма? Это-то проституция ли?

Вроде нет. Любительщина.

Но если любви не существует в природе, по мнению такой все познавшей любительницы, если все в семейных делах основано на привычке к человеку и интимной связи, если сигарета и бокал вина — это и есть полный кайф, полный отпад, истинное существование, то ежели сей амазонке в жизни ее — нынешней ли, грядущей — понадобится что-нибудь, ну, скажем, поступить в институт, а там, в институте, хорошо сдать экзамен по предмету, который не дается, то ведь ей очень быстро приходит в голову мысль: а что, если... экзамен-то принимает один нестарый доцент.

Или прописка потребовалась, или хочется обнову, а денег нет, но зато есть денежный мужичок за стенкой. И при всем при этом пареньки крутятся возле, крепкие собой, или же некрепкие, но интересные, музыкально развитые — и пошло, поехало, хотя об этом ей, Татьяне, невдомек, она радуется жизни, порхает как моты-

лек, проституткой себя не считает, наивная душа, а сама уже там, в «деле».

Я уверен, что к промыслам этим, к этой профессии специально, с умыслом, себя не готовят. Эта профессия, этот промысел сами овладевают женщиной.

Лень учиться, лень вкалывать, потом вдруг выясняется, что можно быть на своем месте в жизни благодаря лишь данному природой, и все остальное вообще уплывает в сторону, а когда сверстницы ушли вперед, обогнав тебя, начинается объяснимая суета — что делать, как жить? — и вот опять выручает данное от рождения — уже как работа, как профессия.

Теперь два слова о том, что такое удовольствие.

Удовольствие ли секс, интимная жизнь?

Ханжество всегда было бессмысленно. Интимная жизнь — важная часть человеческого. Не зря есть поговорка: ничто человеческое мне не чуждо, и права наша юная провинциалка: интимная близость — это потребность, лучшая сторона нашей жизни.

Важнейшая ли — это, конечно, вопрос. Многие люди не реализуются в интимной жизни, реализуются в чем-то ином, общественно более важном, однако в такой однобокости нельзя не увидеть ущербность. Иногда очень заметную.

Одним словом, это плохо.

Но точно так же, даже еще хуже, драматичнее, ущербность другого толка: человек реализовался в интимной жизни, удовлетворяет свои потребности, достиг своеобразного успеха, а вот во всем остальном он — неудачник.

Худо и то, и другое.

И вся суть наша людская в поиске гармонии. В том, чтобы, достигая интимных радостей, не забывать обо всех других огромных человеческих интересах.

Если же все остальное застят потребности интимного свойства, дело худо.

Вот я сказал, что не вижу большой разницы между профессиональной проституцией и любительщиной, коллекционированием удовольствий и партнеров.

Когда-то этим кичились парни, теперь они, кажется, приумолкли и тем же самым джентльменским набором, наоборот, гордятся девицы.

Однако речь не только о дешевизне удовольствий, но и о комиссионной уценке своего будущего. Можно и сохраниться от профессионализма в деле самоторговли.

Однако, вряд ли удержишься от грядущих «левых» соблазнов. А это значит, женщина обрекает себя на бессемейщину.

Я не представляю себе семью, где мужчина готов прощать жене ее бесконечные прегрешения интимного свойства, которые возросли из ее девических, так сказать, привычек.

Такая будет ходить по кругу. Даже приутихнув, утопив свое прошлое в омуте выдуманных для мужа россказней, рано или поздно так или иначе женщина обречет себя.

Раньше мы рядили так, что главный виновник всех бед распутный мужчина, потребляющий удовольствия. Времена меняются. Теперь все чаще потребляющим началом становится женщина. Переменились роли. Предмет интереса теперь парень. Охота идет на него. Хотя, впрочем, это лишь одна из тенденций в море людских страстей, всегда полном самых удивительных и различных вариантов, и я не претендую на однозначность суждения.

Начинающую провинциалку Танечку мне бесконечно жаль — таков, пожалуй, общий итог. С ранних лет осознав ценность золота и благополучия, изучив возможности интимных связей, она не обогатилась самым главным — смыслом жизни.

Для чего она живет — лишь для этого? Ведь ее интересы отрицают даже телевидение, эту духовную жвачку, не говоря уж о книге. Главный диагноз морального нездоровья Танечки — бездуховность. Торопиться жить в ее понятии — торопиться испытать как можно больше острых ощущений. И это — все.

Ну а дальше?

Ее психология такова: а дальше как получится, жить интересно только в молодости, пока все свежо, старость не обещает радостей, и зачем откладывать на потом то, что можно получить немедля.

Ей, конечно, невдомек, что человеческая жизнь неразделима и что в старости тоже бывают свои страсти, часто, очень часто прорастающие из юных дней.

Ну что ж, дорогие женщины — прабабушки, бабушки, матери, не пора ли и впрямь взяться за самую серьезную стирку в нашей общей жизни? Не пора ли вспомнить о душах наших дочерей, внучек и правнучек?

Мы сейчас сильно разворчались — под знаком глас-

ности. И то было не так, и се. Ну а мораль юных дев, кодекс их чести — это тоже дело правительств?

Конечно, конечно, их тоже. Но все-таки, прежде всего, мы сами, мы, отцы, и мы, матери, подруги, кумушки! Это ж чего нам грядет нашей же душевной ленью взращенное? Моральный Апокалипсис! Полный моральный распад! Конец света, когда девушки, носительницы материнства, изведут свой дух и свою плоть в мнимых радостях случайных связей. А ведь есть, есть уже приметы этого конца. И чем же, как не концом, не пределом человеческого бесчестья можно наречь предавшее себя материнство, итоги которого не раз видывал я в Домах ребенка, детских домах и всяческих учреждениях для детей-инвалидов.

Изуродованная, преданная, оболганная безвинно детская плоть взирает не на матерей своих — их она не знает, а на нас с вами, старшие, воспитатели, учителя, матери, отцы и бабки, на нас, нравственных и безморальных. Где вы были, вопрошают они, как вы такое допустили?

Чем мы с вами ответим им, этим детям, рожденным, и тем, нерожденным, но возможным, да вытравленным из себя лжематерями, которые полагали, что главное для них — их личное удовольствие?

Как мужчина, добавлю прописное: сладок плод лишь запретный.

Доступное ценится дешево.

«У ВАС УСТАРЕВШИЕ ВЗГЛЯДЫ, НЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У МОИХ РОДИТЕЛЕЙ»

(Гнев сторонницы)

Только что я прочитала статью и сразу, не раздумывая, взяла листок и ручку. Но открываться Вам так, как раскрылась Татьяна С., я не собираюсь, потому что я поняла, кто Вы и что Вы! Писать я не умею, никогда не писала в такие заведения типа вашего. Я всего лишь учащаяся СПТУ. Живу в простой семье, не так уж здорово обеспечена, как Таня, по крайней мере на жизнь хватает.

С кем Вы сравнили эту девушку, с Татьяной А. С. Пушкина.

Вы хоть сами подумали, что делаете? У вас устарев-

шие взгляды, не лучше, чем у моих родителей, которые кое в чем Вас поддерживают, но, учтите, не во многом.

Я вполне понимаю девушку, большинство людей, которых я знаю, с 13—14 лет уже живут половой жизнью, и считаю, что в этом нет ничего трагического. Зачем вы своей статьей так опозорили ее. Она просто хотела откровенно высказать свое мнение.

Что касается проституции, то она здесь не уместна. Каждая девушка, будь она девочкой или женщиной, в глубине души не согласна с Вами. Она будет просто думать про себя или выражать свои мысли вслух, если есть кому, что не часто бывает.

Я бы на ее месте приехала к Вам, из-под земли достала и поговорила, вернее, высказала все то, что нагорело. У меня просто душа болит за эту девушку.

Не надо писать такую нелепость, подчеркивая этим то, что всякие разные доценты и профессора, ученые люди в этой области науки не знают проблем молодежи. Они знают все это теоретически. А их молодость прошла вскользь или вообще не затронула их.

Вы эту статью могли написать лет так 30 назад. Опоздали! Этой статьей Вы показали свою безграмотность и нежелание понять нас. Вы стоите на своем мнении. Нельзя на основе письма Тани сделать о ней поспешные выводы.

Этой статьей вы отвернули молодежь. Подумайте о дальнейшей работе. Вы загубили откровение молодых людей. Я считаю, что большая часть юношей и девушек перестанет с Вами общаться. Так как Вы не желаете понимать молодежь. У нас нет одного языка. Вы только бросаетесь громкими словами. Может, вам и будут писать *ФАЛЬШЬ,* вы будете верить и понимать их.

Ну что ж, дальнейших успехов.

Анжелика С.

«ИНСТИНКТ ЖИВОТНОГО ВЫШЕ, ЧЕМ ТВОЙ»

(О разных ценностях веселья)

Таня, я не намного тебя старше. Мне всего 24 года. Я просто расскажу тебе о себе. Я коренная москвичка с веселым общительным характером. Очень люблю праздники, шумные (в хорошем смысле) компании, люблю танцы, дискотеки, кино. В общем, в свои 15—16 лет я была (да и сейчас остаюсь) почти такая же, как ты.

Но между нами есть одно, наверное, очень сильное отличие. Я вообще не могу представить себе интимной близости с кем-то другим, кроме одного того человека, которого ты выбрала себе на всю жизнь. Да и вообще близость с 14 лет?! Конечно, в это время и я влюблялась, встречалась, бегала на свидания к ребятам, но не то что интимную близость, поцеловать, обнять себя никому не позволяла и жила от этого ничуть не хуже. Жила так до 18 лет, пока не встретила своего будущего мужа. Ты пишешь, что сейчас у юношей перед девушками никакой робости. Не знаю! Но если это так, то в этом повинна ты и такие, как ты. Мне жаль тебя. Ты никогда в жизни не испытаешь нежное прикосновение, такое робкое и такое нерешительное, человека, которого, может быть, сама полюбишь. Ты пишешь, что любви нет, и ты глубоко ошибаешься.

Любовь и только любовь должна стать причиной интимной близости, а следствием ее должны быть дети, дети, нужные тебе и ему, дети, рожденные на радость вам, на счастье. Ты стараешься взять от жизни все, да, ты возьмешь, пока молода, а что потом? Уже к 30 годам ты растратишь себя, у тебя не останется в жизни ничего, даже воспоминаний. А я до сих пор помню первое прикосновение к руке, первый поцелуй и первую ночь, ночь после свадьбы, хотя встречались мы почти два года. И я не думаю, что тебе потом захочется вспомнить, как в 14 лет «под аромат дымящейся сигареты и под бокал приятного вина» твои «симпатичные парни» нагло, без робости, без благоговейной нерешительности тащат тебя в постель.

Одумайся, кому ты будешь нужна потом, ведь молодость пройдет, а взамен тебе оставит в лучшем случае душевную пустоту, пресыщение интимной жизнью, в худшем — тяжелые болезни и бездетность.

Ты пишешь, что ты всем обеспечена, тебе хорошо и легко живется, у тебя нет проблем.

У меня проблем хватает, кинотеатры и другие развлекательные учреждения я давно не посещала. Ведь у меня двое детей, дом, семья. Конечно, моя жизнь много тяжелее, чем та «сладкая», которую описывает Таня. Готовка, уборка, стирка, да еще пеленки и бессонные ночи. Но когда, намаявшись за день, мы с мужем подходим к кроваткам наших спящих детей, просто смотрим на них: безмятежно раскинувшуюся во сне старшую и маленький запеленутый комочек, за такие мгновенья

можно отдать все те глупые, бездумные радости, о которых пишет Татьяна.

И еще об одном хотелось бы написать. Я не понимаю, куда у наших девушек, таких, как Таня, девается девичья стыдливость. Куда? Ведь это именно женское, девичье чувство, в нем вся прелесть, обаяние юной девушки. Причем чувство это настолько устойчивое, что еще некоторое время после того, как я вышла замуж, я испытывала стеснение перед мужем. И думаю, даже уверена, что не одна я такая. Окончательно это чувство прошло только после рождения первого ребенка. И оно не мешало нашим отношениям, даже наоборот. С какой нежностью сейчас я вспоминаю, как постепенно, осторожно, боясь ненароком обидеть, оскорбить во мне этого чувства, приучал он меня к себе, приучал уже свою жену.

Таня, ты пишешь, что половая жизнь — это потребность. Да, это так. Но эта потребность есть и у кошки, и у собаки и других животных.

Человеческая потребность и отличается тем, что она не причина любви, а ее следствие. Ведь, если ты идешь «слушать музыку и пить чай» с человеком, которого не любишь, точнее, к которому не испытываешь такого чувства, идешь только из-за того, чтобы несколько минут находиться в состоянии приятного ощущения, то это уже не человеческая близость, а инстинкт животного. Да и то, инстинкт животного выше, чем твой. Он направлен на продолжение рода. После «близости» у животных появится потомство. А что останется после близости у тебя, Таня, ты думала об этом?

Марина Г.,
Москва.

«НАДОЕЛО ТИХО ЖИТЬ!!!»

(Вопль жаждущей бурь)

Прочитав статью «Начинающая» и письмо девушки, я с ней глубоко согласилась.

Мне 15 лет. Меня тоже зовут Татьяна С. и мне надоело быть скромной. На нас парни даже не смотрят.

Спасибо ей, дала совет.

Да, у меня тоже есть золото и шмотки, но такого

счастья у меня нет. Мне все советуют. Все, это мои подруги и друзья. И я буду так делать. Надоело жить тихо!!!

Одесса

«ЧТО СТАЛО С ТЕМИ...»

(О том, как меняются ценности)

Прочитала письмо Тани С. и не могу не откликнуться.

Горько и страшно за этого человека. Милая девочка, я всего на три года старше тебя, и пусть ты не воспримешь мое письмо как упрек «старого поколения» — не намного я «старее» тебя.

Ты пишешь, что живешь хорошо — у тебя нет проблем, есть золото, дорогие вещи, хорошая квартира и «интересные компании»... И все? У меня много проблем, из золота всего обручальное кольцо и серьги, которые родители подарили, квартиру мы получили недостроенную, и все делаем сами, у меня не было «интересных компаний», но жизнь у меня интересней.

Я отдала своему мужу свою чистоту, а что отдашь своему ты? Когда я училась в школе, у нас тоже были такие современные девочки. И мы оставались в их тени. Горько переживали, что все внимание им, что за ними ходит много ребят, а мы всегда в стороне. Мы не были «заморышами». Просто ребятам в то время было с нами неинтересно. Что они могли взять от нас? А те были ярче, доступнее, развязней.

Прошло немного лет, и что же сейчас? У меня есть муж и сын, у моей подруги (которая тогда тоже была в тени) муж и две дочери. А знаешь, что стало с теми, «яркими». Две совсем одиноки, так, перебиваются случайными связями, еще одна родила дочь, но даже сама не знает, кто ее отец (смешно? а по-моему, горький этот смех), вторая выходила замуж, но разошлась и ведет вольную жизнь. Как ты думаешь, они счастливы? Любая из них отдаст всю свою свободу за спокойную семейную жизнь. Это не моя выдумка, это их слова.

Пройдет совсем немного времени, и ты поймешь, как мелко разменялась ты в юности, как несмываемо запятнала себя.

Ты пишешь: нет любви. Я не буду ставить себя в пример — моя любовь подвергалась проверке пока только мелкими семейными неурядицами.

Я напишу тебе об одной женщине, которая живет здесь.

У нее муж и двое детей. Муж зимой попал в аварию и повредил позвоночник и на несколько лет стал недвижим. Так вот, если нет любви, как оценить тогда то, что эти годы до его смерти она самоотверженно ухаживала за ним, ни словом не попрекнув за прошлую, отнюдь не сладкую жизнь.

Если ты пишешь, что семейная жизнь основана лишь на привычке и интимной близости, то на чем была основана ее жизнь? Ведь интимной близости она от него эти годы не получала. Это не история, где было много примеров настоящей любви, это наши дни. И мне очень жаль тебя, ведь ты вряд ли переживешь настоящую любовь — у тебя все сводится к постели. Это похоже на животный инстинкт: появилась потребность — ты ее можешь удовлетворить в любой момент, особо не разбираясь, где и с кем. И после этого ты расписываешься за всех нас. Поверь, нас, чистых, гораздо больше, чем вас — молодых, красивых, но уже вываляпных в грязи. И никакое золото, никакая мишура и шмотки не затмят своим блеском твою душевную грязь.

Каждый мужчина мечтает, чтобы его будущая жена подарила ему чистоту, не испоганенную чужими руками. А что подаришь своему мужу ты? За что он будет тебя благодарить? За твою коллекцию партнеров? За то, что до него тебя таскали и валяли (я не боюсь этих грубых слов) все, кто мало-мальски смазлив внешне, прикрыт модными тряпками и может предложить тебе ароматную сигарету и бокал вина? Дешево же ты себя ценишь! И не только себя. Вы своим поведением ставите пятно на всех нас. А потом еще требуете джентльменского к себе отношения. За что? За что вас уважать, ценить? Ценить они, даже те, кто сейчас с тобой, будут именно тех недотрог, тех, кто сейчас в тени, кого такие, как вы, затмили блеском своей мишуры.

Оглянись вокруг. Что пополняет твою жизнь? «Слушанье музыки и питье чая», танцы, дым сигарет и дурман вина? И ты хочешь доказать нам, что это хорошая, интересная жизнь? Вряд ли кто согласится с тобой.

Знаешь, почему ты написала это письмо? Ты еще этого прямо не осознаешь, но тебе уже страшно. Ты, убеждая нас, что тебе хорошо живется, стараешься убедить в этом себя. Но поверь, скоро эта пелена спадет

с твоих глаз, и ты сама поймешь, на что ты разменялась, чему отдала предпочтение.

Поговори с теми, кто вокруг тебя — не твои сопостельщики, а те, незаметные. Ты поймешь, насколько интересней, полней их жизнь.

Я живу интимной жизнью с 19 лет, со дня своей свадьбы. Это было ново для меня. Даже еще сейчас мы с мужем испытываем что-то новое, волнующее во время близости.

Что узнаешь ты к 19 годам? А к 25? Поверь — ничего, кроме разочарования, что все тобой уже испытано в 16—17 лет. И в поисках «нового», которое для тебя уже недосягаемо даже сейчас, ты не сможешь жить с одним человеком, ты будешь постоянно их менять. И поверь, если ты не остановишься, тебе не узнать такого счастья, как благодарность мужа в первую ночь, трогательная забота его во время беременности, как нежно они беспокоятся за нас в это время. Например, мне очень хотелось тогда зимой апельсинов — и он специально ездил за город за 300 километров, чтобы на базаре купить их.

Кто будет для тебя твой ребенок, если он будет? Обузой, помехой в любовных утехах? Вряд ли ты узнаешь, как это прекрасно купать его вместе с любимым, ухаживать за ним, с каждым днем замечать что-то новое, видеть, как нежно относится он к малышу и к тебе.

Неужели ты хочешь убедить нас, что эта жизнь хуже, неинтересней твоей. Вряд ли кто согласится с тобой. Я от всей души прошу тебя — остановись, пока еще не поздно.

Елена Смирнова

«СЛИШКОМ ВЪЕЛАСЬ В МЕНЯ ЭТА МОРАЛЬ»

(Как человек дрогнул, позавидовав)

У меня вопрос к Альберту Лиханову. Чему Вы, дорогой товарищ, детишек учите? Прописным истинам, как жизнь себе исковеркать? По этим истинам я жила — поверила всему, чего говорили в школе на уроках литературы и дома мама с папой, и еще бабушка.

И к чему пришла? Двадцать восемь лет, а моя, с позволения сказать, девичья честь и гордость никому не нужна. Подруги-одноклассницы? По-разному. Кто воспитан подобно мне, для кого запросто лечь в постель с

красивым парнем — пардон, «вести половую жизнь», дико, — с теми мы встречаемся. Ведем интеллектуальные беседы. Ходим в театр. Обсуждаем книги, спектакли. Времени на это хватает. Заботиться ведь не о ком — ни детей, ни мужа. Другие подруги, с ними встречаемся редко, нам стыдно, они поглядывают на нас с превосходством — катят перед собой детские коляски, хотя одна обожала ходить в рестораны за чужой счет — буде возможно — без расплаты, не получилось, что делать, от нас не убудет. Другая «чтоб убрать чувство неполноценности» — ее считали некрасивой, рассказывала детали, которых придумать невозможно, об отношениях с людьми на семь лет старше или моложе.

У меня был в моей жизни хороший человек. Он мне нравился. Я ему, пожалуй, тоже. Только он не понимал, почему я, без позы — деликатно, но твердо отказывала ему в том, чего он от меня требовал. Не вышло на третий вечер нашего знакомства — значит, я должна согласиться на четвертый, седьмой, десятый. Иногда со злости я говорила: «Нужно тебе сразу только это — можешь найти в любом другом месте». — «Правда, — задумчиво соглашался он, — купил торт да бутылку сладкого — и все...»

Однако к концу первого месяца нашего знакомства ему это надоело. Нет, я его ни в чем не виню. С ним было очень интересно говорить, не задавался ни своей эрудицией, ни остроумием. Он и не был ни эрудитом, ни остряком, хотя много знал, имел чувство юмора. Он даже не просто много знал — он много думал, анализировал. Но до одного додуматься не мог — чего мне надо, почему я не хочу так, как нормальные люди.

Единственное, что мне обидно вспоминать, его равнодушный вопрос вскользь: «Может, ты фригидная?» Как я ему доказала бы, что это неправда! Что я могу горячо чувствовать, любить! Что меня удерживает? Да Ваша исконная мудрость — «доступное ценится дешево».

Люби, Таня, пока есть возможность, не забивай свой узкий лобик дурацкими мыслями и идеями. Когда они станут общим достоянием, ты уже станешь старой девой, и твоя добродетель будет никому не нужна. Впрочем, тебе это не грозит...

А мне уже поздно. Дело не в возрасте. Мне и восемь лет назад было поздно. Слишком въелась в меня эта мораль — грязно, гадко, некрасиво...

А другие — живут, и мужья их любят, и детей они ласкают, а кто бы знал, как я люблю детей-то...

А шагнуть не могу, и было бы мне двадцать, не смогла бы тоже. Как представлю их естественно ожидающую усмешку: ну конечно же, уступит, что тут такого? Раньше так закурить просили, или соль передать, или три копейки взаймы...

Конечно, не подписываюсь. Было бы куда более странно, если бы подписалась.

Т. М.

«НЕ РАЗ ПОЖАЛЕЕШЬ О СВОИХ ВЕСЕЛЫХ ДНЯХ...»

(Исповедь вернувшейся из ада)

Это было почти 15 лет назад. Давно, мне было тогда 16. Смысл жизни, про который пишет Татьяна, то есть вино, сигарета, половая близость, для меня было понятием доступным, короче говоря, я сама была такая же, как ты, — Татьяна. И мысли были такие же. Шли годы. Моим «радостям жизни» пришел конец. Я кончила 10-й класс, почти нигде не работала, жила тогда в деревне, и работа в колхозе меня не прельщала, учиться не хотела, через два года устроилась на почту, вернее, устроила мама. Работать не хотелось, а начальник почты был холостой мужчина, вступила с ним в связь — и пошло, поехало. Сколько их у меня было, сама не знаю. Так прошло еще три года. Кончилось это тем, что я заболела сифилисом. Лечиться не хотела, у меня за это время было шесть беременностей, первый аборт и остальные выкидыши. При последнем выкидыше чуть не умерла, больше полгода лежала в больнице, в Москве, потом три месяца в венерическом диспансере. Познакомилась с врачом, к сожалению, ничего не знаю о ней сейчас. Павловой Ниной Алексеевной. Вот она-то мне и вложила ума.

Поняла немного я, в чем смысл жизни, да поздно уже было. Стала я не женщиной и совсем уже не девушкой, а пустой оболочкой. Нет ни компаний, ни друзей. Уехала я в Калужскую область, сначала хотела начать жизнь, да не вышло. Мало кто на меня внимание обращал, вся моя красота поблекла со случайными встречными. Ну а прежним своим женихам я совсем не нужна, я у них была для счету, как они говорили. А про детей

мне уж и не думать, не могла я их иметь. С какой завистью я смотрела на мам, гуляющих с колясками.

И сама пошла работать в роддом. Видела я радость мам, видела и тех, кому дети не нужны были. Оставляли их. Не верите, плохо мне было, когда очередная мама, бросив свидетельство о рождении, ушла, вот тогда-то и поняла я, что в молодости я не брала у жизни все, я ей все отдала.

Вышла я замуж, хороший человек был, ни единым словом не попрекнул, о прошлом не вспоминал. Одна беда была — нет ребенка. Лечилась я, не помогло. Располнела, что страшно смотреть стало. Безнадежно все. С горя чуть руки на себя не наложила, пить начала, хорошо, люди помогли. И решила: возьму ребеночка прямо из роддома, и взяла. Катюшку, пятидневную. Мама родная бросила, даже не взглянула и не спросила кто.

Спасибо всем, кто помог мне. Катюшке скоро годик. И в семье у нас лад. Мне уже 30, а я только поняла сейчас смысл жизни и счастье семейное и материнское. Вы извините, может, нескладно написала, в школе-то я не учебой занималась. Да об этом я спокойно и говорить-то не могу, не только писать. И в конце хочу сказать Татьяне. Ты еще девочка, ребенок, неужели и правда думаешь, что в бокале вина, в сигарете, в половой близости случайной — твое счастье, твоя жизнь. Ты думаешь, что ты берешь у жизни все? Нет! Ты отдаешь ей все — молодость, красоту, здоровье и всю себя. Ты поймешь это, и чем раньше, тем лучше. Ведь всему будет конец, и ох как горько тебе будет, вспомнишь, не раз пожалеешь о своих якобы веселых днях.

Извините, не могу больше писать. Хотелось только, чтобы напечатали вы мое письмо, прочитала бы Татьяна, может, ума бы прибавилось, ведь мое прошлое — это ее настоящее.

До свидания *В. С.*

«ЗАМУЖ ВЫСКОЧИТЬ ЕЩЕ УСПЕЮ!»

(Аргументы в пользу свобод)

...Знаю, что письмо мое напечатать вы никогда не решитесь, хоть и пишете, что перестали сторониться сверхострых тем. Меня возмутила статья А. Лиханова, какое право имеет он называть девушку начинающей проституткой; что он, немолодой уже человек, может

знать о нас, как может он понять мысли и чувства молодежи. Почему с такой уверенностью он пишет, что мы бездуховны, что не имеем цели в жизни, не знаем ее смысла? Читая статью, можно подумать, что это пишет безгрешный человек.

Конечно, во многом не права и Татьяна — особенно в том, что отрицает телевизор, книги; но с основным в ее письме — с мнением о необходимости ведения половой жизни, я согласна.

Хочу написать о себе — хотя и уверена, что и мое письмо вы, не задумываясь, назовете «грязным бельишком». Нет, я не начала половую жизнь, как Татьяна, в 14 лет. Впервые я «отведала» интимной близости лишь в конце 10-го класса, когда мне уже исполнилось 16, и то произошло это вопреки моему желанию. Но позднее мне понравилось, появилось стремление «бывать» с парнями. Все мои знакомые неизменно старше меня как минимум на 2—3 года, есть и постарше. Взрослые считают, что к таким девушкам, как я, парни относятся пренебрежительно (так, на один вечер), но я с ними не согласна. Наоборот, многие из моих бывших «знакомых» стремятся продолжить со мной контакт, даже предлагают выйти замуж.

Правда, я не отношусь серьезно к таким предложениям — замуж выскочить еще успею, а пока надо испытать все радости жизни. Автор статьи пишет, что теперь уже девушки, а не парни гордятся своей коллекцией половых связей. Это мог написать только человек, совершенно не знакомый с современной молодежью.

Лично для него хочу описать, как к этому вопросу относятся у нас в компании. У меня много друзей среди парней (я предпочитаю мужское общество), почти со всеми из них я уже «была», но каждый вряд ли об этом догадывается. Кроме того, у меня есть «свой» парень, и все окружающие уверены, что я ему не изменяю. Однако я сама рассказываю ему о своих половых связях, и он к этому относится абсолютно спокойно, у него тоже бывают другие девушки. А говорить в компании о своих «контактах» у нас не принято, да и вообще к этому вопросу относятся легко, ничего не усложняя. Можно, сидя в компании, отрыто сказать парню «пойдем», и, хотя все поймут, куда и за чем, это не вызовет ни осуждения, ни удивления. Вы, конечно, представили себе компанию молодых людей-повес: пьяных, с папиросой в руках. А между тем это совсем не так — я лич-

но не курю, не пью ничего, кроме шампанского, и многие знакомые ребята тоже воздерживаются от алкоголя, все они, без исключения, хорошие спортсмены. Мы увлекаемся популярной музыкой, часто вместе сидим по вечерам, слушаем магнитофон, танцуем. Я неплохо, без троек, учусь в школе, теперь буду поступать в педагогический институт, и уверена, что буду хорошим учителем. К тому времени я уже выйду замуж и не «пойду по кругу» (слова из статьи), а буду хорошей, преданной женой. Считаю, что изменяют мужьям только те, кто в юности ничего не испробовал, нам же эти половые контакты уже приелись, и вряд ли кто-то из нас будет плохим супругом.

Письмо получилось сумбурное и неубедительное, но я хочу, чтобы с ним ознакомился Лиханов и понял — мы не проститутки, просто половая жизнь — это одна из форм получения от жизни удовольствий, способ доказать человеку, что в этот момент ты вся принадлежишь только ему: и мыслями и телом.

Света П.
Тульская обл.

«КОГДА ЖЕНЩИНА ПЕРЕСТАЛА ЦЕНИТЬ СЕБЯ»

(Материнские беспокойства о будущем своих детей)

Мне 24 года, замужем я три года, у меня двое детей, пока еще маленьких, одному полтора года, другому два месяца. Смотрю на них и думаю, какими-то они вырастут, думается, все родители думают так же. Сын (старший) — за него как-то не так беспокоишься, а вот дочка. После такого письма становится страшно, господи, да неужели теперь так будет всегда. Когда женщина перестала ценить себя? Ведь испокон веков русские женщины считались эталоном культурного воспитания, эталоном красоты и нежности. И дать бы им прочитать такую писульку этакой распутницы, они бы, наверное, попадали в обморок от ужаса. Да и у меня самой волосы на голове зашевелились! Товарищи! Да что же это такое происходит?! Раньше об этом боялись даже думать, а теперь? Об этом пишут вот такие распущенные девицы, да еще вдобавок и гордятся этим. А мы и ничего сделать не можем. Да задрать юбку и выходить как следует вожжами. Нельзя, скажете, нет, можно и даже нужно. Не знаю, куда смотрят родители этой... уж неужели не догадываются.

Я росла у мамы одна, она одна меня воспитывала, жили мы небогато. И пусть я не была круглой отличницей, зато что «нельзя», а что «можно», я знала хорошо. Одеваться стала хорошо, когда работать пошла.

А эта! Родители освободили ее от всех забот, она, наверное, и не знает, как картошку варить и сколько минут. Зато другое знает больше нашего. Я ненамного старше ее, но в 14 лет у меня и мысли подобной не было, стыдно признаться — в куклы играла, до 16 лет с любимым плюшевым тигренком спала. А она с мужчинами, только не с любимыми.

И пусть эта сопливая не говорит, что любви нет. Вот у такой-то ее и не будет. Никому она сейчас не нужна, а дальше тем больше. То, что ею пользуются парни как средством удовольствия, так что ж, с них спрос маленький. «С мужика, как с гуся вода» — гласит пословица. Они погуляют, погуляют, потешатся такими Танями. А замуж-то возьмут не такую. Любой парень рано или поздно, даже самый гулящий, захочет иметь семью, чтоб была у него жена добрая и преданная. А о таких-то он и думать забудет.

И давно нашему руководящему органу нужно обратить на это внимание. И привлекать за это к ответственности. Это не проституция, это в народе по-другому называется. Вот и в крупных городах, в Москве, например, и в Ленинграде что стало твориться! Понаедут вот такие провинциалочки и распутством занимаются. В одном Ленинграде женских общежитий больше, чем музеев. Вот и «бесятся с жиру». Потому что много слишком стали нашему брату позволять, а надо бы руки подкоротить.

Ну вот и все. Хотелось бы, чтобы мое письмо было опубликовано, пусть знает эта Таня, что не все согласны с ней и ей подобными.

Елена,
Ленинград.

«МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ МОЙ ПРОМЫСЕЛ КАК УГОДНО»

(Панегирик денежным удовольствиям)

Прочла статью А. Лиханова «Начинающая»... и решила выразить свое отношение к ней и к статьям на эту тему вообще. Писатель пишет, что его по-человечески бесит письмо Татьяны С., так вот меня бесит его

статья. Если это вообще можно назвать статьей. Это самая настоящая проповедь. Зачем Вы затрагиваете эту сторону нашей жизни? Зачем все эти исповеди? Вы думаете, они на кого-нибудь подействуют? Я не совсем согласна с Татьяной С., но полностью согласна в том, что не стоит писать этих исповедей. И чтобы уверить вас в этом, немного расскажу о себе.

Я учусь в девятом классе. Очень люблю читать. Люблю читать всё: стихи, прозу, детективы, фантастику и т. д., но особенно уважаю Пушкина. Половой жизнью живу с 14 лет. Но я не «любительница», как выразился А. Лиханов о Тане С., — занимаюсь я этим не только для того, чтобы покайфовать (отчасти, конечно, и для этого), но и еще чтобы заработать. Я беру за себя 10 рублей. Я живу в обеспеченной семье. Но не будешь же ты просить у родителей деньги на всякую мелочь. Да и потом иногда я не против подымить и выпить. А на это нужны деньги. Промышляю я не у себя в районе, а через несколько остановок метро. Это для того, чтобы репутация здесь была безупречная — не будешь же каждому объяснять, что в том, чем я занимаюсь, нет ничего плохого. А за свое будущее я не беспокоюсь — когда я полюблю, тогда брошу свой промысел и спокойно выйду замуж (репутация-то у меня безупречная), и я точно знаю, что меня не потянет опять торговать собой — у меня есть сила воли; я поступлю в институт — прекрасно учусь, а потом буду нормально работать. Так что за будущее я не беспокоюсь, и сейчас мне живется хорошо: я никогда не скучаю, всегда могу развлечься с симпатичными парнями, почти нет проблем, все мне дается легко, я уверена в себе.

Вы можете назвать мой промысел как угодно. Проституция, корыстная торговля женщины своим телом. Называйте как угодно — мне все равно. Но я в своих поступках ничего плохого, аморального не вижу. Ведь торгуют люди своими вещами, почему я тогда не могу торговать своим телом? Ведь оно мое, значит, что хочу, то и делаю. Разве я не могу использовать то, чем меня одарила природа? Ведь некоторых девушек не возьмут даже бесплатно. А меня берут за 10 рублей! Разве плохо получить кайф, да еще плюс десятка. Так что, как видите, ваши исповеди ни на кого не действуют. А если они ни на кого не действуют, зачем писать? Они вызывают только смех и ничего больше.

Может быть, вы хотите подействовать на наших мам, бабушек и т. д., чтобы те взялись за нас? Так это тоже бесполезно, потому что ни один родитель не знает, что его ребенок живет половой жизнью. Дети в глазах своих родителей выглядят ангелами.

Так что еще и еще раз повторяю — бесполезны ваши исповеди.

Вам не нравится проституция — вы ее ругаете, а нам нравится — давайте же ее прославлять! Советую вам — оставьте в покое эту сторону нашей жизни. Вам что, больше писать не о чем? Пишите о разных болезнях. Пользы во много раз больше будет. Вот у меня на пальце бородавка вскочила. Напишите, пожалуйста, как ее можно свести.

А может быть, мой промысел вредит здоровью? Искренне сомневаюсь. Если проституция действительно вредит здоровью — честное слово даю, брошу свой промысел.

Л. М.,
Москва

«А КАК У ТЕБЯ СО СМЫСЛОМ ЖИЗНИ?»

(Практические рассуждения о «тупизне»)

Ну, здравствуй, Татьяна. Все, что ты пишешь о половой жизни, верно. Ты права: едва ли кто «может устоять перед ароматом дымящейся сигареты, перед бокалом приятного вина в компании симпатичных...» — и я в их числе, и меня притягивает интимная близость... Стоп! Дальше по-другому.

Дальше о Тупизне, которая цвела, цветет и бог знает когда исчезнет. Ты, по-моему, к ней принадлежишь. Я сам не против прожигания жизни, но не в тупую, как ты, не делая из этого смысла жизни. Но не только ты! Ее величество Тупизна кругом! Среди девчонок (терпеть не могу этого слова, но более подходящее неуместно), например, есть три типа Тупизны.

Первый тип. План жизни: скорей бы кончить школу, скорей бы 18 лет, скорей бы замуж, а дальше черт ногу сломит в их рассуждениях о семейной жизни (но, не правда ли, напрашивается продолжение: скорей бы пенсия, скорей бы... или: скорей бы развод...?).

Второй тип. Ну! Тут вообще... Девочки, понимаете

ли, поглощены размышлениями о любви. Противно и смешно смотреть, как они гоняются за этой любовью, и как они часами балагурят о том, кто кого любит и кого не любит, или разлюбил, или изменяет и т. д. и т. п. Тьфу. Я рад, что у тебя нет этого «любовного» комплекса.

Третий тип. Девочки прожигают жизнь, кайфуют, в общем. Нет смысла описывать этот тип Тупизны, так как ты к нему относишься и твое письмо прекрасно дает о нем представление. Я лишь покажу, в чем здесь Тупизна.

Ты, конечно, согласна со мной в отношении первых двух типов и думаешь, что твой тип лучше. Да, ты лучше, но лишь настолько, насколько полная бутылка приятного вина лучше пустой. Не обижайся, но именно это сравнение кажется мне наиболее точным. Умный человек выпьет бутылку такого вина, на некоторое время «получит кайф», если хотите, но скоро его мозг станет снова ясен и логичен, и он пойдет по жизни дальше, а в следующий раз он возьмет уже новую бутылку, а старую выкинет, и лишь тупой станет наполнять вновь старую.

Умных парней не так-то уж много, а девчонок и того меньше. В Древней Греции, слышал, чтобы стать гетерой, девушка должна была знать 64 искусства и уметь вести разговор на любую тему. Но она была поставлена ниже любого мужчины, даже тупого. Сейчас наоборот. Девушка стоит на равных с парнем, но тупая: поговорить не о чем, наперед часто ее слова знаешь. Есть правда и умные, но чаще это благонравные, моральные, как из пансиона благородных девиц. Это некая разновидность первого типа. Но, я думаю, есть и Маргариты в Союзе. Но им нужны тоже не тупицы, а Мастера!

Но вернусь к тебе, Татьяна. Неужели твоя жизнь наполнена на 100 процентов половой жизнью, вином, симпатичными парнями и т. д. и т. п.? И никаких проблем? Неужели у тебя нет элементарного желания оставить след после себя? А как у тебя со смыслом жизни? Или ты отложила его на черный день, когда «радости жизни» кончатся? Нет! Конечно, я уже ясно представлял, как, например, прихожу из армии, учусь, женюсь, дети... Но не только же для того рождается человек, чтобы завести семью, вырастить потомство и считать дни до пенсии! Опять Тупизна. Я опять отвлекся.

Татьяна, я больше всего боюсь начать «морали читать», это глупо, но все же посмотри вокруг — кругом Тупизна! Вырывайся из нее, если не поздно. Дуй вино, читай книги (а не книжки) и думай обо всем, если еще можешь. Кстати, быть может, я ошибся, и мой взгляд сверху вниз напрасен (хотя я так не думаю), но не ты одна прочтешь это письмо, и я уверен, оно найдет своих адресатов. Еще я не писал о Тупизне среди парней, но она и тут процветает. Также два-три типа. Понаблюдай, может, увидишь.

Александр В.
Извините, город не указываю

«О ТАКОМ ОБЫЧНО МОЛЧАТ»

(Крик, обращенный к родителям)

Одна моя бывшая одноклассница начала жить половой жизнью в 9 лет, другая в 10. Они не то чтобы скрывали, а, совсем наоборот, с гордостью рассказывали о своих приключениях. Недавно я встретила двух своих бывших подруг. Они сетовали на то, что гостиницу «Метрополь» закрыли на ремонт. Попробовали они в 11 лет. Все, о чем я написала, — не исключение, а закономерные явления, происходящие в наших школах. В большинстве случаев девочки отдаются из любопытства или от скуки. Вы спросите: куда смотрит школа? Учителя обо всем прекрасно знают. Делают вид, что не замечают. И как смешно слушать слова учителя «Этики и психологии семейной жизни» о сохранении девственности, когда почти все девочки растеряли ее два, три года назад. Как смешны бывают вызовы родителей в школу по поводу короткой юбки или взлохмаченной прически. Невольно улыбнешься, когда видишь, как учителя, стоя у входа в школу, заставляют девочек снимать кольца и серьги, когда их посылают в умывальник смывать парфюмерию. А что делают школьники после занятий — не их забота.

Что говорить об учителях, когда наша школьная пионервожатая устраивает у себя в квартире публичное заведение. Об этом знают с 1-го по 10-й классы. Все знают и о том, что самая красивая девочка из 8-го класса получает полное удовольствие от интимной близости сразу с несколькими молодыми людьми. Ее авторитет в классе на самом высшем уровне. Ей даже завидуют.

Увы, половая извращенность нередкое явление у подростков. Я знала двух ребят из 9-го класса, которые получают удовлетворение, вступая в половой контакт с собаками, занимаются гомосексуализмом. Бедные, бедные родители. В большинстве случаев они почти ничего не знают о нашей жизни. Так и хочется крикнуть: «Дорогие папы и мамы! Бросьте свои дачи, машины, диссертации. Выберите время и поговорите откровенно с вашими сыновьями и дочерьми! Вспомните свои ошибки! Поделитесь своим жизненным опытом! Только ваши умные советы способны остановить нас!»

Я, конечно, тоже не исключение. Стала жить половой жизнью в 15 лет. Не хотела быть «белой вороной». Но после таких ночей пусто и тошно на душе. Хочется иметь одного друга на всю жизнь. Меня вовремя не остановили, и я чувствую, что остановиться нужно мне самой.

Скорее всего мое письмо не напечатают. Слишком горькая и острая правда. О таком обычно молчат. Но разговор, начатый писателем Альбертом Лихановым, необходимо продолжить. Ибо человек должен быть здоров не только физически, но и морально.

Оксана М.,
Москва

«ЧЕМ КОНЧИТСЯ ТАКОЕ ПОРХАНЬЕ...»

(Злой приговор врача)

По поводу письма Татьяны С. Во-первых, раз она так уверена в своей правоте, то надо было опубликовать и ее фамилию. Во-вторых, таких, как Татьяна С., в народе называют потаскухами. Есть еще и покрепче названия. Так вот, она рассуждает, что «жизнь-то она короткая, нельзя терять время». Но она не понимает своими, извините, куриными мозгами (все ушло на здоровое похотливое тело), что она-то и сокращает свою жизнь и особенно молодость вредными привычками (вино, курение, ранняя половая жизнь, не исключены и аборты). Татьяна С. не понимает и того, что если сейчас молодые люди охотно пользуются ее доступным и уже потрепанным телом, то я могу, как мужчина, сказать, что вряд ли большинство из них захотят связать с ней семейную жизнь. А если кто и рискнет, то не раз в дальнейшем оскорбит словами, которыми наш язык до-

статочно богат. Я уверен, что когда пройдет молодость, — а она при таком образе жизни пройдет быстро, учитывая, что мозговые извилины не заполнены, ведь книги и телевизор не для Татьяны С., — то наступит горькое похмелье. Чем кончится такое порхание по земле, нетрудно представить. В-третьих, и это самое главное. Кто виноват, что появляются такие моральные уроды? Виноваты родители и государство. Ошибочные лозунги, вернее, их понимание как «счастливое и радостное детство», «привилегированные классы», приводят к тому, что у большой части молодежи «не бывает проблем». С раннего детства опека, вседозволенность, защита от малейших трудностей. Затем всеобщее обязательное среднее образование без труда и без знаний. А затем получается еще так, что неучи имеют большие материальные блага, чем образованные и трудолюбивые. Вот где корни психологии людей, подобных Татьяне С. Бери от жизни все, не внося ничего, все равно твое будущее обеспечено, тот, кто добросовестно трудится, — многое теряет.

С уважением, кандидат медицинских наук

Маноим И. М.

«ЛЮБОВЬ — ЕСТЬ!»

(Солдатская исповедь)

Я прочитал письмо Татьяны, и оно потрясло меня до глубины души. Ее рассуждения о любви и семейной жизни в 16 лет свойственны, честно говоря, бывалой проститутке. И я хочу специально для нее написать немного о себе.

Мне 21 год, закончил Пензенское медицинское училище и сразу после окончания училища меня призвали в Советскую Армию. Все свои два года я прослужил в Афганистане и видел много того, что большинству нашей молодежи не доведется увидеть. Ну, я не об этом хотел написать.

Дорогая Татьяна! Среди афганцев ходят легенды о наших девушках. Вы бы видели, с каким восхищением они смотрят на наших девушек, русских красавиц. Ваши рассуждения о любви меня приводят в бешенство. Любовь есть — самая настоящая, пламенная и не угасающая. Вот Вам один пример. Я служил в Афганистане с другом. Я не буду называть его подлинное имя,

не хочу лишний раз его травмировать. Так получилось, что он потерял в Афганистане обе ноги. Вы представляете, что значит для 19-летнего парня инвалидность такая. И у него была девушка — назовем ее Настей. Саша домой не писал, что с ним случилось. Мы видели, как он держался, но от нас, близких его друзей, не утаилось его состояние. И вот как-то ночью он проснулся, подозвал меня к себе и говорит: «Сергей, я не хочу жить, вот так всю жизнь существовать. И единственное, что меня держит, — это наша любовь с Настей. Если она откажется от меня, я перестану существовать». Я отошел от него и подумал про нее, я подумал, что она непременно бросит его. Он уехал домой. Потом он написал мне письмо. Не было предела моей радости. Вот строки из его письма: «Серега, я обрел вторую жизнь с моей Настей. Я гнал ее от себя. Просил, чтобы она нашла другого парня. Но в душе у меня теплилась еще надежда, что она вернется. И она не бросила меня. Если бы не ее любовь, я бы расстался с жизнью. Она не бросила меня и согласилась стать моей женой».

После демобилизация я поехал к ним в гости и увидел перед собой самого счастливого человека на земле. У них родился сынишка. И я бесконечно благодарен этой девушке, что она не бросила моего друга. Я преклоняюсь перед такими девушками, как Настя, и презираю таких, как Вы. Ведь эта девушка пожертвовала собой, своей личной жизнью и дала вторую своему любимому человеку. Ведь не из-за половой жизни, не из-за интимной близости она на это согласилась. Половую жизнь она могла приобрести с кем угодно.

Подумайте, пока не поздно! Это говорит Вам человек, видевший в свои 21 год многое, чего многим моим сверстникам не довелось увидеть.

Сергей Виряжов

«КОГДА-ТО И Я БЫЛА ТАКОЙ САМОУВЕРЕННОЙ»

(Исповедь о горечи послевкусия)

Прочитала письмо Татьяны С. и ужаснулась. Девочки, девочки, куда мы катимся?! Когда-то и я была такой самоуверенной, вела такой же образ жизни. И сейчас, оглядываясь на свое прошлое, испытываешь ужас за тех, кто пошел по этому пути. Хочу кратко рассказать

свою историю. Надеюсь, она поможет не только Татьяне С. в выборе своего пути, но и многим другим, застрявшим в этой трясине.

Впервые попробовала «сладенького» в 13 лет! Предложил мальчишка, который был мне симпатичен. Отказать не смогла. Потом еще и еще, и вскоре это стало нормой жизни. Потом появился другой мальчик, третий, четвертый и т. д. И началось. Я была не одинока в этом «деле». У меня было 5—6 подруг, которые постоянно ходили со мной на «промысел». Кроме того, я знала еще по крайней мере 20 девчонок из нашей школы, которые занимались тем же (у нас в школе было около 1000 учеников). Я, как и Татьяна С., считала, что любовь — это не что иное, нежели половой инстинкт, притягивающий оба пола друг к другу. Любимым занятием было балдение. Пила только шампанское, курить особенно не закуривалась, но все же курила. Мальчиков меняла, как перчатки. Была красивая до ужаса, и поэтому за мной очень многие волочились.

Стукнуло 18 лет. Многие мои парни обзавелись семьями, ни один из них не предложил мне стать его законной. Все до единого искали жен на стороне, там, где про них ничего не знали. Это натолкнуло меня на размышления, почему же в компании они бравировали своим положением, гордились своими «подвигами», а став «женатиками», старались как только могли, чтобы жена случайно не узнала об их прошлом. Почему?

Нашла себе парня «со стороны», расписались. Стали жить. Но он меня не удовлетворял в половом отношении, я привыкла постоянно, почти каждый день, а он считал это ненормальным. Кроме того, он требовал от меня того, чего для меня не существовало, — он требовал любви! Стали часто ссориться, и все кончилось тем, что я ему изменила.

Откуда он это узнал, не пойму до сих пор. Развелись. Через неделю нашла себе другого. Дала себе зарок, что изменять больше не буду ни в коем случае, даже если для этого нужно стать «монашкой». Не помогло и это — он тоже требовал любви (что они, помешались все на этой любви?!), а ведь он был маменькиным сыночком, он из такой же компании, как я, узнала у его друга (бывает же такое совпадение — встречаются два человека с одинаковыми «интересами»). С ним я не прожила и четырех месяцев.

Встретила другого парня. Но он узнал от кого-то о

моем прошлом и забрал заявление из загса. И, о ужас, я в него влюбилась!!! Это было для меня так неожиданно. Я почувствовала, что не могу жить без него. Если бы еще год назад мне кто-нибудь сказал бы, что я когда-нибудь влюблюсь, я бы плюнула тому в лицо. Но я влюбилась! Есть она, оказывается, любовь! Я прозрела. Сейчас подвожу итог своей жизни и ужасаюсь, мне послезавтра исполняется 19 лет, а я уже успела три раза развестись. Как мне жить дальше, я не знаю.

Не все, однако, пошли по этому пути. Одна из моих подружек стала проституткой, сидела неоднократно, и сейчас ее выселили из города.

Сейчас, размышляя над своей судьбой, пытаюсь выяснить, почему я так заблуждалась. И кое-что я уже поняла. Одна из первопричин — слабая подготовленность девчонок к взрослой жизни. Я, к сожалению, в свое время не проходила этику. Да и сейчас во многих школах преподавание не на уровне. Татьяна С. пишет, что этика вещь бесполезная. Значит, тебе попался такой учитель. Моя соседка, после того как у них ввели этику, «завязала». Я считаю, что этику надо вводить с 8-го класса, потому что легче убедить того, кто еще не начал, чем переубедить «опытных».

Толкнул меня тот паренек с горочки, и я покатилась все ниже и ниже. Почему я, да и не только я, была уверена, что любви нет? Потому, что я ее не видела. Да и где мне ее было видеть, ведь я была просто-напросто шлюхой, а шлюх не любят. Их «крутят», ими пользуются, но их не любят. Любовь без любви. Конечно же, Татьяна С. не считает себя шлюхой. Я тоже в свое время так думала. Но иначе о вас думают все остальные, в том числе и те, кто вами пользовался. Они не только за глаза обзывают вас шлюхами, но и презирают вас, хотя и молчат, вы им нужны. Когда-то и я думала — нас большинство, как же я ошибалась!

Куда же мы катимся, девочки?!

Опомнитесь, еще не поздно!!!

Я хотела бы, чтобы мое письмо напечатали и обязательно без сокращений. Оно, правда, не поможет тем, кто уже вкусил запретный плод, но всем тем, кто еще не успел, обязательно нужно его прочитать.

А тебе, Татьяна С., скажу лишь одно: когда-нибудь ты пожалеешь обо всем. Может, через год, может, через пять, десять, но тогда ты поймешь, что заставило меня

писать это письмо. И тогда ты сядешь за стол, возьмешь листок, ручку и начнешь писать: «Здравствуйте, дорогая редакция...»

Не лучше ли опомниться сейчас???

Ольга К.,
г. Алма-Ата

«ТОЛЬКО МОЙ МУЖЧИНА»

(О воспитании настоящих мужчин)

Хочу поблагодарить Вас за статью, она мне понравилась, хотя тема «женской чести» не нова, который век эта проблема обсуждается мужским полом самым «горячим» образом, клеймятся «нарушительницы», даже были времена, когда их, блудниц, забивали камнями и закапывали живьем в землю. Но, к сожалению, все по-старому и даже заметен прогресс.

Может быть, разговор должен идти и «с другого конца». Все же мужчины действительные лидеры в этой жизни. От вашего отношения зависит наше счастье. Когда же начнете разговор о мужском достоинстве, мужской чести, верности? Даже понятие «мужская верность» куда-то пропало. А была ли она вообще в природе? Спросите у любой бабки, которая хранила честь для мужа до и после замужества: «Был ли честен с ней муж?» Спросите у женщины средних лет, спросите у молодой. Услышите в ответ хохот. Как же можно воспитывать наших девочек, чтобы они верили мужьям, если уже с детства видят мужскую неверность.

Таких Тань не так уж и много встречается в жизни. Судьба действительно покажет им, если они не остановятся. Но как быть с их партнерами? Мораль-то у них еще более потребительская, ибо потребляют они чужое тело. Потом они женятся, и многие от своих жен будут требовать кристальной нравственности, хотя сами-то на нее не способны и не считают нужным это для себя. Такие-то мужья как раз никогда не изменят своим «холостым» привычкам, как говорится, горбатого могила исправит.

Статистика — вещь надежная, она тоже говорит о мужской повальной непорядочности в семейной жизни.

Я ни в коей мере не защищаю любительниц развлечения. Но часто женщины «с прошлым», пройдя стадию тяготения к «красивой жизни», становятся более хоро-

шими женами и матерями, чем их неопытные ровесницы. В семье у них лад и любовь. Им не попадается плохой муж, который смотрит «налево». А уж им самим тоже некогда бегать — дети.

Зато мужчине с «развеселым прошлым» есть где разгуляться. С годами возможность только растет. Одиноких женщин хоть пруд пруди.

Почему мужья все-таки чаще жен уходят из семьи, бросают детей? Уходят к другой, которая якобы их больше понимает. Часто вдруг находят всепонимающую молодую особу. Наверное, хоть так хочется вновь почувствовать себя снова молодым.

Такая, если не остановится, накажет прежде всего себя. А вот ее многочисленные партнеры «накажут» других.

Следуя Вашей логике, мужчины должны воспитывать мужчин. Все правильно. Так давайте! Опубликуйте хоть одну статью не о мифической женской чести, а о мужской. Которая значит гораздо больше, так как пока что мужчины действительные лидеры жизни. С вас и пример. Вспомните, что на Руси гулящий парень было такое же позорное явление, что и девица. Он был отнюдь не желанным женихом.

Попробуйте разрушить бытующее мнение, что парню до брака «можно». Тогда меньше будет детских домов, если мужчины наравне с женщиной будут отвечать за свое половое легкомыслие.

Если бы процедура установления отцовства не была столь унизительной, а взыскать алименты было бы проще, если бы исходили прежде всего из интересов ребенка, то наверняка меньше было бы брошенных детей. В случае, когда никто из двоих не хочет воспитывать ребенка, то алименты нужно взыскивать с двоих, в пользу государства-воспитателя.

Моя старшая дочь, когда поет песню «Солнечный круг», переделывает слова на «Пусть всегда будет папа, пусть всегда будет мама». Для нее, как и для каждого ребенка, понятие мать и отец неразделимы, равнозначны, равноценны.

Как воспитать наших мальчишек верными, любящими мужьями, отцами? Воспитание — самая главная и трудная работа. Прежде всего быть родителем, а потом уже всем остальным. От этого зависит будущее всех нас и наших детей. Конечно, работать на благо абстрактного человечества гораздо почетнее: грамоты, ме-

дали, пенсия. А за исковерканную чужую судьбу даже выговора без занесения в личное дело не дадут.

Порядочность, умение сопереживать у юноши воспитать гораздо труднее. Что ни фильм или роман, то интеллектуальный герой мечется от одной женщины к другой. Этот нюанс якобы нужен для большей правдоподобности.

Вот и получается, что нет даже и в современном искусстве положительного живого идеала.

Хоть бы про Дон Кихота вспомнили.

Как воспитать будущего мужчину? Уберечь от уличной житейской психологии?

У меня растут две дочери и сын. Ему еще несколько месяцев, но я уже думаю о будущем.

Надеюсь, что пример отца окажется для него сильнее, чем лжепримеры в литературе, на улице.

Меня очень волнует тема мужской честности. Так хочется избежать участи большинства женщин.

О себе добавлю, что нам с мужем по 25. Поженились в 18 лет, будучи до этого знакомы лет 8. Растут трое детей. У нас с ним высшее образование. Я экономист, он — судовой механик.

Я счастлива, что мой муж только мой мужчина.

До свидания.

Е. М.,
Ленинград

«МЫ ВСЕ ЗАДЕРГАННЫЕ, УСТАВШИЕ, ЗЛЫЕ»

(Рассуждения о том, как мораль связана с бытом)

Я полностью с Вами согласна. Воспитание детей было обязанностью женщины, сейчас эта обязанность частично числится за женщиной (этим занимаются школы, детсады, секции, кружки и т. д.). А не пора ли все вернуть на прежнее место? Не пора ли женщину частично «раскрепостить»? Сколько на них лежит обязанностей! Не много ли их положили? Зачем?

Мы, умиляясь, читаем заметки о женщинах-руководителях: ах, какая умница, ах какая она хорошая жена, мать. А хорошая ли она? Женщины! Положа руку на сердце, скажите: если на работе вы полностью выложитесь, затратите все свои физические и умственные силы, в общем, от души поработаете, то к вечеру, придя домой с работы, вы будете хорошей хозяйкой, у вас

останутся силы быть любящей женой и хорошей матерью?!

Нет этих сил, неоткуда их взять. Думаю, что пора руководящим товарищам мужчинам подумать о том, что женщине не выдержать этаких нагрузок. Не может женщина, физически не в состоянии после трудового рабочего дня заняться воспитанием своих детей, так как за те 4—5—6 часов после работы нужно успеть сделать все, что раньше успевали женщины делать за день. Если раньше половина женщин были домохозяйками, то теперь у многих высшее образование, все работают — зато 20 лет назад 5—6 человек в школе на учете в милиции, теперь 5—6 и более в каждом классе.

Статистика налицо. Все знают и ничего не хотят делать.

Пора узаконить неполный рабочий день для матерей, независимо от того, сколько у нее детей: 1, 2 или 10. Не хочет работать 4 часа, пусть работает больше (если считает, так лучше для ее семьи). Но неполный рабочий день для матери достаточен, ей еще по горло хватит работы дома, и успеет она присмотреть за детьми, втолковать им «бабушкины» истины и не будет «ставить» улыбку на лицо, когда появится муж.

А сейчас мы все задерганные, уставшие, злые, и не вам нас обвинять. Мы бы со всей душой, да сил нет. Зато у вас много: все обсуждаете, решаете, заседаете. А дать женщине право выбора своего рабочего дня — не дадите. Тащит воз, ну и пусть тащит, зато обвинять мы найдем ее в чем, и будем кричать о дутом «равноправии». А страдать будут наши дети и дети наших детей.

Климова Т. Е.,
Магнитогорск

«ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ... ОБЩЕПРИНЯТО»

(Попытка философствования, разрушенная собственным примером)

Уважаемый товарищ Лиханов! Я никогда не обращалась с письмами в прессу, но, прочитав Ваше выступление в журнале, сразу решила написать. Понимаю, что бессмысленная это задача: пытаться переубедить в чем-либо зрелого сложившегося человека, но все-таки надеюсь, что мое письмо хоть в чем-то поколеблет Вашу

гневную уверенность. Отвечая на письмо Татьяны из Саратовской области, Вы поспешили объявить эту тему «грязным бельем». Вы как-то упустили из виду, что в главном-то эта девочка права: в том, что секс — это потребность и лучшая сторона человеческой жизни, что Вы, впрочем, признаете на словах, но опровергаете всем ходом своей мысли, всеми своими доводами. Не будем забывать, что пушкинская Татьяна, которую Вы оплакиваете, бросила вызов общепринятой морали: первая призналась в любви к мужчине. Современная Татьяна тоже бросает вызов общественному мнению, правда, ее вызов не столь смел, ведь Татьяна Ларина была одинока в своей смелости, современная же Татьяна — одна из многих сотен тысяч. К тому же она ничем не рискует, так как не назвала своей фамилии. Но я хочу повести речь не об этой девушке, а о многих тысячах, миллионах девушек, девочек и женщин, к которым Вы обращаетесь в своем выступлении.

Итак, что же предлагаете Вы (и в Вашем лице...) женской половине человечества?

Не побоюсь повторить свою мысль: на словах Вы подтверждаете, что секс — это потребность, удовлетворение которой необходимо и приятно. На деле же, то есть в ходе рассуждений, Вы начисто это утверждение отметаете. В своем выступлении Вы противопоставляете

секс и любовь,
секс и духовные ценности,
секс и порядочность,
секс и материнство,
секс и трудовую, творческую деятельность.

Напротив, отвратителен цинизм тех девушек, которые, оберегая свою девственность, ловят в свои сети богатых или высокопоставленных мужей, которые обеспечат своим супругам безбедную праздную жизнь. Вот где подлинная проституция! Просто этим девицам выпадает удача большая, чем их коллегам, продающим себя на одну ночь.

А уж в том, что своим телом можно купить поступление в престижный вуз, трудный экзамен или большой оклад, разве такие девчонки виноваты, как эта Татьяна, а не тот «доцент», который принимает экзамен у «Татьяны»? Увы, это отдельный разговор.

А теперь я хочу перейти к главному: какой же путь Вы предлагаете «начинающей», что делать девушке со своей сексуальной потребностью? Как жить?

Традиционно считалось, что женщина не способна испытывать чувственное наслаждение. Однако со времен Фрейда хорошо известно, что это не соответствует действительности. Сами женщины, конечно, знали это и до Фрейда.

Как же должна вести себя девушка, осознавшая свои половые желания? Выходить замуж? Но в 15—16 лет это нереально. А если и в 20, и в 25 девушка не замужем? Но это, так сказать, частный случай.

Возьмем случай самый распространенный. Девушка, воспитанная на традиционной морали, почувствовала влечение пола. Естественно, ее влечение будет направлено на первого попавшегося юношу, который оказался рядом и тоже обратил на нее свои первые чувства. Естественно, полагая, что половая жизнь допускается только в браке, девушка будет стремиться к замужеству. Таким образом, долго подавляемая сексуальная потребность будет удовлетворена. Однако очень вероятно, что когда пелена страсти, туманившая взор, спадет, выяснится, что избранник уже не представляет для женщины интереса, что он совсем не такой, каким представлялся до свадьбы. (Я сейчас не рассматриваю чувства противоположной стороны, так как речь идет об участи женской, но, вероятнее всего, здесь имеет место полная аналогия.) Ведь очень рискованно предполагать, что первый же сексуальный опыт будет удачным (что, конечно же, не исключено, но именно как исключение — простите невольную игру слов).

Вы утверждаете, что свободная половая жизнь ведет:

к алкоголизму,

к проституции,

к утрате красоты и здоровья.

Но если это так, стало быть, секс — опаснейший враг каждой девушки и женщины, и надо всеми силами противостоять своей сексуальной потребности.

К счастью, это не так, и ни к чему вводить юных в заблуждение, противопоставляя секс и другие ценности жизни. Хочу привести здесь слова великого художника Поля Гогена (не дословная цитата): «Когда человечество перестанет помещать свою добродетель ниже пупа, оно станет здоровее и, возможно, счастливее». Зачем же проповедовать со страниц уважаемого популярного журнала мораль, устаревшую еще столетие назад? Зачем же устанавливать прямую зависимость между добродетелью, духовным богатством (бедностью), творческими

возможностями женщины и ее половой жизнью? Я знаю женщин, имевших не один десяток партнеров, и при этом сохранивших душевную чистоту, доброту, бескорыстие и порядочность, прекрасных матерей и жен. Но знаю также узколобых мещанок, жадных до денег, злобных, невежественных, у которых был в жизни единственный мужчина — муж, или вообще не было мужчин. Разве дело в количестве партнеров?

Можно часто менять партнеров — и каждого любить. Можно быть проституткой, имея однюго мужа.

Вы, т. Лиханов, считаете эту Татьяну начинающей карьеру проституткой. Во-первых, не слишком ли много проституток? Ведь таких, как эта девчонка, не один десяток в каждом школьном классе. А кто же будет работать, учиться, замуж выходить? А во-вторых, приглядитесь повнимательнее острым писательским глазом: ведь эта Татьяна со всеми своими недостатками, с понятной в ее возрасте тягой к запретному (тут и вино, и сигареты, и т. п.), живет естественными ощущениями, искренними побуждениями: ей нравится спать с мальчиками, и она спит с мальчиками, — отнюдь не за вознаграждение, совершенно бескорыстно, потому что ей это нравится. При чем же здесь проституция? С ее холодным, наглым расчетом?

Как бы ни пытались нас убедить, что физиологическое соответствие вроде бы не существует, каждый человек, даже с небольшим опытом, знает, что это не так, хотя, может быть, не для всех это имеет значение. Какое же счастье ждет эту молодую супругу, которая, понимая или не понимая причину, будет мучиться сексуальной неудовлетворенностью? Скорее всего такая семья распадется рано или поздно, оставив горькое разочарование и детей без отцов.

Предположим другой вариант. Чувственность у девушки еще не пробудилась. Разве по любви выйдет она замуж? Конечно, нет. Ибо Татьяна из Саратовской области, хотя и не читает книг, но сердцем поняла, что такое любовь: любовь — это интимная связь. Чем Вы можете опровергнуть эту формулировку? Объясните, что же такое любовь, как не половая страсть, направленная на конкретного человека, который стал близок (не только физически), с которым объединяет привязанность, родство душ и т. п. Без секса нет любви, но есть и секс без любви (та же проституция, например). А девушка, не знавшая половой жизни, выйдет замуж, потому что

так принято, чтобы не остаться старой девой и т. д. Или — что еще хуже — из корыстных целей: ради материальной обеспеченности, квартиры, прописки и т. п. Какая уж тут любовь! Хотя, может случиться и так, что девушка, холодная до брака, полюбит своего мужа и будет с ним счастлива. Но это опять-таки редкое исключение. А цена ошибки в этом случае немалая. Ведь от неудачного брака страдают не только супруги, но, как правило, дети. Они-то не виноваты в ошибках своих родителей.

Мне думается, Вы сами себе противоречите относительно Татьяны и ей подобных. Сомнительно, чтобы девушка, знающая цену сексуального наслаждения, променяла его на материальное благополучие или прочие блага замужества. У такой девушки гораздо больше шансов на удачный брак — ведь она хочет любви (хотя, возможно, пока не понимает этого сама), то есть сексуальной гармонии в совокупности с душевной гармонией. Она знает себя и знает мужчин. Ее выбор точнее. Что касается качества любви, то, безусловно, у разных по уровню развития и чертам личности людей она будет различной, а подобное притягивается подобным, то есть каждый найдет себе пару. Удачным, я полагаю, можно назвать брак, в котором супруги любят друг друга, то есть чувствуют себя хорошо друг с другом и физически, и морально. Итак, эта «бедная» Татьяна права: она на верном пути.

Конечно, с ней всякое может случиться: она может стать алкоголичкой или проституткой. Но это случается и с целомудренными девами, и с замужними дамами, и с вдовами...

Кстати, путь, по которому идет Татьяна и многие тысячи ее сверстниц, отнюдь не нов. Такое половое поведение общепринято во многих цивилизованных странах. Первоначально юноши и девушки ведут беспорядочную половую жизнь, так как половая энергия требует разрядки. Они имеют связи друг с другом в своих компаниях, время от времени меняя партнеров. Кстати, это уберегает их от случайных связей с незнакомыми, что грозит болезнями, гомосексуализмом и т. п. В своем же кругу они хорошо всех знают. Это, конечно, не гарантирует ни от чего, но значительно уменьшает риск.

Постепенно половая буря утихает, начинает формироваться устойчивая связь с определенным партнером. Возникает дружба, привязанность. Если эта связь

укрепляется, то через некоторое время с появлением возможностей (например, окончание учебы и т. п.), молодые люди вступают в брак. Если же партнеры разочаровались друг в друге, связь распадается, заменяется другой, и так, пока не найдут друг друга двое. Конечно, семья может и не получиться, но ведь гарантировать ничего нельзя.

Разумеется, разрыв с партнером тоже может быть болезненным, но не таким, как развод с супругом, да и дети в этом случае не страдают. А эффективные противозачаточные средства предохраняют от нежелательных беременностей.

Так не лучше ли объяснить молодежи, как обращаться с джинном, нежели пытаться загнать его обратно в бутылку?

Извините, что своим письмом я отняла у Вас немало времени. Но, возможно, оно наведет какую-то легкую тень на Ваши убеждения, тень сомнения. На опубликование этого письма я не рассчитываю, но мне, безусловно, хотелось бы, чтобы мои взгляды дошли до многих и заставили их задуматься над жизнью, если не своей, то своих детей.

Подписываться я не буду, так как моя фамилия Вам ничего не скажет, а если Вы вдруг решите мне ответить через журнал, не хочу, чтобы мои откровения читали родители, муж, сослуживцы, да и многие меня в городе знают.

Чтобы Вы имели некоторое представление о своем оппоненте, напишу немного о себе. Мне 30 лет, пятый год замужем. У нас годовалый сын. С отличием окончила вуз, получила хорошую специальность. Предлагали поступить в аспирантуру, но я не пошла, так как считала и считаю основным в жизни женщины любовь, семью. До брака у меня были немногочисленные интимные связи. Однако я была воспитана в строгих правилах и начала жить половой жизнью значительно позже Татьяны, о чем теперь сожалею. Юность прошла с учебником в руках. Замуж я вышла не по расчету и не потому что пришла пора. Я полюбила этого человека, как никого до этого не любила. И он меня любил. Никакой корысти от этого брака он также не имел: не было у меня ни квартиры, ни золота, ни высокопоставленного папы. Я, конечно, понимала, что как сексуальный партнер он не блещет достоинствами, но я любила и готова была терпеть недостаток удовлетворения. Од-

нако я переоценила свое терпение. Муж, и прежде не слишком пылкий любовник, вовсе охладел ко мне. Сейчас мы практически не живем половой жизнью уже несколько месяцев. Знаю, что других женщин у него нет. Возможно, он болен и скрывает это от меня. Сами понимаете, что у нас накапливается взаимное раздражение, недовольство. Муж заботится обо мне, помогает во всем, очень любит сына, но как женщина я для него пустое место. Скорее всего нас ждет развод. А тогда я снова буду менять партнеров, если не встречу настоящего друга. Заметьте, я не собираюсь обманывать мужа с любовниками, хотя это выгоднее для меня, ибо положение замужней дамы всегда выгоднее. Но я придерживаюсь честных отношений и в браке, и вне брака.

В нашем неудачном браке виновата я сама, так как знала, что возможности мужа не будут удовлетворять меня, и все-таки пошла на этот брак. В результате трое несчастных людей, один из которых ребенок. Я не хочу, чтобы мою ошибку повторили другие женщины, чтобы девушки выходили замуж, не зная своего будущего супруга с интимной стороны. Науке известно, что именно интимная сторона — основа брака. Гармония в сексе — прочная семья, разлад в сексе — и семья рушится.

На эту тему можно распространяться бесконечно, но пора заканчивать.

Благодарю Вас за внимание.

«А КАК ЖЕ БЫТЬ С ИЗМЕНОЙ ДЕТЯМ?»

(Исповедь сломанной семьи)

Никогда не писал я писем на такие темы. Сейчас решил. Первый никогда не мог подойти я к девушке — робел, стеснялся и какая-то боязнь появлялась, недоверие. Но вот встретились в компании с одной молодой 19-летней особой. Она не похожа на Татьяну С., откровенно и правду не скажет никогда, своего мнения у нее нет, да и ничего у нее тогда не было. Показалась робкой, застенчивой, но от горячих напитков осмелела. А потом был разговор, говорила, что хочет жить по-человечески. Я подумал, что нужно ей помочь. Ее откровение расположило, и я предложил ей помощь. Я даже не возмутился, что она жила второй год без прописки и нигде не работала. Это было в Хабаровске, куда она уехала из дома от матери, которая вышла замуж второй

раз, но, возможно, и другая причина (для меня вся ее жизнь — секрет). В Хабаровске жила у теток, то у одной, другой, третьей, работая в торговле, любила крепко выпить, погулять. Когда я ее встретил и после откровения сжалился над ней, все же моложе меня на 11 лет, думаю, пропадет. И ничего-то у нее не было, даже одежды хорошей, но выпить любила — было вино и мужчины.

Пьяная просила помощи. Трезвая хотела выпить. А я решил помочь. Нашли частную квартирку, поселились, купили кое-какие вещи, для начала попросил хозяйку дать мне домовую книгу для прописки подруги.

Много же я перетерпел от ее побегов! Приходил с работы, не обнаруживал дома, искал днями, неделями по Хабаровску. Так и не прописалась. Нашел с молодым человеком и теткой — шли с бутылками из магазина. Потом опять были вместе. Я решил ее увезти к себе домой в Горький от той бурной жизни. К родителям она не захотела — поехали на псковскую землю.

Во-первых, мыслил я, какой-никакой, а человек, надо что-то делать. Потом, думаю, поймет, что такое жизнь, станет матерью, хотя в последнем было сомнение, но надеялся. Забудет гулящую жизнь, станет чище.

Вначале все так и было. Через год организм ее окреп, постепенно она приняла облик молодой скромной здоровой девушки, кожа уже не пахла вином.

Родила первенца. Приехала ее мать, видимо, бросила второго мужа, говорила, что пьет, но сама любила также выпить. И стали нянчить вдвоем сына, не замечая меня. Я с работы бежал домой посмотреть сыночка, но на меня цыкали, не подпускали, мол, спит, не мешай. Тут я не выдержал. Как-то после работы пришел пьяненький, разошелся на тещу, мол, самой не живется, так другим не мешай. Дочь приняла ее сторону. Отношения были натянуты. Через неделю, придя с работы, не узнал комнаты, некоторых вещей не хватало — продали, нужны деньги на дорогу, решили ехать в Бурятскую АССР, к матери. И все это делалось за спиной, по-шпионски. Мне пришлось проводить их до Москвы, не зная, на сколько уезжает жена с ребенком. Об этом ни слова не говорили. Проводил, теряя надежду на будущее. Что перетерпел который уже раз я в одиночестве! Через восемь месяцев приезжает — встречаю в Москве. Какое счастье, вижу сына! Комнату сменили, пришлось покупать еще кое-какую мебель. Вскоре ро-

дился еще сыночек. И все пошло, как и в другой любой семье. Со вторым курить опять бросила, там, у матери, начинала курить.

Добился от горсовета комнату — дали с соседями. Уже был свой угол. Нужно покупать и свою настоящую мебель. Потом расширили — стало две комнаты, еще накупили — в общем, каждый год кредит.

Она оделась, появилось золото. Уже работала в гостинице горничной — зарплата невелика, но старался сам заработать.

Вот, кажется, и стала человеком. Решили ехать ко мне домой, в Горький. Договорились, что я еду с младшим — ему 4 года, до школы еще далеко, а с садиком, возможно, трудно в городе. Жена осталась со старшеньким, ему 6 лет, до получения мной жилья на новом месте.

Как были рады дедушка и бабушка — виделись очень редко. Значит, старшего оставил из-за страха, что перед школой не устрою в садик. Младшего сынишку через некоторое время устроил в садик, встал в очередь на жилплощадь, устроился на работу.

Через четыре месяца еду в гости на псковскую землю — порадовать.

И что же я вижу? Квартира сдана, вещи из двух комнат проданы и даже книги, все, все.

Подробности узнаю от работниц из гостиницы, от соседей, от подруги ее. Это было страшно. Работая в гостинице в ночную смену, стала выпивать, появились знакомые мужчины. Вынуждена лечь в больницу на лечение, а так как сына не с кем было оставить, то вызвала мать свою из Сибири. Та быстро нашла выход. Распродала все вещи, кое-что отправила на вокзал багажом, взяла сына и уехала. Жена, выйдя из больницы, рассчиталась и уехала следом за матерью. Даже не заехав в Горький и не поинтересовавшись младшим сынишкой. Хотя ясно, страх взял верх, с какими бы глазами она могла явиться к нам. А мы жили и ничего не знали, только у меня что-то сильно болело сердце — думал о сыне.

Да и как так, мне, отцу, ничего об этом не сообщив, а сразу вызывать мать, которая на этот раз вышла уже четвертый раз замуж.

Что же теперь с ребятами? Она их разъединила. А как Дима, старший сынишка, любил меня.

Я возвращаюсь к статье Лиханова — как верно!

К промыслам такого рода с умыслом себя не готовят. Этот промысел сам овладевает женщиной. И еще вспомнилась пословица в отношении бывшей теперь уже жены: сколько волка ни корми — все равно в лес смотрит.

А вот лишить ее права материнства, попробуй сунься, все права на ее стороне, от мужчины, отца, остается отчество и деньги, в виде алиментов, да и то иногда эти деньги детям не достаются. Почему часто слышится от мужчин: ребенку — не жалко, но такой женщине — ни копейки.

А как много зависит от бабушек и матерей. Они имеют большое влияние на воспитание, как в семье, так и в обществе. Сейчас государство так много обязательств взяло на себя в помощи семье и женщине, а в итоге появляется материальная независимость от мужчин, разводы учащаются, свобода тоже есть, вот и добиваются еще и еще большего.

А как же быть с предательством и изменой детям, даже с такими, которые еще не родились, а уже преданы?

Это самая натуральная измена и предательство детей. И ведь все это достается и обществу и государству в целом, ложится, так сказать, на плечи государства.

И сколько бед идет от таких потребительских поступков, просто трудно представить, пока не сталкиваешься сам. Сколько бездумной тупости, коварства у женщин такого рода.

С уважением Ш.

«ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ СО ВСЕМ НАШИМ ОБЩЕСТВОМ»

(Письмо теряющей надежду)

Здравствуйте, товарищ Лиханов! Прочитала вашу статью «Начинающая» и хочу не то, чтобы поспорить с вами, но высказать некоторые свои соображения. Мне 27 лет, я не замужем. В 12 лет первый раз серьезно влюбилась. Дружила тогда и до окончания школы только с девочками. Влюбилась безответно, должно быть, очень сильно себя недооценивала. Сейчас уже не помню точно, но, наверное, в основном из книг к 13—15 годам у меня сложились романтические, возвышенные представления о любви. И сама я была такая...

Может, вам что-то скажет обо мне фраза, сказанная учительницей литературы в 9-м классе, когда она дала нам сочинение на тему: «Что такое счастье?» Эту тему я только для Светы дала, больше никто не пишет лучше об этом. В общем, я была такая Наташа Ростова. Сочинение о счастье я писать не стала. К 16 годам я уже видела, насколько мои представления о жизни и любви расходятся с действительностью. Как грубы мальчики. В это время кое у кого уже романы начались. Тогда как-то все было на виду у всех. И я видела, что ребята ведут себя совсем не так, как мне это представлялось. Тогда у меня зародилось подозрение, что любовь — это только в книгах. Нехорошо было тогда у меня на душе. Но пока тот мальчик, которого я любила, был хорошим, у меня еще оставалась вера в святость любви. Летом после 9-го класса познакомилась с одним парнем. Он ничего не знал обо мне, кроме имени и номера школы. Через несколько дней пришел ко мне домой, позвал погулять. Погуляли. Когда стемнело, позвал к себе домой: «Не бойся, тебе будет приятно». Домой к нему я не пошла. И вообще его больше не видела. Он все лето звонил, но я не хотела больше его видеть. Примерно так же в это лето было еще с 2—3 парнями. А когда я поняла, что и мой любимый мало чем отличается от других, я страшно разочаровалась в жизни. Жить не хотелось. Все вокруг грязь, ложь... После школы пошла работать и вечером учиться в университете. Годам к 20 поняла, что я красивая женщина. Все мужчины за мной ухаживают. Мужчины в основном лет на 10 старше. Тот мальчик, которого я любила, давно уехал навсегда. Андрей был моей второй любовью, моим первым мужчиной. Мне тогда было 20 лет. А у него была жена и ребенок. Это продолжалось 4 года. Сколько за эти годы вокруг меня «дуэлей» было. Между женатыми в основном людьми. Мое обаяние частенько осложняло мне жизнь. Университет я благополучно закончила своим трудом на четверки. Я нравилась преподавателям, которые помоложе, и, когда они ставили мне «отлично», хотя и вполне заслуженно, мне бывало стыдно. «Отлично» на вечернем редкая оценка. В 24 года я серьезно и надолго заболела. Была почти на том свете. Андрей тогда исчез из моей жизни, и больше я его не видела. Последние два года общаюсь со сверстниками в основном. И ужасаюсь. Это не мужчины. Это нечто в штанах. Вы пишете: «Переменялись роли». Роли действительно

переменялись. Подарить цветы, купить билет в кино и проч. — это уже становится анахронизмом. Инициатива идет от женщины во всем, в том числе и в приглашении в загс. Мужчины рождения 1955 года и моложе плохо себе представляют, что они мужчины. Что должны пропустить женщину вперед при входе в троллейбус, взять у своей попутчицы тяжелую сумку, не говорить при погрузке сена в машину, что у нас равноправие, знать, что женщине нельзя поднимать больше 20 кг и т. д. Я все ужасаюсь, а 20-летние девчонки это воспринимают как само собой разумеющееся. Они и не знают, что должно быть по-другому.

Были у меня за это время парни, за которых вроде бы нужно было выйти замуж. Но у них чувства-то ко мне были какие-то несерьезные, и они понимали, что я хочу от них того, чего они дать не могут. Слишком уж со мной церемониться надо, обижаюсь я быстро, а они привыкли, чтобы за ними ухаживали только лишь. В общем, я одна, молодая и прекрасная в свои 27 лет. Меня хотят мужья всех моих подруг и другие мужчины. За всю мою жизнь, начиная с 18 лет, хватит на одной руке пальцев, чтобы пересчитать моих знакомых мужчин, которые были бы равнодушны ко мне. А у меня, как и в 16 лет, ощущение — все ложь, зло, все обман, любви нет. Ни один мужчина не способен любить женщину. А я слушаю про себя песню, которую поет А. Барыкин: «Может быть, известный режиссер хочет предложить в картине роль, а художник напишет портрет...» И вряд ли когда выйду замуж. А иногда мне бывает искренне жаль, что природа при моей внешности вложила мне мое нутро. Будь у меня нутро другое, покружила-повертела бы я мужиками. Они бы у меня в настоящих дуэлях бы сходились, не на жизнь, а на смерть. Так им и надо. Вы упрекаете девочек, девочки не те. А мужчины-то те? Где они вообще, настоящие мужчины? Что-то происходит со всем нашим обществом. И с мужчинами, и с женщинами. А все беды, как и во всем, в первую очередь бьют по молодежи. И ваше писательское дело поставить диагноз болезни общества и постараться его лечить.

До свидания.

Света

«ЭТО СЧАСТЬЕ, КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ»

(Письмо о практическом сопротивлении)

Читаю вашу статью, а в это время по телевизору демонстрируют художественный фильм «Женщины шутят всерьез». Скажите, разве обязательно было показывать обнаженную женщину, а затем интимные отношения? А другие фильмы? Нет, конечно, может, и нужно так, я не знаю, но зачем их показывать днем, когда каникулы и многие дети смогут их посмотреть? «Откуда берется такая вопиющая вульгарность на сцене, на эстраде, в театре, в кино?» — спрашивают в статьях большие дяди и тети. Скажите, а что же они сами нам показывают? Когда в той же школе мы знали про наших учителей все и кто муж, и кто любовник, и все, все...

Теперь я знаю это от собственной матери.

Но она вышла замуж «неиспорченной», очень этим гордилась и гордится. Зато теперь можно. Вроде бы в отместку мужу, за то, что он гуляет или гулял? Прямо как в кинофильме «Прости». Но кого?

Мне 23 года. Четыре года я замужем. Мой муж единственный. До него я даже не целовалась.

И самое страшное и для меня и для моего мужа — измена. Можно все — поссориться, помириться, но изменить — это все.

Так случилось, что самый верный, добрый, близкий и нужный человек — это мой муж. У родителей моих мы бываем неохотно.

Они все знают друг о друге, мне кажется, а через год у них серебряная свадьба.

Непостижимо. Для меня.

А вы говорите, мамы, бабушки. Да почему же они! У нас в семье морали могу учить я. Хотя как? Была бы моя воля — я бы забыла, что у меня есть мать, отец, раз они такие.

Но хотела я вам сказать вовсе не это. Действительно, о фильмах. О наших программах телевидения. Вот смотришь фильмы 30-х, 40-х годов. Отношения гораздо чище были, что ли. Хоть и фильмы наивные. Но почему я должна смотреть эти «драмы», где сначала идет секс, а потом уже драма? Ведь должно же быть что-то, что не выносится на суд зрителей, не должно, по крайней мере. Неужели зрители должны видеть это все?

Я немного сумбурно и путано пишу, но просто не

знаю, как изложить все свои мысли на бумаге. Если бы словами.

Жаль только, что мое мнение разделяют всего три человека — мой муж и моя подруга со своим мужем. Он у нее тоже во всем первый!

Знаете, это такая радость, когда постепенно, шаг за шагом, узнаешь любимого человека. Когда все чувства — только о нем. Не о многих разных мужчинах, а только о нем. Знать досконально все уголки души близкого человека! Что может быть прекрасней? Когда при любой горести, радости — все рассказать ему. Он поможет, посоветует. Просто даже защитит. Я ничего не скрываю от мужа. Знаю, дальше него это не пойдет.

Детей у нас пока нет. Сначала учились, и жить негде было. Но я могу спасибо сказать только моему мужу. Ни абортов, ни гормональных таблеток я не знала.

Знаете, это «счастье, когда тебя понимают». Это так. Понимает любимый.

Мы пока не торопимся иметь детей, сами посудите: у него 100 рублей, у меня 90. И никто не помогает. Но мы подрабатываем. И вообще я жду, чтобы захотеть ребенка. Понимаете?

Не просто «залететь», а сознательно захотеть ребенка от любимого человека. Чтобы растить и рожать и вынашивать в полной гармонии семьи, наших чувств и отношений.

Оля З.

«КАК ИХ ОСТАНОВИТЬ?»

(Факты «тихой» борьбы)

Мне 20 лет. У меня много подруг, но ни одна из них не ведет нормальный образ жизни.

Одна уехала рожать в другой город, чтобы оставить там ребенка. Вторая, студентка, кандидат в партию, но мало чем отличается от уличной девки. У третьей двухгодовалый ребенок, муж в армии, а она коллекционирует партнеров, обводя в календаре числа, сама не работает, ее квартиру называют блат-хатой, все желающие находят там приют. А что же ребенок? Он никому не нужен. И так далее...

Они принимают женатых ребят, разбивают семьи, не брезгуют седыми и лысыми.

Мои диспуты с ними не приносят желанных резуль-

татов, наоборот. Подруги смеются надо мной, говорят: «Что ты, бедная, видела в жизни. Нам тебя просто жаль». Меня жалеют! А я всегда думала, что живу правильно. Мне так хочется верить, что я со своими устаревшими взглядами все-таки права. Но я одна среди них.

Пусть мы сейчас мало видимся, у нас разные взгляды на жизнь, разные интересы, но мне больно смотреть на их деградацию. Как их остановить?

Лена,
г. Свердловск

«МЫ ТЕПЕРЬ ПОНИМАЕМ, ЧТО В СВОЕ ВРЕМЯ ПОСЕЯЛИ»

(Письмо скептика)

Не хочу сказать, что отсутствие совести и чести в теперешнем российском обществе, так же как и то, что не стало ничего святого — это хорошо. Наоборот, это хуже чем плохо. В делах и вопросах моральных и нравственных мы скатились, что называется, до нуля, причем во всех отношениях. Это особенно проявилось теперь, когда многие люди несколько посмелели и стали называть вещи своими именами.

Но не та Татьяна и многие другие в том повинны.

Если быть хотя бы относительно честным, мы теперь понимаем то, что в свое время посеяли.

А. Лиханов сравнительно молодой человек и не помнит нашего начала. А оно было таким варварским и ужасным, что, пожалуй, ничего подобного не сыскать в истории человечества.

Все крошилось, все ломалось, все презиралось, вплоть до неодушевленных предметов: мебели, которую из окон домов выбрасывали на мостовую, били и пороли ножами — нам не надо буржуазного. И громко распевали: мы до основания все разрушим, а потом мы наш, мы новый мир построим...

Как будто бы до того в России жили целые поколения дегенератов и динозавров.

В результате этого варварства мы получили то, чего так жаждали. Так к чему же теперь удивляться, поражаться и гневаться? Свершилось то, что должно было свершиться. Если мы отмели все и вся, что было создано предшествующими поколениями, естественно, мы оказа-

лись в пустоте. И эту пустоту в самом широком и глубоком смысле теперь понимаем. И это, видно, и обнажается почти каждый день.

Не далее, как в «Правде» от 29 июня 1987 года, есть маленькая статья «Горький урок», в которой повествуется о том, как на Енисее и Ангаре затапливаются десятки миллионов кубометров леса, ценнейшей древесины, при строительстве гидроэнергетических комплексов. Всем об этом известно, вплоть до Верховного Совета, но все продолжается как ни в чем не бывало и сегодня. Ничьей совести не задевает. Вот наглядный пример варварства, всеистребления и всеразрушения. А потом когда-нибудь заохаем!

А про духовную, моральную и этическую сферу и говорить не приходится, ее давно уже истребили, поскольку это наиболее хрупкое звено человеческого общества.

До тех пор, пока в обществе поддерживалась определенная мораль, этика, порядочность и вообще какие-то правила поведения и приличия, люди держались в определенных рамках, повинуясь сознательно или подсознательно принятому порядку. Но как только все было предано анафеме, началось разложение и распад, шатание и разброд. Результаты налицо в любой сфере, в любом звене теперешней жизни. И никакие бичевания, никакие увещевания ничего не дадут, в какой бы хлесткой форме они ни были написаны.

Единственное, что могло бы сослужить службу, это установление, введение и внедрение всеобщего кодекса поведения людей в масштабах всего общества. Но кто это теперь может сделать? Таких сословий, как духовенство, дворянство, русская интеллигенция, в теперешней России нет. Осталась одна аморфная масса, безответственная, безнравственная и плохо образованная. Отсюда и все беды. По логике вещей поддержание порядка и порядочности в обществе является обязанностью правительства, руководства государства, страны. Но ведь оно само состоит из той же массы. Поэтому все и расплывается между пальцев.

Но давайте не унывать и петь песню: «То ли еще будет...» Что-нибудь определенно будет. Ведь жизнь всегда имеет поступательное движение, в какую сторону будем идти.

А. А. Лиханову передайте большой привет и пожелание не горячиться. Разговор на эту тему портит нерв-

ную систему, а это вредно для здоровья. Только наивные и недалекие люди могут думать, что теперь наступает или наступит какая-то новая эпоха в жизни России.

Все это иллюзия. Новая эпоха уже наступила 70 лет назад, и она будет продолжаться, как и доселе. Другого никто и не желает. Давайте дружно поаплодируем!

О. Бономирский

«КТО ВИНОВАТ?»

(Раздетая исповедь)

Какими словами А. Лиханов «осыпал» эту девочку за то, что она по своей наивности написала правду о нашей с вами жизни. Ее молодая жизнь — это отражение нашей с вами. Кто виноват, что она «начинающая»?

Меня зовут Татьяна, мне 25 лет, у меня растет дочь, и я пока еще замужем. Что я скажу своей дочери о женской гордости, чистоте, о любви?

У меня хороший муж. Он не курит, не пьет, не гуляет с женщинами, не ругается, не учится и не работает. Он ничего не делает. Как видите, все его достоинства начинаются с приставки «не». Через два года совместной жизни у меня появился любовник, он одевает, кормит, помогает материально мне и моему мужу. Да, я продаю себя за вещи, тряпки, побрякушки и не люблю своего мужа.

Как я смогу сказать своей дочери «сладок лишь запретный плод», если очень мало мужчин добиваются этого запретного плода? И как я скажу — люби своего мужа, живи в согласии и дружбе с ним, если муж есть, а денег нет, и не купишь обновку, нет денег, но «зато есть денежный мужичок за стенкой». И я не буду осуждать свою дочь за то, что пошла к денежному мужичку. Ну а что делать, если этого нет, а годы, молодые годы уходят?

Татьяна

Не знаю, как отнесутся к этому пасьянсу из писем читатели, но мне кажется, что картина, в общем, прорисована, самые разные мнения, вплоть до теоретических экзерсисов и политического обоснования, начертаны. Еще раз хочу повторить: мне не хотелось бы ни

возражать, ни поддерживать разные точки зрения, предоставив читателю право свободного выбора, ведь многие письма яростно защищают точку зрения — ту или иную — но помимо воли и замысла их авторов обращены против идеи, которую сами же формулируют.

Одно лишь письмо мне хочется прокомментировать — это письмо скептика. И хотя в письме этом максимальное число саркастических выпадов против моей точки зрения, попытаюсь остаться предельно объективным. О. Бономирский в распаде морали винит нашу ближайшую историю, увы, историю, изобилующую негативными ситуациями. Возразить мне на это нечего. Что правда, то правда — когда творятся хозяйственные бесчинства, когда личность человека попирается сомнительного свойства вышестоящим давлением, мораль испытывает сотрясения.

И все же! Неужели мораль реальной девочки уже так вплотную зависима от нашей бесхозяйственности? Неужели же в человеке ничего не остается его собственного, личного — никаких устоев, никаких нравственных правил?

Согласен троекратно: разрушив церковь как часть общегосударственной морали, мы не создали новой морали вновь рожденной социальной общности. Да, не создали, хотя примеров высокой человеческой нравственности в индивидуальном ее проявлении и революция, и гражданская война, и война Отечественная, да и наша современность, сегодняшний день, преподнесли нам немало. Так что со скептиками согласиться можно и даже нужно, но не во всем и не до конца. Ближайшая история и наше настоящее не только разрушали, но и еще и создавали. Вряд ли есть смысл все многоцветие и трудную многосложность жизни мерить одной колодкой.

А теперь главное: как бы ни была трудна жизнь, какое бы сильное негативное давление ни оказывала на каждого из нас, все же человеческое должно оставаться в человеке. Потому мы и люди, потому и живем мы надеждой — а без нее нельзя! — что способны противостоять обстоятельствам и остаться людьми. И уж особенно это важно и возможно в личной сфере, в области существования, которую мы называем интимной. Без личной морали, без собственных установок, которые основаны на морали, выработанной ве-

ками человеческой жизни, не может сохраниться человек. И, пожалуй, прошло время, когда мораль в нашем обществе обзывалась термином «ветхозаветная поповщина».

Действительно, многие нравственные постулаты человеческого общежития раньше и прежде всего были сформулированы в Библии и других церковных писаниях. Однако эти книги — прежде всего концентрация духовности человечества, и поспешный отказ от них под знаменем воинствующего атеизма не всегда, кстати, разумного, многие годы обеднял нас.

Так что давайте-ка почаще вспоминать: при всей зависимости человека от окружающего мира, в том числе и от распада, который он дарит наравне с высокой духовностью и целомудрием, человек все же должен сам в себе охранять ценность и чистоту, дабы не обречь себя на скотское существование.

Резко?

Что ж, именно так — на скотское...

1986

ГЛАВА IV

Ах, если бы мы оставались всегда верны собственным клятвам! Если бы помнили каждый миг, какие ценности настоящие, а какие мнимые! Но — слаб человек, и едва отхлынет беда, как захлестнет жизнь, затянет в свои воронки, завертит неотложностью мелочей, ложной многозначительностью суеты, пустых пересудов, ничего не значащих мнений, которые имеют способность исчезать через срок, не указанный точно, но достаточный, чтобы осознать их никчемность...

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Элегия

Посвящаю моей дорогой бабушке Марии Васильевне, моей первой учительнице Аполлинарии Николаевне Тепляшиной и моему деду Ивану Петровичу Созонову

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле бога самого
Самостоянье человека, —
Залог величия его.

А. С. Пушкин

Вот я и снова пришел к вам...

Сегодня тут людно, аллеи полны народу, будто на гулянье, в стылом воздухе сплетаются возбужденные, подогретые выпивкой, голоса, среди холмиков торчат кепки, платки и модные шляпки, разгорается смех.

Меня это тяготит; смех кажется неуместным, но я обрываю себя: в конце концов каждый поминает усопших так, как ему по нраву, и есть в народной традиции поверье, по которому чем веселее в этот день живые, тем приятнее и тоже веселей мертвым.

Родительская суббота. Если вычесть тринадцать дней из сегодняшнего календаря — ах ты, да ведь теперь двадцать пятое октября, Дмитриевская суббота. Спроси-ка хоть одного, почему так называется, никто не скажет. «Поминают Дмитриев?» Пожмут плечами.

А ведь Дмитриевская родительская суббота — в честь Дмитрия Донского, в память Куликовской битвы. Поминовение воинов, легших там, у Непрядвы.

Я вспоминаю не поле, чувство.

Страшно было сойти с дороги. Умом вроде знаешь, обычная земля, а сердце говорит: эта трава на крови, эти кусты на крови, а под ногой, во тьме, чей-то прах.

Жаворонок кувыркался в сиреневом небе, пел жизнь, ветер нагибал траву, шелестел кустами, мерцала вдалеке маковка церкви в память героев, а я думал, что, видно, есть какая-то особая правда, по которой имена защитников забылись не от великого их множества, а для того, чтобы слиться вместе, в одно имя, в одно понятие и одну силу. Ведь поле Куликово означает нам и поле, и необъятных размеров могилу, и дух объеди-

нения, решимости, геройства, веры в себя, наконец, победы.

Поле — это и место и общее имя русских ратников.

Ах, как дорого стоит воля!

Чем дальше от нас решающие события, тем, кажется, тесней сходятся те, кто в них был. Безусые отроки, русобородые богатыри, ясноглазые мужи, битые сединой бояре в дорогих ярких тканях и крестьяне в холщовых рубахах, святые отцы с крестами под мышкой и мечами у пояса, облаченные в кольчуги и совсем не защищенные, налегке, с копьями да вострыми калеными ножами за лапотными обмотками, — и женщины, что плачут и смеются за спиной, малые дети, глухие старики, все, кто был, без разбору, без верстовых помех и спешки времени, сходятся воедино, плечом к плечу, сходятся, забывая свои имена, в единую силу, в одну, без сословий, власть, лишь немногих ставя наособицу — Димитрия, Пересвета, еще кого...

Чем дальше от нас минувшее, тем меньше имен, это так. Когда-нибудь и наше время отодвинется вдаль не на одну сотню годовых шагов, и все мы тоже сойдемся тесней друг к другу, забыв споры и неприязнь, соединимся в море по имени Время, отличаясь, конечно же, от своих предков времен Куликова поля, но лишь одеждой, иным ходом мыслей, техническими приметами, но вовсе, совершенно не отличаясь ни любовью своей, ни радостью, ни слезами, ни стараниями, ни душой. И наше море оставит на берегу лишь избранные имена — в том нет никакой печали.

Да, все сольется со временем...

Но пока еще можно успеть. Снова увидеть лица — добрые, родные.

Их уже нет. Они живы, пока живы мы.

Так помянем же тех, кто близок нам, не ушел, истаяв в памяти.

Помянем и чаркой, и словом, кто как может, согреем свою душу воспоминанием, сошьем из невыцветших лоскутов пестрый платок недавней жизни.

А есть ли в этом смысл?

Есть ли смысл в том, чтобы рассказать про целый кусок жизни, во всех подробностях, не освобождаясь

от них, как обычно? Есть ли в этом смысл — написать все как было и как есть, вспомнив все подряд и протокольно записав кусок того, что ты видел?

Точно взгляд в окно.

Ведь в нем — кусок жизни, обрамленный оконным переплетом. За окном идет жизнь, движутся люди, возникают секундные сценки.

Но если окну придать движение? Например, это окно поезда, идущего по городу. Или окно поезда идущего по твоей жизни, по твоей памяти.

С чего начать?

Она похожа на обрезанный кусок мешковины, наша жизнь. Можно потянуть за любую нить, это и будет начало. И ткань, выходит, сложена из многих начал.

Что ж...

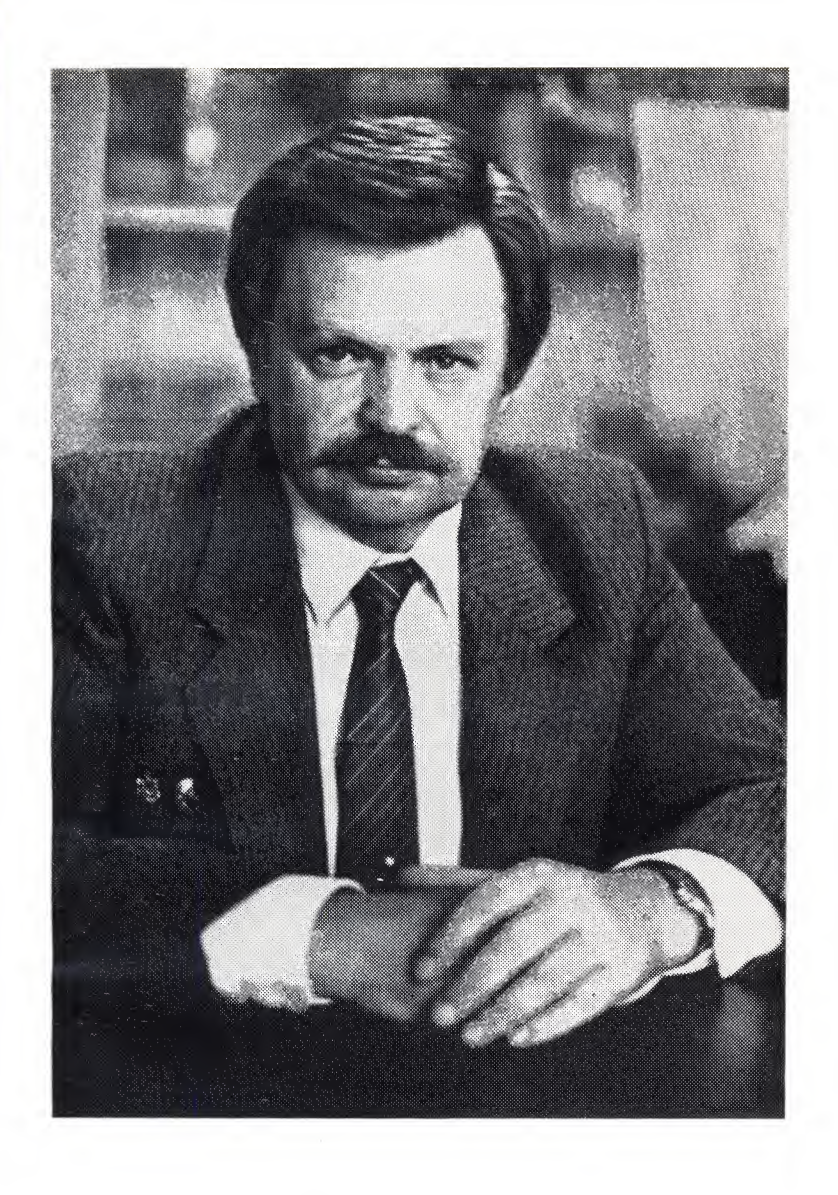
На этот раз я пришел с гвоздиками, простите. Какие-то официальные цветы. Весной я люблю сирень, а осенью флоксы, но их теперь нет, уже отцвели. Флоксы обладают сильным, чуточку душноватым запахом, и кто-то из моей родни утверждает, что это запах кладбища.

Такое утверждение кажется мне чудовищным, но вот теперь я пришел с гвоздиками — яркими, но без запаха и без чувства.

Цветы из города, возле нашего вятского кладбища их обычно не сыщешь.

Когда в городе произносят слово «Макарье», подразумевают не старинное заречное сельцо с красивой стройной церковкой, а именно кладбище — место успокоения для целого — и немалого — города, и возле оживленной площадки перед кладбищенскими воротами днюет стайка старух, одетых в плюшевые жакеты, — они торгуют цветами, точнее, веночками из цветов, только не настоящих, жестяных и матерчатых, так что живые цветы сюда привозят из города.

Я видывал пристойные кладбища; в одном латышском сельце нас, писательскую делегацию, свозили на кладбище как на экскурсию — там возле ворот высился красивый, островерхий, с любовью построенный «Дом прощания», а на могилах стояли памятники, сделанные лучшими скульпторами, и последняя пристань вызывала уважение к живым, осмысленности конца пути.

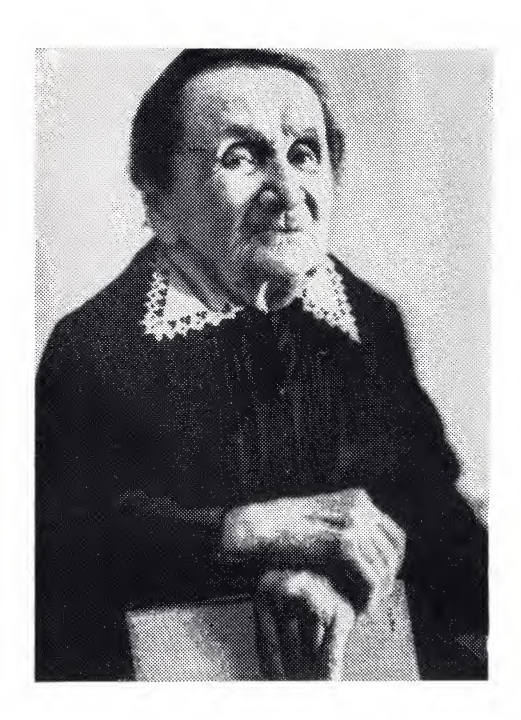


Писатель Альберт Лиханов.

Бабушка
Мария Васильевна.

С мамой и отцом —
Милицей Алексеевной
и Анатолием
Николаевичем.
1974 г.

Родной дом в Кирове, где родился и вырос.



Первая учительница — Аполлинария Николаевна Тепляшина.

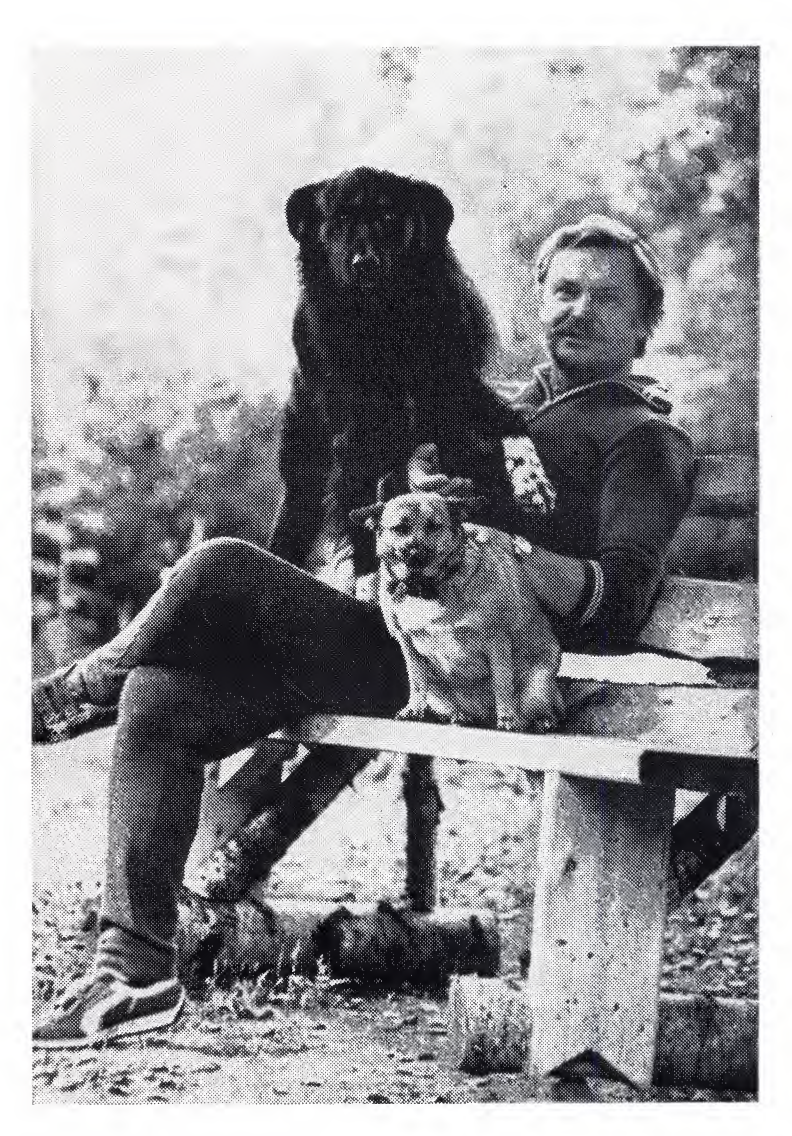
На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки, 1962.

Одно из первых интервью. Киров, 1958 г.

В этой комнатке, в родительском доме, написаны и «Голгофа», и «Благие намерения», и «Высшая мера», и почти все остальное.

В кабинете главного редактора журнала «Смена». Разговор с Михаилом Дудиным. ▶

Вручение премии «Смены» одному из самых верных авторов журнала и товарищу по литературе Юрию Нагибину.



«Мы в ответе за тех, кого приручили».

А. А. Лиханов много лет был президентом Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей и юношества Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Встреча с детьми, победителями международных конкурсов рисунка.

Декабрь 1988, Ленинакан, Армения. Детский фонд эвакуирует малышей.

Кадр из фильма «Карусель на базарной площади», снятого по повести «Голгофа». В главной роли — Р. Адомайтис.

На премьере «Высшей меры» у земляков — в Кировском областном драмтеатре. Справа от А. Лиханова — народная артистка СССР Т. Ветко.

Киев, киностудия имени А. Довженко. На съемках фильма по повести «Благие намерения».

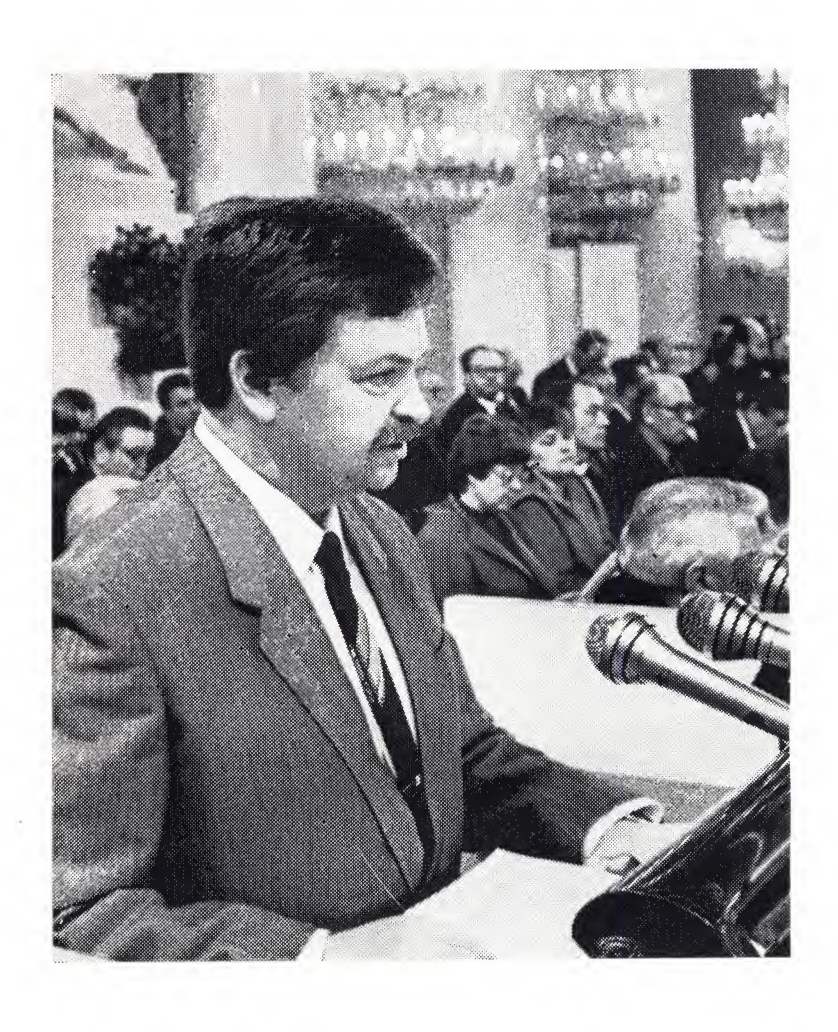
С сыном на Бежином лугу. ▶

Вручение А. Лиханову диплома и ленты почетного гражданина города Кирова.

А. Лиханов вручает Почетную международную золотую медаль имени Льва Толстого выдающейся шведской писательнице Астрид Линдгрен.

Кремль, 1987 г. Разговор с С. Образцовым после заседания Оргкомитета по созданию Советского детского фонда.

Председатель Союза польских писателей Войцех Жукровский вручает А. Лиханову Международную премию имени Януша Корчака.



14 октября 1987 года. Колонный зал
Дома союзов. Доклад
на Всесоюзной учредительской
конференции Советского детского
фонда имени В. И. Ленина.

Вятское же Макарье напоминало тупик невзрачной городской улочки, такой же серый, как и сама улица, не шибко прибранная, в скомканных клочках газет, огрызках булок, за которыми охотились вороны, в окурках, без должной месту тиши и почтения, с цыганками и невоздержанно громкой нетверезой речью поминающей родни.

С годами мой путь по кладбищу удлиняется: сперва тут лег дед, Иван Петрович Созонов, славный молчаливый старик, и никак, нет, никак не могу я простить себе, что однажды, ставши уже вполне сознательным — и все-таки не вполне! — совершил я поступок — впрочем, и поступком-то это не назовешь! — совершил глупость, пусть и детскую, а все же бестактность, как бы украв у деда — но оказалось, у себя! — одну черточку, одну теплинку, какой уж никогда, нигде, ни за что не найду.

Как часто человек, становясь образованнее, а еще вернее, «культурнее», обкатаннее, гордится тем, чем гордиться не надо, стыдится того, чему надо радоваться, освобождает себя от знаний, какие не дадут никакие учебники. Истовость впадающего в раж грамотея совершенно равнозначна оголтелости воинствующего невежды. Впрочем, я был мальчишкой, ничем таким не страдал, а просто посмеялся над дедом — прости меня, дорогой!

Всякий раз, когда я переступал порог маленькой, но чудесно светлой, ясной какой-то комнатки на улице Большевиков, где жили дед с бабушкой, круглоголовый, всегда стриженный наголо коренастый старик подходил ко мне, крепко жал руку и говорил грубовато и приветливо:

— Здравствуй-здравствуешь!

«Здравствуй-здравствуешь!» Я привык к этим словам, но, подросши и начитавшись разных степенных книг, я, как это часто бывает в отрочестве, будто впервые услышал приветствие деда и оставшись наедине с бабушкой, спросил ее, улыбаясь:

— А чего это дедушка так забавно здоровается: «Здравствуй-здравствуешь!»

Бабушка моя любила меня безмерно, безоговорочно, непоколебимо, я был среди немалого числа ее внуков единственным любимым именно так, безоговорочно, для всех остальных у бабушки были оговорки. Потом, когда я стал старше и у нее появился правнук, да тоже уже

не первый, она слабо объяснила свою любовь ко мне тем, что я был... послушным. Впрочем, вернемся назад, к моему мальчишеству и тому глупому вопросу, заданному любящей бабушке.

Она улыбнулась, вздохнула, кратко и как-то гордо мотнула головой, осуждая деда, и махнула рукой, а в следующий же раз, как я пришел к ним, дед пожал мне руку, хотел сказать что-то, верно свое обычное приветствие, но только крякнул и проговорил пресное, такое пустое и неинтересное в его устах:

— Здравствуйте!

Бабушка мигнула мне с любовью, все с той же безоговорочной любовью, и мне стало страшно неловко из-за того, что как бы за спиной у деда я сделал ему замечание, непозволительное для моего возраста и совершенно незаслуженное дедушкой.

С тех пор, будто крепко обидевшись или крепко выучив урок пацана, дед ни разу не произнес своего теплого приветствия. А у меня, взрослого, недостало толку и душевного тепла — прижаться к нему однажды, обнять и сказать на ухо:

— Дедушка! Говори, как раньше!

Летит время, давно уже я вступил в пору, когда тоскуешь о вчерашнем дне, полной мерой сознавая его невозвратимость, с недоумением вспоминаешь целую эпоху, когда ты погонял часы и годы, стремясь к целям хоть и важным, но уже достигнутым, а, значит, потерянным, и, перебирая утраченное, вспоминая пропущенное — теплое слово, забытое внимание, ласковый поцелуй — среди глухой ночи, или, напротив, в многолюдье, на шумном заседании, когда ты вдруг ощущаешь себя одиноким, точно в лесу, когда исчезает, тает шум, и взгляд твой утопает в тумане воспоминаний, в глаза натекают слезы, и ты слышишь:

— Здравствуй-здравствуешь!

Куда бы ни мотался я по белу свету, чего бы ни видал, нет, ни за что я не найду больше тебя, дедушка, и твоих ласковых, добрых слов. Никто, никогда не скажет мне, встретив у порога:

— Здравствуй-здравствуешь!

Его смерть ошеломила меня. Может быть, потому, что это была первая смерть, увиденная собственными глазами. Он встал утром, дело было зимой, стал надевать валенки и вдруг молча повалился, захрипел, бабушка позвала соседей, его уложили в постель, это был

инсульт. Когда я увидел его, едва узнал. Дед осунулся и похудел, щеки его провалились и обросли седой щетиной.

Эта щетина пугала меня. Все дни, пока он воевал со смертью, лежа высоко на подушках, и громко, с трудом, дыша, щетина неутомимо, яростно отрастала. Словно все старания дедушки отвергались его телом, пропадали впустую и лишь одна борода подчинялась ему, одна борода. Он лежал, закрыв глаза, закинув подбородок, и с каждым днем белая изморось щетины делала лицо его все светлее. Будто его осеняла неведомая нам ясность.

Потом дыхание сделалось судорожным, точно ему не хватало воздуха. Дедушка задышал рывками и все реже. И вдруг я не услышал больше хриплого вздоха. Стало тихо. Сначала заплакала мама, потом бабушка.

Странное дело, я встречал его!

Дед умер, его не стало, это было реальностью, но вдруг в московской толпе я видел его суконное пальтецо, коричневую кепку, знакомый седой затылок, я прибавлял шагу, догонял, и понимал, что это совсем другой человек, другой старик, вот только спина и затылок — совершенно дедовы.

Или вдруг я видел его на эскалаторе метро. Он стоял вполоборота, задумавшись, меня охватывал жар, но человек оборачивался — похожим оказывался только профиль.

Потом я узнавал дедову руку — одну только руку или его любимые сапоги с галошами — совсем на другом человеке.

Постепенно, со временем, это прошло, оставив во мне новую привычку — присматриваться к старикам. Я вглядывался в них с пристрастием и любовью. Теперь только изредка увижу я на незнакомом лице знакомую седую бровь или седые, такие похожие усики.

Время делает свое дело.

А может, я вглядываюсь в свое будущее, если оно, конечно, настанет?

Нет, это будущее не страшит; оно вызывает теплую грусть, словно время приближает меня к очень близкой, все понявшей, а оттого спокойной родне.

Где-то в этом будущем мой дед...

Он был партийный, и проводы устроили в клубе овчинно-шубного завода и хоронили в гробу, обитом кумачом.

Меня поразило, как много пришло работниц, как искренне плакали они, обступив красный гроб со всех сторон, взяв его в плотное кольцо.

— Все его ученицы, — сказал мне секретарь парткома. — Петрович, почитай, ползавода выучил.

Этого секретаря я решительно не помню, время стерло из моего сознания его лицо, великодушно оставив лишь ощущение безграничного доброжелательства. Поначалу я решил, что это просто дань обстановке, но потом пришел к точному выводу: на меня распространялось отношение к деду. И не только этого человека. Когда мы взялись за гроб, чтобы вынести его из клуба, меня охватил озноб: я такого прежде не видел, не знал — нам кинулись помогать все эти женщины. Кто поддерживал, а кто просто держался за красный гроб, и в этом порыве была какая-то своя правда, свой долг.

Гроб выплыл на мартовский морозец, солнце голубило дыхание человеческой толпы, автобус медленно тронулся от клуба, точно отодвигаясь от последней дедовой пристани.

И я вспомнил, как однажды, впопыхах, а вовсе не чинно, готовясь к торжеству с подходцем, заготовками, заранее, как делала она всегда, когда ждала гостей, бабушка пригласила нас к себе. Должен был прийти важный для дедушки человек, он уже был у них, когда мы пришли — поразительно мягкий, интеллигентный полковник, военпред, то есть военный представитель, хотя шубно-овчинный завод, где работал дедушка, был самым что ни на есть мирнёхоньким старинным заводишкой.

Ан нет, полковник без устали повторял, как Иван Петрович выручил его заказ, в Казани, например, не смогли, а вот он, мой дедушка, сумел что-то такое сделать, и как-то так необыкновенно, и оба они довольно поглядывали друг на дружку, и дед был возбужденно розовощек и за столом, где всегда строго соблюдалось, кто где сидит, он занял не свой стул.

Закуска была, хорошо это помню, обыкновенно магазинская, без бабушкиного сказочного пирога, который ставила она по праздникам с ранехонька утра, пекла в

русской печи на общей кухне, которую ведь еще истопить надо не абы как, а умеючи, с мастерством и виртуозностью — рыбный пирог, да еще в бабушкином исполнении, терпеть не мог жара неровного, когда низ пригорает и портит хозяйке всю ее жизнь.

Бабушкин пирог был непревзойденным искусством, увы, ушедшим вместе с нею, и хоть вроде передала она секрет рыбного пирога с красной рыбой своей дочери, моей маме, но так, как выходило у бабушки, уже ни у кого не выходит, какие бы объяснения ни выдвигались, мол, все дело в печи, в жару — нет, не выходит.

Бабушка рыбку собирала заранее, берегла ее по многу месяцев кряду, в крепком, видать, засоле, перед праздником, к Октябрьским или Первомаю, начинала вымачивать, заводила с вечера тесто, а в день торжества вставала ни свет ни заря, распаляла печь, прогревала ее бока, ублажала черную пасть, добивалась ее расположения и уж потом только, по одной ей ведомым приметам, в какой-то приспевший миг ставила свой заповедный противень.

Ах, какая была верхняя корочка у бабушкиного рыбного пирога! Даже, казалось, весь сыр-бор только из-за этой верхней корочки! В нее, эту корочку, да не местами, а по всему противню, все хозяйкино мастерство и вся загадка вложена — во рту тает, а вкус не подлежит описанию: рыбным духом только опалена, какая-то нежнейшая горчинка и вся масляная до такой степени, что походит уже скорее на что-то сверхкондитерское, чем на гастрономию высшего порядка, — и нет, слов все же недостает!

А рыба! Она упарилась до поту в тестяной шубе, разбухла в объеме, пропитала духом и плотью окружающий ее рис, но все же имеет некую сухость и вес, ощущение серьезной и плотной еды, а не так, баловства какого-то.

Хотя верхняя корочка, несомненно, высшее в пироге, нижняя корочка тоже не последний пустяк. Она пышна, не подгорела, и в то же время достаточно тверда, чтобы не пропустить ни сок, ни дух благословенной красной рыбы — горбуши ли, кеты или еще чего в том же высоком роде.

Но в тот раз пирога не было, значит, военный гость нагрянул нечаянно, без упреждения, однако был он чем-то по-особенному приятственен деду, какая-то была меж

ними своя военная тайна, но дед славился неразговорчивостью, и мы разошлись ни с чем — военный да военный, вот вам и все.

И только в шестьдесят первом, после полета Гагарина, дедушка признался. В Первомай, уже под пирог, приняв рюмочку, он в минуту, когда гость еще молчалив и голоден, а оттого удобней всего говорить без помех, сказал чрезвычайно немногословно:

— Помните, полковник-то приходил. Ну так вот. Шил я им. Шил.

И надо было еще помозговать и позадавать дополнительные вопросы, чтобы понять: дед шил специальные утепленные костюмы для космонавтов.

Может, тренировочные, а может, полетные для самого Гагарина — этого он уж не знал.

Знал, что для них.

И еще одна извинительная как бы подробность. За столом сидела только наша семья. Если бы был хоть один посторонний, дед никогда бы не решился на такое признание.

И вот он лежит здесь, он первый, но вначале я иду к бабушке. Она тоже здесь, пережила деда на четыре года.

Мне горько, я помню невыполненное обещание, да еще такое, как это. Бабушка попросила меня похоронить ее рядом с дедом. А я не смог выполнить этого: кладбищенские порядки самые последние и самые жесткие на этой земле. Усопших укладывают шпалерами, и здешняя земля похожа на казарменную спальню, где свободных мест рядом с дорогими людьми, увы, не планируют.

А рядом, через десяток могил, бабушка жены. Потом, через недолгий переход, ряд, где похоронен дедушка.

Да, мой путь по кладбищу становится все длиннее с годами.

Брат задержался у могилы деда, руками выдирает переросшие травяные лохмы, а я иду дальше к могиле давнего друга — как он любил похохотать, обожал всяческий юмор, смеялся заразительно, мог развеять самое дурное настроение — и потом перехожу сюда.

Типовой скромный памятник, цемент с мраморной крошкой, пожелтевшая фотография и ее имя: Аполлинария Николаевна Тепляшина. 1879—1976.

С осторожностью, будто это стенки хрупкого сосуда, прикасаюсь я мысленно к этим двум датам, одной невидимой мне, неизвестной, даже непредставляемой, к другой — близкой до обыденности, так что даже трудно вспомнить, чем знаменит для меня этот недавно прожитый год.

А вместе они, написанные через черточку — стенки сосуда — но почему хрупкого? Напротив! Жизнь прожита, она состоялась, и теперь этим стенкам не грозит уже ничто.

Я перечитываю цифры. Поразительно! Она не дошла до своего столетия всего лишь трех годовых шагов.

Аполлинария Николаевна была моей учительницей.

И так вышло, что я успел проститься с ней.

За два года. Да, за два года до ее исчезновения.

Это был трудный мой год. Что-то происходило во мне.

В самых неподходящих местах, среди разговора, в троллейбусе или прямо на ходу, что-то вдруг случалось с сознанием — без щелчка, без всякого предупреждения тела оно выключалось, на сколько, я не знал этого, наверное, на мгновение, но и этих мгновений было достаточно, чтобы погрузиться глубоко в холодную, без пределов, черноту. Я возвращался в реальность, точно выскакивал из жуткого омута, нетвердо стоя на ногах, покачиваясь, теряя, а потом опять обретая землю под собой, и эти ныряния в ничто становились все повторяемей и чаще.

Краткие потери сознания сопровождались непроходящей мучительной бессонницей.

Да, немало страданий придумано для человека — наверное, чтобы уравновесить радости; мне кажется, жизнь можно сравнить с игральной картой, где нарисована картинка — два валета, зеркально глядящие друг на друга, две дамы, два короля; вся разница лишь в масти — на картах жизни черви и буби обязательно

умещаются с пиками и трефями. Одна тут явная неточность: на картах, даже столь условных, красного и черного ровно по половине, а жизнь не гарантирует таких пропорций.

Одному выпадают обе половинки козырно-алыми, и жизнь его беспечна до гробовой доски. Другому уготовано черное... Впрочем, сам я решительно против предопределенности невезения, я за счастье и верю в лучшее, когда даже несложившаяся судьба полна прекрасных мгновений.

Скорей всего беды страшны своей вечной несправедливостью, желанием человека прожить жизнь без них, разрушенной верой такой возможности. И тут уж ничего не попишешь.

До самого последнего дня, уже попав в Первую градскую, к хирургу Савельеву, я надеялся на то, что, может, все обойдется, и даже тогда, когда как будто согласился с мыслью об операции, когда принимался шутить с друзьями — вот, дурачок! — дескать, жалко мне своего живота, видите, какой гладенький, а будет резаный, даже когда назначили день, я все еще надеялся, как малое дитя: а вдруг по-другому можно, терапевтически, без крови...

Хирург Савельев тогда был совсем молод для своей славы, не то ему только исполнилось пятьдесят, не то еще и пятидесяти не стукнуло. Мы общались с ним считанные мгновения; он пришел, как только меня положили, помял живот, спрашивая: «Тут болит? А тут?» — но у меня нигде не болело, и он ушел, мне показалось, недовольный мной, хмурый. Вообще он показался мне неприветливым и даже грубым. В мои представления о враче входила непременная разговорчивость, участливость и уж непременное успокоение больного, если, конечно, ты больной.

Так что непривычная неприветливость доктора меня обрадовала: раз не стал уговаривать, значит, ничего, жить еще можно. Откуда мне было знать, что субъективные ощущения хирурга могут не очень-то волновать, главное результаты анализов. А их пока не было.

Тем временем по городу пошли слухи.

«Ах, злые языки!» Горько вспоминать, как выстрелы этих пистолетов достигли моей жены, поща-

див только сына. Меня, как я понимаю, они достичь не могли, все-таки, видно, пока жива этика последнего шага.

Потом, позже, один приятель признался, что он боялся прийти ко мне, увидеть меня — что означал этот страх? Отсутствие силы? Любовь к собственной шкуре? Боязнь обреченного взгляда? Что ни назови, все непристойно.

Слухи настигли жену, хотя она и без слухов все понимала.

Милая ты моя, прости за все твои боли! Прости мой тяжкий характер, вздорность и нетерпение. Жена, утверждал я тогда, амортизатор мужской души. Жизнь несет тебя по кочкам и рытвинам, на работе склока, глупые претензии к рукописи, и все волочешь домой, взваливаешь на амортизатор своей души, давай, смягчай, принимай на себя удары и ушибы, которые получил я, не мне же одному все эти разнообразные несправедливости.

Мы ссорились часто, по всяким пустякам, это потом врачи объяснят мою раздражительность многомесячной бессонницей и тайным внутренним кровотечением, когда уходит гемоглобин, в ушах слышится звон и на ходу теряешь сознание, а тогда... Нет, я не хочу признать, что был не прав всегда лишь я, ты редко уступала, и в семейных сражениях не было победителей. Потом, оставшись одна в пустой маленькой квартире, когда засыпал сын, и ты собирала завтрашнюю передачу, к тебе слеталось много скорбных мыслей.

Может быть, не очень сладко и не всегда весело, но даже это лучше, чем ничто, чем пустота и одиночество. Не знаю, и никогда мне не узнать, думала ли ты о самом последнем, и винила ли хоть в чем-то себя?

После того, как минули те месяцы, я прямо спросил тебя об этом. Ты посмотрела на меня открыто и ответила, что не имела права на это. Не имела права думать о том, что где-то там говорили знакомые.

Признаться, я не очень верю в это. Тяжкие мысли приходят без спросу, прилетают, точно воронье, не в одиночку, а стаей, и хоть одна да все же пробьется. И нет у меня прав судить за это.

Хотя не верить тебе не могу, не имею права.

Я верил в ту пору тебе, одной тебе. Я ждал каждого

твоего прихода, как не ждал ни разу за пятнадцать лет нашей общей жизни.

Чем ближе был день операции, чем неотвратимей становилась она, чем больше обследований записывалось на мой счет, тем у́же становился мой мир. То, без чего жизнь еще месяц назад казалась бессмысленной, вдруг оказывалось маловажным, пустым, никчемным. Мнения почему-то значительных — почему? — людей, даже работа, и, что страшней всего, собственные намерения — все отошло в туманные кулисы неправдоподобия, в нереальность, решительно неинтересную мне, в недавнюю, но историю, утратившую цвета, запахи и звуки. Прошлым летом, перед тем как попасть сюда, я с увлечением работал в Дубултах над новой повестью, но дело свое не закончил и теперь, отсюда, из больничной палаты, оно казалось мне бессмысленно пустым, никчемным, не стоящим никакого интереса.

Все важное так недавно утратило смысл, зато вчерашняя как будто бы незначительность стала главным, занимающим меня с утра до вечера.

Например, твои шаги.

Твое улыбающееся лицо.

Твои, черт побери меня совсем, глаза, похожие на маслины. Твоя прическа. Твоя праздничная всегда одежда.

Лишь потом ты призналась мне, чего стоило тебе всякий раз быть нарядно одетой и празднично причесанной. Ведь в той, простой, обычной нашей жизни ты далеко не всегда одевалась так тщательно и нарядно. А сейчас, в дни беды, ты не могла себе позволить небрежности. Ты шла не просто в больницу, а на свидание со мной, как пятнадцать с половиной лет назад и знала, что я жду этого свидания, даже не как влюбленный, а как ребенок.

Ребенок ждет гостинцев, ждет свою мать, ее тепло, ласку, доброе слово. В ту пору я мог обойтись без гостинцев, но не мог без ласки, тепла и утешающих слов.

Ты входила, подтянутая, на высоких каблуках, сияя улыбкой не только мне, но и моим соседям, ты всегда считала нужным ободрить людей, не очень знакомых тебе, но нуждающихся в добром взгляде и доброй улыбке, но, прежде чем войти, ты легонько стучала в стеклянную дверь бокса, закрашенную белой краской, и у меня замирала душа, а перед тем все утро, и весь ве-

чер — ты приходила дважды в день и расслабилась только после операции — я вслушивался, точно и в самом деле больной, только по другой части! — в шаги по коридору. Женщин на каблуках в отделении экстренной хирургии Первой градской передвигалось немало, все больше студентки, женщине, облаченной в белый халат, белые брюки и марлевую маску, идут еще и белые туфли на высоком каблуке, в этом есть свой шик, но только для студенток — я не видел ни одной женщины-хирурга или операционной сестры на высоких каблуках, операция — не танцы, и все же каблучки в коридоре стучали каждую минуту, а я ждал других, твоих.

Чтобы заглушить дурные мысли, я изобрел свой способ временной анестезии — пачками читал детективы, но, несмотря на захватывающие сюжеты, слух не выключался и был настроен на твои шаги.

Время от времени я обрывал сюжетную вязь, глядел на часы, и сердце мое наполнялось солнечной радостью предстоящей встречи. Потом я слышал стук именно твоих туфель, ты входила, улыбаясь, целовала меня, говорила добрые, приветливые слова, а я твердил сам себе: ведь вот оно, простое человеческое счастье, и оно у тебя есть, в избытке, так отчего же ты не ценил, не видел, забыл его! Отчего вообще ты считал главным ничтожное или уж, по крайней мере, второстепенное, не заметив, прохлопав самое прекрасное?

И я давал себе зарок: жить по-новому, если все обойдется.

Ах, если бы мы оставались всегда верны собственным клятвам! Если бы помнили каждый миг, какие ценности настоящие, а какие мнимые! Увы, слаб человек, и едва отхлынет беда, как захлестнет жизнь, затянет в свои воронки, завертит неотложностью мелочей, ложной многозначительностью суеты, пустых пересудов, ничего не значащих мнений, которые имеют способность исчезать через срок, не указанный точно, но достаточный, чтобы осознать их никчемность...

Если все обойдется, давал я зарок, я стану внимательнее к тому, что кажется привычным и простым, ну хотя бы к природе, которая для меня теперь вот это

хоть и большое, но все-таки всего лишь окно бывшего госпиталя хирурга Пирогова.

В окне синее небо и обещание весны сменялись хмарью, и прежде когда-то, совсем-совсем недавно, эта хмарь, эти низкие тяжелые облака, волглый снег где-то посередке между зимой и весной, московская серость, когда брезгливо обходишь грязные сугробы, утыканные окурками, вызывали лишь озноб и ломоту в висках, — а теперь вот и недоступная эта хмарь была интересна, влекла, дарила надежды.

Вороны в скверике у больницы занимали меня своей житейской опытностью, деловитость их умиляла и казалась замечательной: неужто это низшая тварь? Нет, никак нельзя согласиться!

Даже запотелость окна, тончайший водяной бисер на стекле, даже скрип тормозов за свериком, на Ленинском проспекте, шелест шин и редкие, запрещенные ныне, звуки автомобильных гудков, влекли свежестью и удивительной новизной.

Мир словно стронулся во мне и медленно двинулся вокруг оси.

То, что я не замечал прежде, стало вдруг важным и очень существенным для моего существования.

Даже обычный звук. Обычный вид.

Свою ценность жизнь подчеркивала мелочами.

А то, что было важным, волновало, расстраивало, даже злило, теперь казалось смехотворным и глупым.

Совсем незадолго перед тем меня предал товарищ.

Теперь, когда я как будто возвращен на старые рельсы, воспоминания об этом не кажутся мне такими уж безобидными. Предательство непростимо в любые времена. Впрочем, нет ли нового именно в моем случае: предательство без всякой нужды, без потребности, предательство просто так. Бытовое предательство — назвал его я тогда.

Когда все случилось, я страдал от обиды, как от жуткой боли. Еще бы!

Я всегда сочувствовал ему, этому человеку. Намного старше меня, в жизни он вел себя по-мальчишески, и слишком многие знали о том, как не сложилась его жизнь.

Когда-то женился, вскоре развелся, а ребенка своего у бывшей жены выкрал — вот и весь сказ. Решиться на такое многие ли мужики смогут? Вот я, например? Нет, такое по плечу характеру очень сильному или странному. Он казался мне чудаком, да, впрочем, и был таким — неуравновешенным, экспансивным, способным вдруг зайтись в крике, ну а еще каким-то заброшенным, одиноким. Его или боялись, предпочитали не связываться, или просто сторонились, считая «чайником».

Но он не был «чайником». Второй, замкнутой от многих взглядов половине его жизни требовалась компенсация: чье-то тепло, интерес, внимание к его судьбе, полной событий важных, даже драматических. Случилось так, что он увидел верстку моей первой московской книги, глаза загорелись: он ведь старше, а книга выходит у меня. Слово за слово, я обронил: сядь, мол, да пиши, пробуй, пока не поздно, для этого силы нужны, еще какие. Он взялся.

Каждый вечер приходил ко мне, я радовался ему, как брату, и тянулись эти долгие останкинские вечера в разговорах о книгах, писателях, жизни, войне.

Мой друг воевал, об этом и писал, изводил пачки бумаги, замахнулся сразу не на рассказец, а на большое, серьезное — то ли повесть, то ли роман.

Помню, однажды сильно заспорили о новой повести Трифонова, по-разному поняли финал, — чтобы выяснить истину, нашли номер его телефона, я набрал. Представился читателем, рассказал, что вот мы, мол, спорим с приятелем, разъясните, кто прав. Не помню уж, чье понимание подтвердил Трифонов, да и не в том дело, просто, мне казалось, хорошо и чисто говорили мы в те поры, судили о высоком, надеялись на удачу.

Потом приятелю как бы повезло, несмотря на возраст, он пробился на совещание молодых, попал в семинар крупного мастера, тот ободрил бывшего фронтовика, обещал поддержку, слово выполнил, у них возникли свои отношения, и тут я стал замечать, что приятель мой стал не говорить со мной, а как бы меня проверять. Так ли я говорю про то-то и то-то, что и его маститый учитель. Чаще выходило, что, даже не будучи знакомы, мы с его высоким покровителем и думаем и говорим примерно одинаково, и я только пожимал плечами, когда завсегдатай моего дома сообщал мне об этом. Ну

что ж. Но какое, в сущности, это имеет значение? И почему мы нынче говорим именно так?

Еще не поняв, я почувствовал перемены в моем друге. Я отошел на вторые роли, ну пусть, я не претендовал ни на какие роли вообще. Мне было жаль его когда-то, я хотел помочь и делал что мог. Вот и все.

На этом история могла бы и завершиться — вполне благородно, без каких-то бы ни было осложнений. Мало ли случаев, когда чувства охладевают, но ведь остается же знакомство, если не дружба, так товарищество.

Но друг мой, втягиваясь в литературную суету, был чрезмерно внимателен к сплетням и даже не сплетням, а мелким человеческим пакостям, когда кто-то бросает на ходу реплику, начиненную намеком, конечно же, без имен, но все-таки, когда, ссылаясь на очень осведомленные источники, шепчут в ухо несусветную ересь, а то и заведомую ложь; когда не то что отраженный, но трижды отраженный звук выдается за слово совершенно иного значения, — так вот, увлеченный препарацией всевозможных пакостей, на каком-то околописательском перекрестке подцепил он слушок о том, будто вроде бы я что-то такое сказал о нем.

Он явился ко мне в том виде, который отвергал от него большинство — с выпученными глазами, растянутым ртом, предъявляя невнятные претензии. Тут же исчез, я дозвонился до него, кроме оскорбительных намеков, ничего не услышал, положил трубку и сказал себе: хорошо, пусть будет так.

Если подобранный где-то мусор способен затмить взгляд на все прошлое — да и настоящее, — пусть будет так.

Как я страдал тогда! Как мучительно выкорчевывал в себе память о разговорах, о поиске истин, о том, где правда и какое зло — память о высоком мышлении, которая, оказалось, может уживаться с готовностью к клевете и легкому, без всякой нужды и основы, вот уж лучше слова не найти — бытовому предательству.

Ведь быт — это простирнуть рубашку, закурить сигарету, почистить ботинки, высморкаться.

Он предал, точно высморкался.

Перед тем, как перегореть, лампочка вспыхивает ярче. Так же бывает с чувствами. Я горел, было тошно, потом во мне все испепелилось.

Я угас и утих. Это произошло в больнице.

Однажды ты пришла и сказала, что звонил бывший друг, винился, страдал, объяснял, будто вышла ошибка, просился прийти в больницу.

Но я лежал с капельницей, на стойке висела бутылочка с бурой, устрашающей жидкостью, и во мне, таким образом, гуляла чужая кровь.

— Глянь-ка, — попросил я тебя, — фамилию донора.

Повернув голову, ведь бутылочка висела горлышком вниз, ты прочитала женскую фамилию.

— Спокойная женщина, — сказал я. — Уравновешенная.

— Почему? — улыбнулась ты.

— Потому что мне решительно наплевать на его звонок. Понимаешь? Решительно. И я говорю это совершенно искренне.

Мы с тобой пошутили насчет коктейля, который бродит в моих венах. Неизвестные мне доноры, мужчины и женщины, слились своими кровями в неизвестном им сосуде, во мне, и что из этого выйдет, известно одному богу.

— Все это спокойные, закаленные люди, — говорила ты.

— Почему?

— Потому что кое-кто стал спокойнее.

— Ну, это еще неизвестно. Надо подождать, чем кончится. Ведь главное переливание — во время экзекуции. Вольют кровь ревнивца, например, Отелло, я вернусь и задушу тебя.

— Зачем ждать? — смеялась ты. — Души сейчас. — И подставляла шею.

Твою шею совсем не трогало время — ни единой морщинки — достояние двадцатилетней девушки, я прикасался к ней рукой и украдкой от соседей целовал.

Мой бывший друг с его копеечным предательством ни чуточки не волновал меня, это было так бесконечно далеко, что с трудом верилось в правдоподобие происшедшего.

Меня волновало такое простое — твоя близость, твоя

молодая шея и глубокая, просто бездонная радость, что ты опять пришла ко мне.

Вот что подлинная ценность.

Меня обследовали, а потом готовили к операции два месяца. В тело влили добрый десяток флаконов крови, не говоря уж о всяких физрастворах. Поначалу я охал и отворачивался, когда сестры — да не всякая ловко, с первого раза — втыкали иглы в вену, потом привык к процедуре и спокойно глядел, как проливаются на салфетку первые капли то ли моей, то ли донорской крови из тонкого прозрачного шланга, соединенного с бутылочкой.

Надежды надеждами, а тело оказывалось как будто бо́льшим реалистом и безропотно готовилось к операции, набирало сил — на этот раз чужих.

Природа не терпит пустоты и на потерю одного товарища подарила другого. Заведующий отделением, строгий, как сам Савельев, Вячеслав Алексеевич, оказался просто Славой, милым, добродушным и сердечным человеком. Однажды, в свободную минуту вечернего дежурства, он нарисовал мне схему будущей операции, объяснив, что такое резекция слепой кишки и шитье «бок в бок»: тонкая кишка пришивается прямо к толстой, при этом часть толстой тоже удаляется, сбоку ее зашивают.

Сунув бумажку в карман, я вышел в коридор, все еще изображая подобие улыбки, пошел по кафельному полу мимо реанимации. Возле двух этих дверей царила благоговейная тишина, все в отделении знали, что там люди выкарабкиваются обратно на мир божий, а раз каждому — или почти каждому — в экстренной хирургии светило оказаться там, высокие, старинных образцов, двери внушали священный трепет. Однажды этот вход на Голгофу оказался открыт, сестра задержалась на пороге, что-то договаривая вовнутрь палаты, и я увидел странные приборы, светящиеся разноцветными лампочками, экраны осциллографов, по которым бежали, то вспыхивая, то угасая, яркие точки, и еще что-то непонятное непросвещенному уму, никелированное и черное. Я поспешно отвернулся и пошел восвояси, пытаясь вычеркнуть из памяти увиденное, но не тут-то было. Мысли упрямо возвращались к реанимации, меня окатывал холод. Я понял, что это элементарный

страх. Чтобы одолеть его, требовались осознанные поступки.

Детективотерапия помогала, и неплохо. Правда, были срывы, они выглядели так: ты читаешь, увлекшись, забываешь все на свете, уходишь в повествование, жадно ждешь, когда откроется, кто же преступник, но потом лишь на миг отрываешь взгляд от страницы, и тебя прошибает холодный пот. Край больничной стены, угол кровати, краешек матраца, простыни, одеяла возвращают тебе одновременно столь неясную и столь очевидную перспективу.

Я решил привыкать. Читать стал в коридоре, увы, часто отвлекаясь, но зато вбирая в свое сознание вид хромающих, едва бредущих больных, коляски, с которых свисают пустые брючины или обрубки ног в окровавленных бинтах, робких, не знающих куда идти посетителей, крикливых нянечек, которых ничуть не останавливает больничная святость: они кричат что-то друг дружке через весь коридор, с грохотом передвигают жестяные ведра, шлепают мокрой тряпкой, прикрепленной к палке, протирают полы; веселых, смешливых сестер, которые вдруг становятся деловито-торопливыми.

Потихоньку я понимал, что единственно утешительной педагогикой больницы может быть привыкание. Я старался привыкнуть к этому необыкновенной ширины старому коридору, скопищу всевозможной зрительной и звуковой информации, где так никчемны слова и высокое философствование, к этой человеческой мясорубке, способной соединить в своем пространстве страдание и беспечность, боль и бесстыдство, смех и кровь. В сущности, коридор был моделью жизни во всей ее горечи и простоте.

И все-таки это был удивительный коридор! На стенах его висели картины. Надо же, тут были только жизнерадостные сюжеты: солнечные пейзажи с березками, группа нарядно одетых людей, молодые, розовощекие лица. И снова пейзажи.

У каждой рамы ярким пятнышком светилась никелированная табличка, где указывались имена художников и названия картин. В галерее этой царило разностилье, шедевров тут не было, хотя на многих табличках значились известные фамилии, впрочем, важно ли все это здесь, в больничном коридоре? Важным было иное, и оно присутствовало — настроение.

Доброе, светлое, хорошее настроение. Надежда. Если

попытаться выключить восприятие всего остального и оставить лишь одно — взгляд на эти картины, можно прямо-таки купаться в прекрасных надеждах на лучшее, спокойно и радостно, точно в окна, выглядывать в багетные рамы, любуясь здоровыми и бодрыми людьми и вечно счастливыми видами земли.

Я узнал, что все эти картины подарили больнице художники, которые здесь лечились. Они ушли отсюда, наверное, пережив все то, что переживал сейчас я, а потом, подумав, прислали или привезли полотна, которые могли быть разными по содержанию, но непременно одинаковыми по настроению.

Точно незнакомые теперешним больным художники призывали нас к вере, что все обойдется и у нас, как однажды обошлось у них.

Я думал, мне вполне удалось привыкнуть к коловращению больничного коридора и приготовиться к операции, к высокой старинной двери в реанимацию, куда порой обычным, деловым шагом провозили каталку из операционной; порой же раздавался странный шум, врачи и сестры гнали каталку бегом, в руке у первого или первой, точно фонарик, в высоко поднятой руке сосуд с физиологическим раствором, колеса скрипели, все, кто был в коридоре, бросались к стенам, чтобы не мешать проезду, и я мгновенной вспышкой запечатлевал бледное лицо мужчины или женщины, старых и молодых, очертания обнаженного тела под одной-единственной простыней, резиновую трубочку, приклеенную к носу обыкновенным пластырем, кислородную подушку в руках бегущей, напряженно-сосредоточенной сестры.

Дверь в реанимацию хлопала совершенно по-входному, точно она была на пружине, стреляла без всякой деликатности, и каталка с неизвестным или неизвестной въезжала в джунгли кардиологической, дыхательной и прочей аппаратуры, чтобы поглотить тишиной чью-то боль и чье-то страдание.

Я старался уверить себя, что привык или скоро, совсем уже скоро привыкну и к этому, что делать, такова жизнь, во всей ее правде.

Но вот однажды вечером я прогуливался по коридору, не ускоряя шагов перед реанимацией, и взгляд мой упал на ширмочку в углу, за дверью, неподалеку от картины, изображавшей веселых, прекрасно настроен-

ных людей в солнечном освещении на лоне цветущей летней природы. Сначала я не обратил внимание на эту ширмочку и ходил мимо нее, углубляясь в себя, внушая себе, что да, такова жизнь.

Потом что-то дернуло меня; совершенно праздно, из чистого любопытства я заглянул за ширмочку и отшатнулся. Прямо передо мной, на каталке, укрытый с головой, лежал человек. Край простыни сбился, и я увидел коченеющую ступню.

Нет, не удалось мне привыкнуть к больнице, стать своим среди стонов и болей, да ведь и противоестественно такое привыкание. К виду смерти привыкнуть нельзя даже профессионалу, например, врачу отделения экстренной хирургии.

После больницы, это понятно, у меня прибавилось приятелей среди медиков, и я, пройдя их руки, никак не мог — да и сейчас не могу — осмыслить меры их ответственности за жизнь человека, в нутро и даже в самое сердце которого они влезают со своими острыми инструментами. Я долго приставал к ним и особенно к одному из них, Пете, с которым потом мы стали соседями по дому.

Приходя в себя, перебирая прожитое, я все норовил выяснить, какие же чувства владеют человеком, которому дано право разрезать другого.

Есть ли хоть доля жалости, например? Ведь хирург изучает больного, часто успевает узнать его жизнь, его родных. Наконец, бывают варианты, когда оперирует друзей. Может ли дрогнуть рука? Как ведет себя врач, если знает, что дело на самом деле куда хуже, чем предполагает больной? Как, где и кто обязан говорить родным про самое тяжкое? Что испытывает врач? Это представляется тяжкой обязанностью? Болью? Вообще применимо ли это слово к самому врачу или он способен облачиться в некий броневой панцирь, спасающий его от стона жены, от крика больного, его хриплого вздоха на последнем пороге?

Вообще что за человек — врач, отваживающийся войти в другое тело? Ведь и тут возможен — но невозможен! — брак, ошибка, и, предположив, применив простую логику, можно догадаться, что всякий хирург смертен, то есть ошибается и, даже, возможно, имеет право на некий процент профессиональных неудач.

Как же тут быть? Остальные молчат? Или есть, кроме клятвы, еще и суд Гиппократа? Или существует негласный корпоративный уговор, по которому врачи-свидетели не замечают ошибки коллеги и не оценивают это словом «вина»?

Порой Петя крякал, можно подумать, я первый спрашивал его о таком, порой отвечал, мы расставались ни с чем, но потом он приходил ко мне снова и говорил:

— Я думал над нашим прошлым разговором. Так вот: во время операции жалости быть не должно. Только работа. Никаких чувств.

Или:

— Войти в чужое тело — это обязанность. Она диктуется не прихотью, а необходимостью. Поэтому здесь действует обыкновенная ответственность всякой профессиональной обязанности.

И еще:

— Говорить о самом тяжком неимоверно трудно. Мысль об этом преследует и мучает словно бессонница, но и тут возникает обязанность.

Петя — настоящий москвич, коренной, по рождению, интеллигент с долгой семейной родословной, мыслит логично и четко, ответы его я принимаю с доверием, но что-то между нами все-таки остается, какая-то взаимная недоговоренность, что ли, недопонимание. Не могу объяснить его, поэтому объясняю себе: что бы он ни говорил, мера душевной — подчеркну это слово — ответственности мне не ясна. Ведь в нашей обычной жизни много волнений по поводу каких-то, в сущности, пустяков. Согласен, от этого зависит настроение, в конце концов, человеческие отношения. Это важно. Но тут! От тебя зависит жизнь. Человеческая жизнь!

Врачи — интеллигентный народ, они читают книги, стихи, да что там — они люди, этим сказано все, и им ясно, как и поэтам, что значит всякая судьба. Сколько в каждом из нас перекрестков, сколько узелков, которые связывают нити других, иных судеб, сколько детей и матерей не мыслят жизни своей без сына и отца, сколько других сердец способны оборваться, а то и вовсе умолкнуть от остановки одного-единственного сердца! Врачи — люди, они сами болеют и умирают, сами страдают и плачут, сами кричат, если больно, — и все же скажите мне, какова мера уверенности и вашей силы, когда вскрыта кожа, разрезаны мышцы, убрана ненужная сукровица, и вы беретесь за дело?

Увы, нет ответа. Нет.

Простите, если я лезу к вам слишком глубоко, люди, спасшие меня. Все дело в том, что в нашей грешной жизни много вопросов, на которые нет и не должно быть ответов.

Но безответность не убавляет вопросов. Они были. Они есть. И будут всегда.

И речь сейчас не о риторике, не о восклицательных знаках и красивых фразах, нет, не их ждет от вас мир.

Ждет и не дожидается. И в этом тоже своя правда.

Простите...

Не смешны ли со стороны мои метания? Я не удивлюсь, если кому-то они покажутся непременно такими. В конце концов у каждого есть право собственного понимания жизни. Но я не боюсь показаться смешным. Когда-то прежде, пожалуй, боялся, но ясность приходит с испытаниями, и то, что могло казаться смешным и чего раньше стыдился, сегодня выглядит вполне обычным.

Потому что возникают новые истины. Раньше непонятые или непонятные, в результате определенных событий и обстоятельств, они становятся главными, наполненными важным смыслом.

Больница, все, что видел я там, и все, к чему готовился, без всяких предуведомлений, заставляли возвращаться мыслями к пограничной полосе между жизнью и смертью, истине вечной и неизбежной для всякого и отвергаемой лишь только умом недалеким, глубоко эгоистичным, рациональным.

Что там, за этой чертой? Вечный страх и холод. Конечно же! Но что еще?

И есть ли мостик через эту полосу? Существует ли — не материально, ясно же, а в душе — еще нечто такое, что должно связывать между собой жизнь и смерть, иначе бессмысленна сама жизнь, а смерть — постоянная, все поглощающая, — и с этим нужно смириться — и все попирающая — а вот против этого протестует, никак не может смириться душа — величина.

Вы знаете, обычная наша жизнь похожа на бег, коекогда на гонки, порой и у некоторых на скачки, но больница и предстоящее физическое испытание для самых скакливых — всегда остановка.

Бег прерывается, все отступает, и прежде всего скорость жизни, человек возвращается, пожалуй, к самому

естественному из данных ему природой состояний — он живет размеренно, в ритме дня, не убыстряя его часовой ход, и возникает новое: возможность подумать о себе, о своих близких, о своем прошлом и будущем, если оно достанется.

Есть время подумать о тех, кого нет, но кто был и жив в нашей памяти.

Может быть, это и есть тот самый спасительный мостик через пограничную полосу между жизнью и смертью, мостик, на котором вечно, даже когда мы не замечаем этого, дежурит бессонная наша память. Мы редко тревожим ее, когда живем бодро, когда бег наш по жизни ровен, а дыхание спокойно. Но вот ты споткнулся, вот ты остановился, вот ты ждешь испытания, и вдруг вспоминаешь, что у тебя не только что-то есть в этой жизни, но еще что-то было, и, может, это бывшее уже гораздо больше, чем то, что у тебя есть сегодня. И еще приходит такая мысль: как же ты жалок и беден, коли вспоминаешь редко тех, кого нет, но кто был у тебя. Как мелеет речка, по которой плывет твоя лодка — от забвения, от непамяти.

И сколько богаче ты, мудрей и сильней, ежели память твоя свежа и ясна.

Полоса между жизнью и смертью непременна для всякого, но, может, она меньше страшит, если милые тебе люди живы в твоем сознании.

Ведь если живы они, не умерло твое собственное прошлое. Горит яркими красками детство, звучит важными словами юность. И ты жив весь, всем своим, пусть небольшим, прошлым, а не только сегодняшним коротким днем.

Чем ближе был мой час, тем чаще вспоминал я деда и бабушку. Нет, я помнил их не в последний миг прощания, хотя и эти картины хранились в сознании, а живыми, веселыми, любящими.

В праздничный день, когда мы собирались на знаменитый бабушкин пирог, я, пока был маленьким, ждал счастливой минуты. Она наступала, обязательно была всякий раз, стала привычной не только для меня, но и для взрослых, поэтому когда я наедался волшебного пирога, а взрослые еще продолжали свое пиршество, бабушка, поймав мой взгляд, приветливо светлея лицом, кивала мне и велела дедушке сделать свое дело.

Он поднимался, покрякивал, похмыкивал, тоже улыбаясь, и подходил к буфету.

Мой прекрасный буфет!

Коричневый, потемневшего, с прожилками, дерева, он высился, казалось мне, до самого потолка и состоял из двух этажей. Наверху, в двухстворчатой его части, куда я не дотягивался даже со стула, хранились чайные принадлежности: сахар, конфеты, пряники, ну, конечно же, сам чай, но, главное, замечательные бабушкины чашечки, которые казались мне совершенно старинными. На чашечках и блюдечках — белых, с темнокрасным, пожалуй, даже вишневого цвета ободком были нарисованы презабавные картинки из неизвестной не только мне, но и взрослым жизни. Китаец, с длинными усищами и, будто у женщины, косой сперва гулял с китаянкой в красивом кимоно, и они держали в руках зонтики; на блюдечке он говорил все с той же красивой женщиной, и опять в руке у нее был странного вида, плоский зонтик, видно, от жары, а не от дождя, и мужчина обращался к красавице с невысокого, из серых камней балкончика неподалеку от красивого фонтана, затем действие опять перескакивало на чашечку, и тут уж китаец тащил на спине огромных размеров, но, видно, легкую, корзину с голубыми цветами, и в этих цветах сидела все та же красавица.

Так что, когда очередь доходила до чаепития, я получал двойное удовольствие, наливая горячий, ароматный чай в блюдечко и разглядывая в разной последовательности китайскую пару среди необыкновенно больших и ярких цветов.

Бабушка обожала чаи, рассказывала, что прежде за этим занятием люди проводили долгие вечера; утверждая свою любовь, она никогда не ставила при гостях постылый чайник, но непременно самовар, в пору давнего моего детства — всегда на углях, и мне наказывали, чтобы я не суетился, не хватал горячий чай, ждал, пока он остынет, можно обжечься — и приводились разнообразно ужасающие примеры. Но я и так был послушным и переливал чай из чашечки в блюдце, разглядывая сквозь медовую желтизну моих любимых китайцев в волшебно-цветочной стране.

Итак, двухстворчатый верх, где хранилось все, имеющее отношение к долгому послетрапезному наслаждению, пах ароматнейшим чаем. А низ, где в одном отделении были макароны и прочие мучные запасы, а в дру-

гом хранился хлеб, пропитался благословенным его запахом.

Как изумительно ярко, как замечательно вкусно пахло в детстве хлебом и чаем! Грешным делом, я думаю, может, все дело в старом и добром буфете? В дереве, из которого он был слажен? И это дерево неизвестной мне породы умело намертво впитывать в себя благодатный чайный и хлебный дух?

Не знаю. Чувствую только, что старый бабушкин буфет любил меня, как хозяйка — безоглядной, счастливой любовью.

Дедушка под повелевающим бабушкиным взором поднимался из-за стола, брал меня за руку, хотя этого вовсе не требовалось, подводил к буфету, отпускал меня, открывал нижнюю правую дверцу, доставал корзину с хлебом и еще что-то, и я влезал в свой любимый уголок.

Я говорил взрослым, что хочу поехать на машине, мне нужна кабинка, и никому на свете не придумать кабинки лучше этой, пахнущей хлебом; я забирался, вдыхал чудесный аромат, заводил двигатель и трещал языком, изображая крутые, очень крутые подъемы, по которым с невиданной скоростью неслась счастливая машина воображения.

Я приоткрывал дверцу, когда мне хотелось, и тогда солнце врывалось в мой уютный уголок, слепя глаза, я закрывал дверцу, и мне мерещилось, что я еду чернильно-темной ночью, мне доверили особое задание, и вокруг враги, поэтому надо ехать незаметно, негромко, и я гудел потише, будто может машина ездить потише, понезаметней, когда этого захочет шофер.

Вспоминая любимый буфет с его добрыми запахами, я спрашивал себя: вот тогда, в раннем детстве, еще до войны, когда молодым, верно, был и дедушка и жена его, моя любимая бабуся, мог ли, представлял ли я себя не в роли водителя на неровной, ухабистой дороге, а, например, летчиком, в розовом от заката небе или моряком, капитаном корабля, допустим, знаменитого крейсера, гордости и красы Отечества, картинки которого печатались в тогдашних газетах?

Летчиком представлял. Это было просто, потому что небо, и розовое от зари, и зеленое в тихий час сумерек, и беспечно голубое солнечным, нарядным днем, и даже укрытое шкурами мохнатых туч находилось прямо надо мной — подними только голову. И я летал в

старинном буфете, то включая, то выключая мотор, как делали летчики в маленьких четырехкрылых самолетах над заречным парком, то наклонял вправо и влево свои крылья, помогая им плечами, то вдруг задирал свой подбородок и вместе с ним нос боевой машины вверх, рычал изо всех сил, форсируя двигатели, и переворачивался через спину, совершая знаменитую петлю Нестерова, соединенную с оборотом вокруг себя, то есть бочкой. Ясное дело, ни про какие петли и бочки я еще не знал, меня вела счастливо изобретательная детская фантазия, и легкое тело, жаждущее летать так, как взрослым и в ум не придет, — но это было, мой буфет летал виртуозно, обдавая меня любимым, ненадоедающим хлебным духом.

Но вот море — это у меня не получалось. Я видел реку, знал нашу норовистую Вятку, но моря не видел никогда и не мог вообразить его себе, не мог представить и корабль, особенно такой непонятный, как крейсер. У фантазии ведь тоже свои правила: будто дрожжи квасу, хоть чуточку, но ей нужна реальность, увиденная лишь на мгновение, лишь одним глазком и не в чернобелом, застывшем виде, как на блеклой газетной фотографии, а наяву. Но море шумело где-то за многие тысячи верст, на другом краю земли, и вовсе не подозревало о моем существовании, а я не догадывался о нем и играл в летчика, потому что видел самолеты, был машинистом паровоза, потому что бывал с родителями на вокзале, но больше всего любил водить машину, непременно грузовик, потому что грузовик — машина с пользой, он перевозит важные вещи.

И я тарахтел, жужжал, трещал, подвывал на подъемах своего детства, ни чуточки не снижая скорости.

Позже, когда я подрос, буфету, увы, пришлось изменить, и мне казалось, он, как и бабушка, когда я чего-нибудь натворю, смотрит на меня укоризненно, только вот не покачивает головой. Я чувствовал свою вину и испытывал перед ним угрызение совести, но все же поделать ничего не мог: теперь ведь я не умещался в его нижнее отделение. Как и бабушка, он заранее прощал меня, а я, винясь, любил его по-прежнему.

Очень часто, когда дед был на работе, а бабушка выходила в коридор или на кухню, я, уже отяготившийся чувством полувзрослой стыдливости, на цыпочках подбегал к моему любимому буфету и, прижавшись к

теплому его телу, вдыхал счастливый запах хлеба и чая, запах радости и любви моих начальных лет.

У меня появился другой дружок. И мой добрый буфет совершенно не ревновал к нему. Я думаю, потому, что они и между собой были неразлучными друзьями, всю жизнь стояли бок о бок.

В буфет я не влезал, а машину водить хотелось, и вот однажды моя милая бабушка, положив теплую и мягкую руку мне на макушку, подвела меня к швейной машинке «зингер» возле буфета. Чугунное тело машинки, ее крутые металлические бока излучали уверенность и твердость характера, какой может быть лишь у существа, хорошо знающего свое предназначение. Но машинка не только знала себе цену, она гордилась еще своей красотой, своим изяществом: окрашенная черной, бликующей на солнце краской, она была украшена золотым именем фирмы, и эти буквы висели на гладкой черной шее машинки, точно ожерелье нарядной красавицы.

Ну а блестящее никелированное колесо, которое соединялось кожаным шнуром с другим, большим колесом, а педаль, которую требовалось крутить, чтобы машина шила, ну а блестящая ножка, прижимавшая ткань к металлическому столику, а игла, вызывавшая легкую опаску, потому что она подчинялась не воле человеческой руки, когда, скажем, бабушка штопает чулок, и может даже отвлекаться, глядеть в сторону или на тебя и тем не менее совершенно спокойно делать свое дело,— так вот игла машины, подчиняясь, конечно же, человеку, все-таки принадлежала этому механизму, тут приходилось работать во все глаза, уметь обращаться не столько с иглой, сколько со всем этим «зингером», у которого, по сравнению с ручной иголкой, заводская точность и скорость.

Бабушка поколдовала у маленького никелированного колесика на машинке и повернулась ко мне:

— Ну, поезжай!

Я нажал на педаль, большое колесо внизу медленно крутанулось, но опасная иголка не застрочила — зато все остальное работало — и я принялся, одолевая упругое сопротивление педали, разгонять мой новый автомобиль.

Украдкой поглядывая на буфет, выпрашивая втайне его прощение за свои предательские мысли, я думал, что хоть прежде у меня была замечательная кабинка,

теперь-то есть почти настоящая машина. Пусть она не едет, но зато не надо жужжать голосом, колесо летит и гудит самым настоящим, машинным образом, не хватает только баранки, но это уж сущий пустяк, когда внизу грохочет педаль и можно ускорить бег машины, а можно и притормозить — тогда педаль от раскрученного маховика приятно раскачивает твои ноги — туда-сюда, туда-сюда — и требуется усилие, чтобы нехотя, постепенно она пошла помедленнее, потише.

Вещи переживают людей — пожалуй, простая эта истина должна бы нас научить внимательнее относиться к вещам, с той лишь непременной особенностью, что ценность их не в стоимости, а в памяти?

Меня бабушкина чашечка с блюдцем, буфет и швейная машинка «зингер» и еще старый дом в Вятке на улице Большевиков, напротив рва к бывшему перевозу и Халтуринского сада, не зная об этом, заставляют возвращаться снова и снова в любимый городок. Они стали памятью овеществленной, да, и не стоит стыдиться того, что рядом со словом «память» возникает слово «вещь».

Когда я вижу чашечку и блюдце с китайцами, буфет, машинку, старый дом, во мне происходит мгновенная подвижка. Памятью движут не вещи, пусть важные для тебя, а мысль, но предметы материализуют память, ускоряют твое возвращение к дорогим людям.

В один миг ты одолеваешь гравитацию сиюминутности, чтобы проскочить годы и расстояния, снова встретившись со своим началом.

Да, вещи переживают людей, и если ты, видевший прожитое, сумеешь сохранить в сознании образы сломанного дома и утраченных вещей, что поможет воссоздать минувшее твоим потомкам? Обладающий созидательной фантазией, но не видевший прошлого твой сын и внук, по одним лишь вещам способен воссоздать жизнь своих — прабабок и прадедов. Но если нечему напомнить прошлое? Пустота, выжженная земля, ничейная территория.

Будем же беречь вещи — не во имя корыстного собирательства, но во имя родниковой чистоты памяти, живущей во времени и пространстве! Будем помнить: они нужны нам больше, чем мы им.

Вещи, при всей их ответной теплоте, равнодушно холодны без любви, без верности. Они способны легко менять хозяев, вспоминать о своей стоимости, исчезать, точно обиженные странники в людской толпе. Они способны — в один неожиданный миг! — вызывать безмер-

ное душевное страдание сильным напоминанием — не о себе, о своих истинных хозяевах; они обладают счастливой силой рождать в человеке угрызение совести.

Забытые, брошенные вещи, словно старики и старухи, спроваженные безжалостными детьми в богадельню без адреса, выгнанные на улицу остылым, безжалостным разумом.

Как-то стало привычным, что к общему, государственному, человек относится с меньшим почтением, нежели к своему, собственному, и скажем, изломает десяток казенных автомобилей, когда свой, однажды купленный на кровные, пóтом омытые, денежки, бережет десятилетия. Но — вот дела! — несмотря на эту традицию, то ли от обильности, то ли от легкой доступности, теперь уже и свое-то рвется и ломается без всякой жалости, без печали, без мысли о том, как, кто и когда делал эту вещь. Грохнула хорошую чашку — что за жалость, к счастью, сломал велосипед — невелика беда, можно обойтись без починки, новые под боком, стукнул по небрежности собственную машину, неприятно, хлопот не оберешься, да ладно, Госстрах поможет, а там и поменять можно.

Но кто таков человек, не дорожащий ни личным, ни общим? Прообраз будущего вандала? Растение, корневая система которого развита в ущерб плодоносящим, созидательным «вершкам»?

Меня до слез трогают прорывающиеся сквозь газетную и телевизионную поденку краткие до скорби сообщения, похожие на происшествия на подверстку, на уровне чудачеств — что-де там-то и такой-то все еще ездит на государственной полуторке сорокалетней давности, бережет ее, холит, поражая воображение окружающих, а такой-то и там-то пятое десятилетие работает на фрезерном станочке, и хоть устарел этот агрегат, убрать его пора бы по соображениям целесообразности, а вот хозяин его ему верен, не бросает, на другой станок, более совершенный, не идет. Или вот незаметно промелькнула заметочка про человека, конюха деревенского, который на войну был мобилизован вместе с лошадьми своими, прошел по войне, до самого Берлина добрался и вернулся домой вместе все с теми же лошадьми, одну только, кажется, убило.

Неправдоподобно? Но верность дарует чудеса, творит сказки, верность к машинам, станкам и лошадям, не говоря уж про верность к людям.

Да, будь на то моя власть, я бы ордена и геройские звездочки давал тем, кто на полуторке да у фрезерного станочка жизнь прошел, показав тем самым пример уважительности к существам неодушевленным — но существам! — кто показал окружающему разгильдяйству, почем вещь, человека способная возвысить до вершин человечности высочайших!

Но — увы! — чаще бывает так. Иду я по московской улице, где снесли недавние бараки, где только что жил человек, еще тепло его не выстыло — и на тропке, веером, рассыпаны фотографии, от старинных, пожелтевших, до вполне современных, не таких давних. А рядом разодранные листы альбома.

Я присел на корточки, вгляделся в лица на снимках — боже ж ты мой, с каким вниманием глядят на меня из фотографических рамочек незнакомые люди, лица напряжены, не в фотоаппарат они уставились, на меня смотрят: неужто и ты разожмешь пальцы, бросишь нас в снег и грязь, ведь мы тогда исчезнем навсегда — понимаешь — уже навсегда, и ничто, нигде не напомнит о том, что и мы жили, и мы любили, и мы плакали и кричали от боли и в болях этих родили тех, кто воспитал людей, которым даже наше изображение в тягость?

Грустно, тоскливо стало на душе.

Я взял пачку фотографий, сунул их в карман.

Ей-богу, можно поседеть от некоторых новостей, от некоторых наших нововведений. Я слышал, что теперь в букинистических магазинах покупают, а потом продают старые фотографии и открытки со старыми, кому-то и кем-то написанными словами.

Покупатели не спрашивают, кто это на старом снимке и кому адресована красивенькая открытка. Фотографии и письма стали вещами.

Но я не против, нет! Пусть лучше так. Пусть лучше продаются эти фотографии. Пусть покупаются художниками, историками, режиссерами, другими знающими людьми и просто... чудаками.

Пусть только живут, не исчезают, забытые потомками.

Чем ближе к операции, тем чаще являлась ко мне бабушка.

Всегда опрятная, в коричневых, с ремешком, туфлях

на низком каблуке, в строгом темно-синем платье с белыми крапинками и белоснежным воротничком, она усаживалась на лавочке, возле своего вятского дома и приветливо смотрела на меня. Седые волосы серебрило низкое солнце; оно высвечивало лицо, паутинку тонких морщин, все же не глубоких, не горьких и старческих, а точно образованных усталостью долгой жизни, долгой дороги.

Бабушка смотрела на меня, точно я все тот же светловолосый малыш, только что вылезший из буфета, ее взгляд был не просто доброжелательным, но озабоченным — и я знал, что это озабоченность мною, моими делами, моей семьей, моим здоровьем — бабушка несла вечную ответственность за меня перед самой собою, как тогда, давным-давно, когда я плохо ел, или перебегал дорогу у нее на глазах, или вынимал из портфеля тетрадку не с двойкой, нет, а с тройкой!

Пока я учился в начальной школе и шла война, после уроков я бежал к бабушке, и ей первой приходилось разбираться в моих удачах и неуспехах. В первых классах мне везло, то ли всех нас жалели, то ли просто все пока получалось, и меньше тройки я не приносил. Впрочем, тройка вызывала такой бабушкин испуг, она так отчаянно всплескивала руками, хваталась за голову, такое испуганное было у нее лицо, что мне делалось нехорошо, я потел, комок слез подступал к горлу, я чувствовал себя самым отъявленным бездельником, а сам тайком думал: что же будет, если я, не ровен час, схвачу двойку?

Что будет с бабушкой?

Отец ушел на войну добровольцем, сразу же, как объявили мобилизацию, в первые дни июля. Он уехал, какое-то время его часть находилась неподалеку от города; мама рассказывала не раз, как она отправилась на свидание к нему, села на какой-то случайный поезд, который стоял у всякого столба, потом шла пешком вместе с другими женщинами — пекло солнце, они не знали, какую часть ищут, все покрыто тревожной секретностью, ищут своих мужей, вот и все.

Наконец, встретились, поговорили через забор, точнее, через проволочное ограждение, потом снова назад, и полная неизвестность, что будет завтра. Жизнь с началом войны менялась стремительно, в город прибывали эвакуированные, по улицам шли неумелым строем при-

званные мужчины с безоружными командирами впереди и сзади.

Из железнодорожной поликлиники мама перешла в военный госпиталь — они открывались едва ли не в каждой школе. Тихий город участил свой пульс, народу прибывало, рассказывали, что приехало правительство Латвии, потом Военно-медицинская академия из Ленинграда, новый завод, который будет делать шины для грузовиков и орудий, и еще заводы, не один. Спешно формировались детские дома. Людей уплотняли, в быт уверенно входили новые выражения: еще вчера такое страшное слово «ордер», теперь означавшее также место на жилье и распределение промышленных товаров, и слово «карточки».

Все менялось вокруг, только один я по-прежнему ходил в детский сад «Октябренок», ведомый туда и обратно за ручку любимой и любящей бабушкой. Я ощущал войну только по возбужденной оживленности взрослых. Да еще по белым крестам.

Однажды бабушка заварила на керосинке какую-то бурду и принялась резать бумагу на длинные полосы.

— Вышел приказ, — объяснила она мне, — заклеить окна.

Я не понимал, как же тогда глядеть в окошко, если заклеить его бумагой. Но оказалось, наклеиваются только полоски, и бабушка аккуратно, стирая лишний клей чистой тряпочкой, выводила бумажные кресты на стекольных плоскостях.

После работы мама всякий раз заходила за мной к бабушке. Молодая, намного моложе меня нынешнего, она запомнилась мне в шерстяной, очень яркой зеленой кофточке. Окраска этой кофточки была совершенно необыкновенной — не цвета травы, не ранней листвы, а скорее цвета елочной игрушки, с каким-то необыкновенным блеском, кофточка очень красила маму, оттеняя ее тонкий румянец.

Мы ждали ее с нетерпением, она приносила известия о том, что происходит в городе, но, главное, она работала в госпитале, и от нее мы узнавали горькую правду войны.

При мне мама была сдержанна, старалась не выдавать волнение, не знаю уж, как она говорила с бабушкой, отправив меня погулять во двор; чаще всего она повторяла, что ночью опять пришел эшелон с ранеными и было много срочной работы.

Как-то вечером — он всегда приходил позже мамы — вернулся совершенно неузнаваемый дед.

При входе в комнату стоял сундук, накрытый лоскутным половичком, — дед сел на сундук, скинул зеленую фуражку, подобную той, которую носил Сталин, и повесил голову.

— Ну! Что опять? — сказала бабушка и строго, и испуганно сразу, будто дедушка каждый день чего-нибудь вытворял.

— Вызвали, — сказал он с хрипотцой, — говорят, ты партийный, утверждаем директором обувной фабрики.

Бабушка испуганно прижала ладонь ко рту, словно боялась, что вырвется стон или крик или какое неловкое слово.

А дед снова повесил голову.

Вот такие происходили вокруг меня дела. А ведь до первого сентября оставались дни. Бабушка и мама поглядывали на меня жалеючи, с тревогой, хотя, как я теперь понимаю, у самих-то у них ничегошеньки не было ясно. Как и у всей страны.

И они принялись обсуждать мою худобу.

— Боюсь, даже, что у него малокровие, — сказала мама.

— Какая такая нужда? — спрашивала себя бабушка и оглядывала меня сверху вниз каким-то протяжным медицинским взглядом.

— К тому же создаются подготовительные классы! — говорила мама.

Это задевало уже меня. Я умел читать, довольно неплохо для своих лет, чуточку писал, знал все буквы алфавита и умел считать. При таком богатстве идти в подготовительный класс?

Дедушка утвердил женское решение, и в сорок втором я в школу не пошел: первого сентября мне недоставало до семи лет тринадцати дней.

Между тем операция приближалась, и с тайного благословения Вячеслава Алексеевича, милого Славы, меня отпустили из больницы на один день. Утром, после завтрака, я должен был уйти, чтобы к ужину непременно вернуться. Слово чести.

Вообще это был явный грех, с внутренним кровотечением положено лежать пластом, меня ведь привезли

в бокс на коляске, несмотря на мои протесты, смех и даже попытки сопротивления. Но Слава, как и я, знал, что меня поднакачали заемной кровью, что ручьями она из меня не льет, что в моем распоряжении будет редакционная машина и ни бегать, ни прыгать, ни толкаться в метро мне не придется.

При этом он возражал как только мог. Убедил последний довод:

— Мне нужно закончить некоторые дела!

Он смотрел, все понимая.

— Надо заехать кой-куда.

Сама мысль об этом сбивала с ног — действительно, есть на белом свете обязанности, прятаться от которых нельзя, не подобает, хотя сама мысль... Я сделал так, что заехал к нотариусу без тебя, один, выполнив простые и необходимые распоряжения. Потом подъехал к дому.

На улице, на пронизывающем ветру, толклись два товарища. Я удивился, мы ведь не раз виделись в больнице. Что это значит? Прощание?

Я, кажется, вспомнил завалящий анекдотец, они смеялись, но в их глазах застыло еще что-то, может, жалость, смешанная со страхом. Признаться честно, они были далеки от меня в тот момент. Я чувствовал смысл их дежурства. Они не были мне приятны со своим доброжелательством. Я позвал их в дом, они отказались, я не стал уговаривать и был, пожалуй, прав.

А ты приготовила мне праздник. Был накрыт такой удивительно вкусный стол, но главное, после февральского ветра тут оказалось тепло, тихо, тут было то, из чего я ушел в больницу и к чему так тяжко два долгих месяца рвалась назад моя душа.

Я старался быть бодрым, острил, изображал зверский аппетит, хотя кусок не лез в горло, ты охотно отзывалась на самую слабую попытку пошутить, и мы словно играли друг перед другом сцену — чего вот только, на какую тему? Возвращения? Даже сама мысль об этом суеверно отвергалась. Когда оно будет? И как?

В конце концов я не выдержал, сказал тебе, что жалею об этом приезде, дома так хорошо, тихо, словно в бухте, укрытой от всех ветров в прямом и переносном смысле слова, а я должен вернуться, вернуться, ничего не поделаешь.

Мы присели, как перед дальней дорогой, я поцеловал

сына, двинулся к двери, про себя подумав, что, если все кончится благополучно, я буду совсем по-новому любить свой дом, буду стремиться к тишине среди прекрасных книг и долгим покойным вечерам рядом с родными.

Накануне меня подготовили по всем правилам мучительного искусства, спозаранку прилетела ты, как всегда нарядная, с полукружьями под глазами.

Мы сидели рядом, рука в руке, ждали, когда отворится дверь и въедет, громыхая колесами, каталка.

Но в коридоре было тихо, лишь на посту у дежурных сестер за тонкой стеклянной перегородкой булькала вода — кипятились шприцы и иглы.

Послышались скорые шаги, на пороге появился Вячеслав Алексеевич, Слава, сказал, улыбаясь:

— Операция отменяется.

Это длилось секунду, не больше. Угасшая надежда, словно ее обдали струей кислорода, вспыхнула небывалым огнем, заполонив все тело. Неужели ошиблись в диагнозе? Придумали что-то новое и можно обойтись без операции? Попринимать таблеточек, и ты — в порядке? Или...

— Савельева избрали академиком. Переносится на завтра.

Отсрочка походила на вчерашнее возвращение своей напрасной обязательностью. И то и другое было как будто приятным, но все-таки обманом, и оставляло горькую оскомину сожаления. Не зря же есть такая поговорка: нет занятий хуже, чем ждать да догонять.

Весь день повторился, был дублем вчерашнего, я жил его тягостно, как никогда, потому что меня заставляли ждать дважды. Переждать — означало перегореть, и мне, сознавая это, предстояло удержать себя, не позволить расслабиться, протянуть ощущение на два дня, словно растянуть кусок проволоки. Моя проволока утоньшалась, значит, становилась слабей...

Я говорил с тобой, кажется, даже успокаивал, но помимо моей воли какие-то клапаны уже были заперты, какие-то, наоборот, открылись, я уплывал от тебя, уходил в свой завтрашний мир, где я — лишь мое распластанное тело.

Но куда уйдет мой рассудок? Где будет он?

За всю свою жизнь, не считая самого начала болезни, я ни разу надолго не расставался с сознанием, худо

ли, бедно ли, но судил себя, оценивал окружающий мир, совершал поступки, руководимый рассудком, а завтра — нет, уже сегодня — из-за приятной неожиданности, из-за избрания вполне еще молодого Савельева академиком, — я оставался один на один с ним, точнее, с ними, точнее, со всем, что они умеют, в том числе с их умением обрывать мысль на полуобразе, с тем, чтобы...

Я еще говорил с тобой, я еще сидел в коридоре, я лежал в кровати перед сном, открыв глаза, но я уже ехал туда, я уже плыл, я уже летел, как тогда, в давнем детстве, в своем любимом буфете. К тому, что умел я тогда, так далеко, прибавилось знание, и я видел море.

Поэтому я мог еще плыть на белом, как снег, корабле.

Последний ужин — горсть таблеток, среди которых ампулы, похожие на полупроводники.

Последний завтрак — горсть таблеток, кажется, похожих, а может, тех же самых.

Лицо сестры со шприцем, укол, приказание лежать спокойно, не двигаться.

Я чувствую, как расслабляется, прямо-таки разваливается тело. Хочу повернуться, но делаю это с трудом; смешно — руки не слушаются меня.

Где же ты? Я недоумеваю, потом устало злюсь. Сейчас прикатят каталку, и я не увижу тебя.

Но ты возникаешь рядом, не понимаешь, конечно же, что со мной, тебе кажется, у меня такое состояние, и руки холодные, а мне надо собраться, мне надо быть готовым, и ты принимаешься растирать их.

Я хихикаю, смех достигает моих ушей с явной задержкой, будто звук медленно ползет из соседней палаты. Объясняю тебе, что это последний предоперационный укол. Специальная подготовка.

С трудом, но я понимаю, что тебе хуже, чем мне. Тебя, кажется, знобит, но ты шевелишься, движешься вокруг меня — лихорадочно прибираешь на тумбочке.

— Сядь, — говорю я. — Не суетись! Так, чтобы я тебя видел.

Ты садишься мне в ноги, держишь мою ладонь. Я улыбаюсь тебе. Ты целуешь меня.

— Там мама, — говоришь ты. — Но ее не пустили. Только меня.

Я киваю.

Да, я киваю, я еще вижу тебя, но так кивают и так видят, когда отплывают на пароме через нашу старую Вятку. Я вижу и киваю, но нас уже разделила вода.

Все. Будь что будет.

С грохотом отворяются обе створки двери, две молоденькие сестры, может быть, даже студентки вкатывают каталку.

Они толкуют, что мне надо раздеться донага, положить на каталку одеяло так, чтобы свободной половиной можно было укрыть меня.

Ты помогаешь мне раздеться, расправляешь одеяло, аккуратно подтыкаешь его под меня. Но ноги голые, они торчат прямо на каталке, обшарпанное железо холодит пятки.

Соседи говорят мне утешительные слова, ты идешь рядом, я слышу знакомый стук твоих каблуков.

Твое лицо. Я вижу только его. Смотрю лишь на него.

Маленькая остановка — теперь уже действительно последняя — перед лифтом. Ждут, когда он приедет. Ко мне бросается мама.

Маленькая и седенькая, это она. Она плачет, причитает, ты говоришь ей, чтобы она успокоилась, но мама повторяет сквозь слезы:

— Сыночек! Сыночек!

И мне приходится, расталкивая обступившую немоту, приподняться на локти и сказать строго, даже прикрикнуть:

— Мама! Перестаньте! Что вы!

Мы въезжаем в лифт, потом выбираемся из него, рядом со мной, до самого порога, два родных лица. Наконец вы исчезаете. Я поднимаю руку.

С каталки я перебираюсь на операционный стол. Меня прикрывают.

Мне ни хорошо, ни плохо — мне все безразлично, но я отмечаю, что обращаются ко мне по имени-отчеству. И даже ласково:

— Давайте ручку.

Я протягиваю ее. Ощущаю укол. Сестра опытная, попадает в вену с первого раза.

Стараюсь не глядеть по сторонам, но все-таки последним взглядом вижу мелькнувшую бестеневую лампу.

Я закидываю голову и вижу знакомое лицо. Это врач-анестезиолог. Она приходила ко мне в палату, задавала разные вопросы. Теперь ее лицо в моем взгляде перевернуто.

— Возьмите эту штуку, — говорит она, — и закусите ее зубами.

Я слушаюсь.

— Теперь вдохните, — говорит она, и это последние слова, какие я слышу.

Опускается ночь.

Я думал, это будет сон. Пусть с дурными, но видениями, с надеждами, что настанет утро и все развеется.

Но это было ничто.

Глухая чернота, в которой я не находил себя.

Не было ничего. Ни памяти, ни красок, ни чувств.

Может, именно это заставляло меня выяснять потом у Пети меру ответственности врача. Одно дело, разрезать человека и копаться в нем, спасая его, другое — исключить самое священное — сознание, остановить движение души.

Выспрашивая Петю, умом я понимал, что на самом деле мы живем в мире материализма, где представление о сердце отличается от литературного понимания его — это просто мускулистый насос, качающий кровь, мозг — серое вещество, а душа — и вовсе идеалистическое понятие.

И все же странно мне до сих пор, неясно, несмотря ни на какие объяснения, где же обретается душа, память, любовь в тот миг, когда анестезия опускает тебя во мрак, в нечто.

И, может, это нечто — приближение к тому, чем кончается все живое? Генеральная репетиция?

Но если запредельность есть темное нечто, где никто не находит себя, своей души, где никто не правит своими мыслями хотя бы только потому, что их нет, как нет решительно ничего, — если все это там, не походят ли тогда воспоминания живых о дорогих существах, перешедших в тот черный мир, сама память о них — на дикое заблуждение, идеализм в самом тяжком виде?

Память — нематериальна. Нематериален и продукт человеческого мышления. Правда, мысль можно записать на бумаге, на куске холста яркими красками, но сама по себе она неосязаема, выходит, нереальна.

Логично с точки зрения материализма, но нам отчего-то тесно в этой логике, скучно от такой истины.

Хочется другого! Снов хочется — цветных, с живыми лицами, которых уже нет рядом с нами, хочется подсказанных слов, произнесенных давным-давно, забытых песен, нам хочется, чтобы что-то нематериальное вдруг восстановило в сознании старую улицу вовсе иной, чем она теперь, поставило обшарпанные домишки, в одном из которых, на углу, окажется магазинчик с выцветшей вывеской, а там хромой инвалид с загорелым лицом продает послевоенные тянучки в папиросной бумаге.

Что-то нематериальное вдруг сдавит горло, защекочет в глазах, заставит вспомнить солнечный миг первого поцелуя, нескладной записки, сильной до боли любви, ощущение счастья, затем тревоги, обиды, скорби, потом прощения, очищения, ясности...

Но не слишком ли много нематериального? Не слишком ли оттого зыбок наш мир? Жить лишь одной памятью неудобно, непрактично, а то и опасно.

Верно. Только жить без памяти невозможно. Кроме вполне материальных квартир, человеку надо витать в облаках, жить в заповедных замках своего духа, построенных из памяти, из веры, надежды, любви.

Да, там — черно, это правда.

Там люди не могут отыскать друг друга. Не могут отыскать себя.

Но мы, живые, видим их с нашего берега.

Пока мы живы, мы помним.

Он есть, есть этот мостик, над границей между жизнью и смертью. Та часть его, что ближе к нам, светла. Та, что подальше от нас, — теряется во тьме.

На мосту дежурит память — бессонный часовой.

Когда мы забываем о прошлом, мы засыпаем сердцем — и часовой будит нас.

Плохо, когда ему не добудиться, не докричаться.

Плохо.

Потому что с того берега ничего не видно. Видно лишь с этого, и память требует от нас именно этого — смотреть.

Наступало пробуждение.

Сперва — ощущение света. Что-то белое, может быть, солнечное сразу и мигом вошло в сознание. Я еще ничего не видел, наверное, и глаза мои были закрыты, но в меня влился свет. Потом — покачивание и громкий,

ясно слышимый голос, который звал меня по имени-отчеству. Я отворил глаза и увидел перевернутое и где-то виденное лицо. Жизнь напоминала подробности не спеша. Только через растянутый миг я догадался, что это врач-анестезиолог. Она протянула руки к моему лицу и сделала какое-то движение. Меня снова покачало. Еще через одно растянутое мгновение я понял, что меня похлопали по щекам.

— Просыпайтесь! — сказала женщина мягко. — Просыпайтесь!

Я сделал неимоверное усилие и раздвинул свинцовые веки.

— А теперь откройте рот.

Из меня что-то вынули, огромное и черное, стало как будто легче, я вновь закрыл глаза. Странное дело, я не мог ничего видеть, но голоса слышал очень ясно и как-то необыкновенно свежо. Точно уши мои проснулись отдельно от моего взгляда, от моего сознания.

Меня снова похлопали по щекам.

— Просыпайтесь и перебирайтесь на каталку! — сказал другой женский голос.

Кажется, я издал в ответ какой-то звук. Или это только кажется? Я понял, что мне надо подняться на локти и что-то сделать дальше, но только оторвал голову от стола. Тяжесть оказалась неимоверная. Степень земной гравитации возросла во много крат, пока я тут загорал под бестеневой лампой.

— Он не сможет, — сказал чей-то женский голос.

— Давайте перенесем, — ответил ему мужской.

Когда меня приподняли, я опять открыл глаза и снова впал в сон.

Потом я услышал твой голос. Ты настойчиво окликала меня, и я открыл глаза. Тогда ты сказала:

— Все хорошо! Ты слышишь меня? Ты слышишь?

Я, кажется, кивнул.

— Все хорошо!

Колеса каталки скрежетали с железнодорожным грохотом, пробивая меня насквозь своим беспощадным звуком.

Перенесли еще раз. Подключили куда-то, сказали:

— Дышите носом.

Скользнули по штанге кольца, к которым прикреплена полупрозрачная пластиковая штора.

Я остался один. Можно спать дальше.

Но возвращенное сознание, словно утопающий, хваталось за соломинки — за слова, за звуки, за запахи, пусть это даже противные запахи лекарств.

Наверное, я все-таки отключался, потому что время от времени рядом со мной возникала сестра и говорила:

— Не спите! Не спите!

Потом заходили врачи — один, другой, третий, все новые, незнакомые, откуда столько. Один щупал пульс, другой измерял давление.

Потом послышался топот толпы, шторы вокруг меня со всех сторон шумно раздвинулись, и я наконец-то увидел своего благодетеля, знаменитого Савельева.

Сейчас он бодро улыбался, весело глядел на меня, двигал по животу холодный пятачок стетоскопа, говорил мне:

— Урчит! Хорошо, раз урчит!

Поднакопив силенок, я проговорил:

— Поздравляю, Вик Сергеевич! Я у вас первый? Академический-то?

Он хохотнул, довольный:

— Первый!

Через какое-то время глаза мои проснулись окончательно, догнав уши; из самых дальних уголков, точно из изгнания, вернулись мысли, теперь уже не за соломинки, а за прочный берег жизни ухватились мы все сообща, вглядываясь, вслушиваясь, внюхиваясь в окружающий мир.

Я лежал под углом, на жесткой послеоперационной кровати, в нос мне дула струя кислорода сквозь тонкую трубочку, прикрепленную, как и у всех, обыкновенным пластырем, и я отцепил этот проводок, отодрал пластырь, мне надоела эта помощь, а раз надоела, выходило, я уже все чувствовал.

К ночи я проснулся окончательно, больше того, мной овладело необыкновенное оживление. Наверное, силы, нужные мне и соединенные врачами вместе на эти тяжелые сутки, вступили в действие — и многие флаконы донорской крови, и разнообразные растворы и лекарства, которые продолжали вливать в меня, делали свое дело, помогали, к тому же остатки наркоза, так что голова моя чувствовала не только бодрость, но прилив сил и пьянящей легкости. Не слушалось тело, меня заставляли воро-

чаться, а выходило это с трудом, но зато голова была свежа и готова к работе.

Какой уж тут сон!

Рядом по-прежнему что-то пыхтело и чавкало, подальше кто-то стонал, но голова, моя не желала сосредоточиваться на этом, ей хотелось непременно на волю, к здоровью.

Подошла сестра, протянула ниточку оттуда:

— Вам жена и мама ваши кланяются. Они у двери, спрашивают, как вы себя чувствуете?

— Скажите, нормально.

Сестра исчезла, вернулась снова:

— Они говорят, что побудут здесь.

— Нет, — сказал я. — Пусть идут домой.

А ты стояла на черной лестнице со старинным моим дружком, тоже Славкой, и санитаром, не то иранцем, не то иракцем — студент, прирабатывал к стипешке в больнице, — и прямо из горлышка отхлебывали вы коньяк по кругу. Ты сказала потом, из маленькой, плоской бутылочки.

Ты плакала, тебя знобило, сразу же, без перехода, ты смеялась, и Славка, и тот веселый санитар, не то из Ирана, не то из Ирака, старались тебя отвлечь, успокоить, рассказывали анекдоты, конечно же, неприличные, разве отреагировала бы ты сейчас на приличные анекдоты.

И Бунин, и Савельев сказали мне, что все в порядке. Окончательная гистология будет, конечно, позже, но экспресс-анализ подтвердил, что дело обычное и разве мог я тогда не поверить в эту облегчающую меня неправду.

Ну вот! Мое освобожденное сознание перебирало все подряд. Ни к селу ни к городу вспомнило Толстого, конечно, Льва Николаевича, как он писал: ЕБЖ, если буду жив. Что ж! Я пока жив.

Потом пришла бабушка, велела протянуть ладонь, но сначала лизнуть ее середку.

Мне было щекотно, но она крепко держала мою руку и писала химическим карандашом номер моей очереди. Едва дописала — каждое движение карандашного носи-

ка по ладони вызывало холодный озноб почему-то в позвоночнике.

Я поглядел цифру. На ладошке было написано: 1935. Ого, подумал я, какая сегодня очередища за мукой. Мы стояли в магазин по улице Ленина, напротив восьмой столовки, магазин этот назывался «под лестницей», хотя стоял он как раз не под, а над лестницей — десяток ступенек вел к входу в него, но муку давали не там, не с парадного входа, а со двора, чтобы очередь не мешала никому, и она струилась мимо другого магазина, где продавали до войны очки, а теперь была там обычная аптека, и у аптеки, у очкового магазина были два знаменитых, совершенно круглых, больших окна, точно очковый магазин сам носил очки, — так вот очередь струилась мимо этих круглых окон в обрывистое узкое ущелье между двумя старыми домами, во двор, где сквозь какую-то дыру давали коммерческую, без карточек, послевоенную муку по два килограмма на руки.

Руки переписывали химическим карандашом.

Я присмотрелся к своему номеру: что же это, бабушка написала мне совсем другую цифру.

Год моего рождения.

Потом мы обернули мешковиной четыре лопаты и двинулись вниз по Раздерихинскому оврагу, сперва глинистой тропой, потом булыжным съездом к дебаркадеру, к парому.

Маленький, но весьма горластый буксир с человеческим именем «Митя» вытянул из воды трос, тот задрожал, натягиваясь скрипичной струной, раскидывая брызги мелкой пылью, казалось, еще немного, и одна-единственная струна эта запоет, заноет от непосильной натуги, «Митя», попыхав из трубы черной гарью, одолевал течение, брал, точно пловец, выше дебаркадера на противоположной стороне, и я принимался слушать частый плеск мелких волн о паром.

На реке всегда было ветрено, даже в самую жару, а по осени холодок поддувал знобкий, и руки у меня стыли, зато едва мы причаливали к дымковской стороне, сентябрьское солнце опять принималось за свое.

В тугом синем небе трещали крыльями миллионы стрекоз. Они то неслись, обгоняя нас, то замирали в воздухе, то передвигались вбок, и я думал, вот кабы были у нас такие, как стрекозы, самолеты, чтобы замирали

на месте, садились вниз, не планируя и без разбега взлетали, туго бы пришлось тогда фрицам!

Копать картошку на заречном заливном лугу было легко, почву промывало тут каждую весну, никаких тебе каменьев, а дерн давно превращен в удобные гряды, разделенные колышками. Мы поздоровались с соседями, дедушка разделся до майки, повязал круглую, под нулевку стриженую голову носовым платком со смешными узелками по углам, отчего появлялось как бы четыре маленьких рожка, и начал, хыкая, с силой выворачивать кусты. Мне полагалась легкая работа; стараясь не отстать от ритма, я хватался за ботву и тянул ее под дедушкин копок; мама и бабушка шагали следом, рылись в земле, собирали клубни сперва в корзину, оттуда в мешок, и все мы радовались большим розоватым картофелинам, которые дарила нам земля, выделенная дедушке заводом. Урожай радовал еще потому, что родименькая картошечка кормила нас до самой весны, что к ней совсем не так уж много требовалось приправ — маслица, конечно, маргарина, комбижира или еще чего, если не было маслица, а то и вовсе за так, в мундире, с одной сольцой, да пустым чайком — но это уже не голодуха, не зеленые, обморочные круги в глазах.

Потом, всю осень, я буду ходить по досочкам, проложенным в бабушкиной комнате, и мне это кажется в радость, интересно, никуда уж в сторону не ступишь, потому что повсюду, даже под кроватью, разложена картошка: она сушится после сырой земли, чтобы потом, высушенная, одна к одной, увязанная в мешок, упрятаться в подвал и кормить нас до весенней зелени.

Дед был крепок, мы восхищались им, а он, не отвечая, вроде даже хмурясь, на похвалы являл новые примеры своей силы: таскал кули с картошкой на телегу, кантовал их и так и этак, а когда колол дрова, любил, бывало, чурбачок разделать с легкостью, но еще и так, что кора оставалась почти цела, а древесина расколота на полешки, не разделанные, впрочем, до конца, а лишь самую малость, так что руками свободно отделишь их. Высший шик! Лежит такой барабан, вроде и не колотый, а на самом деле — готов, подволоки к печке и можешь поленья закладывать.

Дедушка спасал нас в войну.

Уж не знаю, как он директорствовал на обувной фаб-

рике — скорей фабричонке, — может, и не шибко умело, ведь он был скорняк, хотя и партийный, но раньше всего рабочий, сам мастер, а для директорствования надо чего-то другое, и я, хоть мал был и неразумен, всегда жалел дедушку, когда он возвращался с работы темной порой — снимет, бывало, свою бессменную зеленую фуражку, сядет на сундук при входе и сидит, дыхание переводит, будто кули таскал. А мешки, напротив, волок он бойко, как будто легки они ему и в радость.

Вот и вытащил он нас в войну.

Но, может, бабушка? А как же мама тогда?

Да нет, шли они, поддерживая друг дружку, и каждый тащил свой воз, и каждый тащил меня.

Мама ведет меня по улице, в снег, в ветер, заводит в кирпичный дом, где пахнет карболкой, велит мне посидеть на белой больничной скамье и караулить ее пальто, а сама зачем-то заворачивает рукав и скрывается за белой дверью.

Там чего-то как будто с силой бросают: железное о железное, мне становится страшно за маму, она появляется из-за двери, улыбается мне, но лицо у нее бело-зеленоватое, она просит меня не торопиться, будто я куда-то спешу, а не она привела меня сюда, потом одевается, и мы идем на берег.

Это самое красивое место в городе. На крутом берегу Вятки два самых лучших одинаковых дома постройки первых пятилеток смотрят друг на друга. В одном из них магазин, где нет очереди и есть все продукты. Знаменитый донорский магазин.

Я знаю, что сюда можно прийти только из того дома, где были мы с мамой. Там сдают кровь. Здесь дают за эту кровь продукты.

Мама покупает их. Много маленьких кульков.

Но, может, мне только кажется, что много, на самом деле два или от силы три?

В одном кульке торчит комочек топленого масла. Мама подводит меня к широкому подоконнику и кладет прямо в рот этот сказочный кусочек.

До войны я терпеть не мог масло, особенно топленое. Сейчас оно тает во мне, согревая живот.

Я смотрю на маму, и мне страшно.

Усталые глаза на сером лице. Во всем белом свете нет у меня родней человека.

Снежинки растаяли на мамином воротнике, и собачий мех слипся в острые, жалкие перья. Мне кажется, маме холодно и мокро.

Ночью, когда ко мне вернулась память, ее, точно птицу, спугнули громкие шаги настоящего.

Они остановились по ту сторону тонкой пластиковой занавеси, послышались отрывистые слова, точнее, междометия.

— Видите?

— Да.

— Ну конечно?

— Есть?

— Нет.

Протяжная пауза и подавленная команда:

— Можете отключать.

Насос, который помогал мне не спать, стих.

— Как следует уложите. Ноги, ноги... Вот так.

Снова загрохотали шаги, брякнули кольца соседней шторы. Я понял.

Мы лежали очень тихо — я и то, что было человеком еще пять минут назад. Теперь это тело, всего лишь тело, протяни руку, дотянешься до соседней шторы.

Сердце мое билось в спокойном ритме выздоровления, а тут оно споткнулось. И раз, и другой.

Кто лежал там? Мужчина? Женщина? Или девушка, паренек, которому бы жить да жить...

Я представил себе его мать, его отца, они пока ничего не знают, они еще надеются, верят в чудо, но все уже случилось, ничего не изменишь. Они еще надеются, его мать и отец, а сына их нет, и об этом, кроме врачей, до утра буду знать еще только один я.

Мне стало не по себе от этой тяжести, я неловко дернулся и застонал.

Появилась сестра.

— Больно? — спросила она. — Сделать укол?

Больно, это значит, я чувствую, а он уже нет. Сделать укол? Конечно, сделать, если можно и нужно.

— Что там шумело? — спросил я.

— Искусственные легкие.

— Кто?

Она посмотрела мне в глаза и заколебалась. Видно, ей не положено говорить правду, но в моих глазах больше, чем вопрос.

— Молодая женщина. Сейчас увезем.

Я вспомнил ширмочку.

И вдруг во мне вспыхнуло новое, вовсе не жданное мною — эгоизм.

Да, да, самый настоящий, вульгарный эгоизм. Я, точно грубый извозчик, начал понукать себя не терпящим ослушания голосом.

«Ну-ка, — говорил я себе, — выключи поскорей свое воображение. Рядом с тобой никого нет, ты здесь один. Выключи, слух, если хочешь, погрузись в себя, а лучше всего усни, тогда ты быстрее доберешься до утра, а там уже день, ничего страшного.

И вообще сосредоточься на себе, ты никому и ничем не в состоянии помочь, ты сам здесь на положении человека, которому помогают, поэтому успокойся».

Я поражался себе.

«Хочу жить! — крикнул кто-то во мне. И повторил громче. — Хочу жить!»

Подбежала торопливым шагом мнительность: у меня что-то колет! Даже, кажется, режет! С трудом я перевернулся на бок, не удержался от стона.

Голый, распятый на жесткой кровати, я потихоньку подстанывал, с трудом шевелил свое тело. Снова явилась сестра. Сделала укол, предупредила, что у меня скорей всего возникнут проблемы, связанные с мелкой человеческой нуждой, поэтому пусть не стесняюсь. Кто бы знал, что такие незначительные малости, которые даже заметить трудно в нормальной жизни, столько могут доставить тягостных мук! Кто бы знал, сколько самого первородного счастья доставляет избавление от этих невзгод, ни с чем не сравнимого удовольствия!

Потеряв всякую стыдливость, одолев нестерпимую помощь сестры, усеяв лоб бусинами пота, я свалился в омут предутреннего сна с катетерами во всех мыслимых отверстиях.

Я хотел жить, поощряя в себе эгоиста, я не хотел знать ничего другого.

Но прежде, чем провалиться в сон выздоровления, во мне мелькнуло: одумайся, ведь рядом с тобой разорвался снаряд!

Они рвутся, эти снаряды, со свистом, подвывом, несутся над головой, и, хотя давно бы пора попривыкнуть к неизбежности их полета, непоправимости их разрывов, нематериальная душа протестует против такой трезвости.

Душа может дрогнуть, может спрятаться или бежать, но не может, никак не хочет согласиться с тем, что так оно и должно быть, так будет, всегда будет.

И уйдут из этого мира старики и все уйдут, даже нынешние дети, и правдой станет фраза из сказки Андерсена — помните? — «а потом они все умерли, умерли, умерли...».

Но почему же рвется и протестует душа? Почему, зная неизбежность конца, мы, по образу жизни материалисты, не хотим с ним смиряться? Неужто же высокая правда в том, чтобы жить, как животные, не заглядывая вперед и не оборачиваясь назад? Не отдает ли фатализмом такое жизнелюбие, ведь все-таки человек — гомо сапиенс, существо разумное?

Феликс был моим хорошим знакомцем еще со студенческих пор, потом нас соединила общая работа. От смерти его, совсем молодого, спасал дружеский круг, и мне выпала нелегкая доля: наутро после кончины встретить в аэропорту болгарского врача, который, по слухам, мог спасти нашего друга.

Самолет приземлился вовремя, но было уже поздно, и, погоревав, гость попросил отвезти его в Красную Пахру, к Твардовскому, которому он, по слухам, выкраивал у смерти уже не первый месяц жизни. Так, за порогом одной смерти я увидел приближение другой.

Александр Трифонович уже не говорил, его знаки громким и преувеличенно бодрым голосом переводила жена, я здесь был только провожатым, не более, болгарский кудесник жданным гостем и спасителем, но меня поразила равная внимательность великого поэта — он долго жал руку ему, а потом так же долго мне, увиденному впервые. Пристально, точно желая знакомства, вглядывался в мое лицо.

Я ушел в другую комнатку, смотрел в окно на осенне нарядный лес, думал о Феликсе. Это был первый снаряд, попавший в окружение моих сверстников. Ухнуло рядом со мной.

Но я не понимал тогда этого.

Нет, не первый. Первым умер Коля. Мы сидели на одной парте в школе, ни разу не виделись после десятого, он стал военным, носил артиллерийские пушечки на

петлицах. Потом, дома еще, я пошел в кино и увидел его. Мы обрадовались друг другу и в то же время стеснялись: наверное, школьные годы не казались нам важной темой для разговора, мы только что стали взрослыми и еще всерьез относились к своему положению. Он был с женой, выглядел веселым и здоровым.

Мне сказали, он облучился.

Когда уходил, боли мучили неодолимые. Но он не издал ни звука. В последнюю минуту позвал детей — их было двое, поцеловал, обнял жену, отправил всех из комнаты.

Умер один, тихо.

Потом был Володя. Славный, добрый парень.

С ним мы простились. Я пришел, кажется, за три дня, болтали о том о сем, он предложил мне рюмку, я согласился, две его дочки, две маленькие тонконожки принесли поднос с бутылкой, закуску — жены не было дома, — и я налил себе.

— Подожди-ка, — остановил Володя и объяснил мне, как пройти на кухню и отыскать рюмку для него.

Мы хлопнули — за здоровье, конечно, за то, чтобы все хорошо закончилось, за то, чтобы были счастливы наши милые, и за детей, конечно, за всех отдельно.

Ни он и ни я не пьянели и всякую рюмку пили до дна. Потом обнялись.

И с Феликсом мы так же простились. На ходу, в людской толчее, перекинулись про дела, потом договорились скоро и непременно встретиться: есть о чем поговорить.

Они уходили на полушаге, мои сверстники, на полуслове, на полувздохе...

Ничто, никогда, никакая причина не объяснит: зачем умирают молодыми, полными сил, любящими, любимыми? Ведь не война!

Война навеки в нас впилась, взрослых и пацанят — впилась, точно зазубренный, тяжкий осколок. И если ей нельзя прощать, ею можно хотя бы объяснить, в том числе это — неизбежность смерти.

Но сейчас?

Снаряды рвались рядом, совсем рядом. И чем дальше

катится жизнь, тем труднее их разрывы. То ли сил меньше, то ли уже ясно видишь, насколько короче дорога.

Снаряды рвутся рядом.

Меня задело осколком. Надо радоваться, что только осколком.

Пришло утро. Наступило Восьмое марта. Меня посмотрели врачи, сменились, со смехом и поздравлениями, сестры; новые, скинувшись, сбегали за бутылочкой, наверное, это тебе и помогло.

Нарушая всяческую мораль, попирая все правила, действуя эгоистично по отношению даже ко мне, не говоря об остальных, кто лежал в реанимации, ты вбежала на цыпочках в святая святых Первой градской, больно схватила меня за голову и поцеловала.

Я принялся было запоздало ругаться, но ты уже стояла в дверях. А ведь все должно быть наоборот. Все-таки это Восьмое марта, и это я тебя должен бы поцеловать. И цветы от тебя — нет, все перевернулось.

Моей злости хватило ненадолго.

Ты стояла в дверях и подпрыгивала, чтобы мне, лежащему, было виднее твое лицо, и это выглядело очень смешно — будто ты прыгаешь через скакалки.

Я подавал тебе сигналы, чтобы ты уходила, это неприлично, я ведь не один здесь такой, опять же, не дай бог, инфекция.

Но ты не слушала меня — подпрыгивала, стараясь взлететь повыше и подольше остаться в воздухе, чтобы я увидел твое сияющее, искрящееся, дрожащее лицо.

Лицо победительницы.

И я послушно и радостно, будто фотоаппаратом, запечатлевал твое лицо в этих детских прыжках. Я щелкал памятью, не жалея кадров, чтобы потом, когда тебя все-таки прогонят доброжелательные слегка веселые сестры, закрыв глаза, неторопливо перебирать мгновенные, похожие друг на друга и все-таки совершенно разные воспоминания твоего лица, отреченного, бесконечно счастливого, румяного, а на голове — белый берет.

Только перебирая дорогие вспышки, я стал медленно понимать, что на этот раз я выкарабкался.

Моя лодка уносила меня по жизни, вдаль от бурного переката, и в конце все того же года я получил приглашение приехать домой, в Киров, на Дни литературы.

Я как бы двигался второй раз по кругу собственной жизни — все казалось вновинку, вызывало интерес, волновало. Выступив на главном вечере, мы разбились по бригадам и поехали в городки и села, ближние и далекие, уж кому что выпало. Нашей группе досталось северное направление, ухабистые дороги, местные поезда, которые, как и встарь, ползут по пустынной тупиковой ветке, решительно ничем не подгоняемые, старые тряские вагоны, где лампочки светят вполнакала, и уж не почитаешь, остается лишь вести долгие разговоры, потому как спать никакого смысла нет: эти поезда прибывают в пункт назначения непременно посреди ночи, пуще того, наутро, когда самый дружеский разговор примолкает и дурманный сон сбивает головы набок.

Попервости, когда решалось, куда мне ехать, я было подумал о том, не выбрать ли поездку поспокойнее да поближе, но так ничего и не предпринял. В желании плыть по течению было какое-то ожидание, будто мне обещали показать такое, чего я не увижу уж никогда, и я с радостью отдался неспешному движению поезда, тряске вагона, большим общим комнатам неуютных домов колхозника, ледяной воде умывальников и неподдельной радости все новых хозяев, которые сменялись по два или по три раза на день, но вот этим, своей искренней радостью и даже, кажется, удивлением оставаясь совершенно одинаковыми.

Было еще одно постоянство в этом долгом, растянутом на несколько суток дне, прерываемом кратким, по необходимости, сном — нескончаемый разговор между нами, то при свидетелях, при наших добрых хозяевах, то поздней ночью, в одной, другой, третьей гостиничной комнате разных, но тоже очень похожих, поселков, районных центров, больших сел и маленьких городков. В группе нашей собрались все вятские по рождению, земляки, два ленинградца, поэт и прозаик, я, москвич, и двое местных, и, что бы мы ни обсуждали, всякий раз разговор возвращался к нашей общей Родине, к радостям ее и кручинам.

«О светло светлая и украсно украшена земля Русская!»

Не сказано, не воскликнуто, а выдохнуто — с болью и со сдержанным стоном, потому что по-русски радость испокон века круто замешана на горе. Вековечная ча-

стица русской земли, вятская сторона в сердце, пожалуй, всякого своего дитяти, сострадание рождает — скудостью почвы своей, серостью низких небес, валкими, как судьбина, дорогами, неудачливостью своей, обложными дождями в покос ли, в уборку, когда по́том да тяжким трудом кое-что вроде и взросло, да в самый нужный час изменяет везение, и вязнут на поле комбайны — да что комбайны — трактора! — и в отчаянии тянется заскорузлая, заветренная, железом битая рука мужичонки в непосильном уже безверии в щедрость природных сил к горлышку голубоватой бутыли, к блестящей пробке, «бескозырке», по-народному, у которой безвестный рационализатор единственную зацепку ныне сэкономил, язычок, за который и прежде-то нелегко было ухватить неловким, остуженным на ветру пальцем. А уж ныне...

И — эх! Разузнать бы, сколько нержавеющих белых пробок из-под самого что ни на есть народного вдохновляющего напитка посеяно по полям да близлежащим перелескам вятским хлеборобом — небось высокий бы урожай вышел, если собрать, на один-то гектар омытой слезами да водкой неуродной вятской землицы. И уж так ее мяли да ломали, вместе, ясное дело, с тем, кого охотно и велеречиво зовут ее хозяином, так резали да кромсали сначала укрупнениями, потом разукрупнениями, сселениями да расселениями, поставками да сдачами, что мужичонко рассыпаться стал, как печка, которая остается одинокой сперва в заброшенном огороде, потом в чистом поле, после того как дом, а потом и всю деревню на вывоз продали. Кормившая, поившая, гревшая, не одно поколение добрых молодцев взрастившая, будто старая мать, брошенная, проданная детьми, стоит она под тополями — хлещет ее по щекам дождь, заносит снег, и уже не радость, а страх, сердечные перебои вызывает один только вид ее — остуженной русской печки в зарослях репейника на секущем ветру.

За что? За какие такие провинности брошенной оставили ее? Какие такие дожди да снега пали на мужицкие плечи, что стал осыпаться вятский крестьянин, ровно кирпич, глядеть обочь, ломать дома свои на дрова, на небогатую продажу, да и бечь, бросая память, не только что в город, где, ясное дело, греет и без печки, но и за пределы родной стороны, отыскивая, где теплее да беспечальнее? И до того ретиво все это совершил, что вме-

сто трех миллионов жителей до войны осталось ныне на вятской земле, почитай, вдвое меньше. Со всеми ее городами да весями.

При свете неярких, помигивающих районных лампочек тужили мы, плеснув по граненым стаканам все той же беленькой вятского, слободского, уржумского, нолинского разлива, крепость которой негласно возрастала то ли из-за дурной перегонки, то ли из-за качества исходного продукта, по крайней мере, субъективно возрастала, осветляла мозги, в то же время будто бы кислотой обжигая нутро; хмелея, мы узнавали от новых знакомцев, что не только хлеб растет скудно на родной земле, но выведен подчистую лес, которым всегда славилась вятская сторона, леспромхозы тянут свои узкоколейки в соседний край, выполняют планы «за границей» области, и причина этим вырубкам есть хоть и горькая, а понятная.

Чей лес брали наперед всего, когда после войны восстанавливали порушенные города да деревни? Да тот, что поближе, значит, вятский.

Сама история уготовила здешней земле, да и народу тоже, быть сравнительно близким резервом на случай тягот. Еще в войну восемьсот двенадцатого пополнялись русские войска раньше всего солдатами из губерний близлежащих к столицам. Что ж, и в сорок первом пришлось сначала выставлять вятских да вологодских, да владимирских, ярославских, нижегородских, архангелогородских — полегли они полными полками, молоденькие да сильные, в полях под Москвой, и пока собралась да подучилась сибирская выручка в новеньких полушубках, шли они с пехотными гранатками, по одной на троих, да гранеными штыками на винтовочках образца восемьсот девяносто восьмого года, в летних шинелках, против лютого ворога. А после войны опять вятские первыми поехали восстанавливать Сталинград. И много чего первым еще не раз приходилось давать от плоти этой земли — всему Отечеству.

Пора бы и вернуть взятое-то или как? Пора бы поставить тут мощный завод новый, да, может, и не один, чтобы он народ новый привел, укрепил землю хорошей стройки домами, культурой, почетными профессиями, которые людей держат. Институты новые открыть, чтоб молодняк не косил на столицы или даже на Горький,

Пермь, Свердловск, чтобы не перетекала в другие земли так нужная вятской стороне молодая кровь. Чтобы гордился нынешний люд тем, как прирастает культура, став делом живым, а не стылым, силы свои укреплял в спортивных павильонах, достойных Европ. Глядишь, и земле легче станет, по крайней мере, тому, кто ее пашет, а там, может, в такой город захотят вернуться те, кто убрался...

Строили, словом, сообща мы свой Город солнца, утопический край вселенской радости, — почему бы и не помечтать под светленькую, особо такого резкого разлива, — и все же была в печалях наших, припомянутых фактах и счастливых предположениях высокая истина, по крайней мере, душевная жажда ее.

Словно утверждая светлые желания, мы поминали виденное за день — и тот, и другой, — восклицали одно и то же, одни и те же слова, будто фраза эта была единственным доступным нам — не экономистам, но все же кое-что повидавшим и кое-что знающим — доказательством нашей правоты:

— А главное, — говорил кто-нибудь из нас, — люди-то какие! Народ-то каков!

Люди-то!

Пять дней езды по северу для меня походили вот на что. Будто иду я очень долго через людскую толпу, кому-то жму руки, с кем-то разговариваю, с одним подольше, с другим совсем коротко, всего несколько фраз, будто мы расстались с этим человеком совсем недавно, но хорошо друг дружку знаем и оттого разговор продолжаем с прерванного слова, толкуем о том и о сем, и передо мной, одно за другим, лица большой моей родни — изрезанное легкими морщинами, сохранившее летний загар, улыбчивое лицо тракториста с лесоповала, старушечьи, с северной просинью, ясные, как у девушки, добрые глаза, девчоночий румянец во всю щеку, испуганный взлет ресниц, нежно-рыжие, съехавшие на сморщенный от улыбки нос со всего лица веснушки открывшего рот пацана, обветренные скулы и твердые губы человека, привыкшего не болтать, а работать, — я прошел сквозь многоликую толпу доброжелательной своей родни и точно очистил дыхание от выхлопных газов, переполненной столичной улицы, налил себя свежестью чистоты.

Жить становилось легче, повидав этих людей, которые улыбаются, по-прежнему улыбаются, все равно улыбаются на скорбной вятской земле!

Вернувшись из северной поездки, как будто обновленный, я взял в последний день гостевания такси и съездил на кладбище.

В редких тощеватых сосенках подвывал ветер, струилась поземка, низкое небо свисало прямо над головой клочьями рваных туч.

Зачерпывая ботинками снег, я пробрался сквозь сугробы к бабушкиной оградке, отряхнул занесенный снегом портрет.

Она глядела на меня из овального оконца, как в жизни, доброжелательно и спокойно, и открытость ее лица означала всегдашнюю веру в меня. Поглядев вот так, спокойно и доброжелательно, она, бывало, в один миг заставляла меня позабыть всю суету, точно обращала мой взор, внимание моей души на самое наиглавное, отряхивая меня от пустых хлопот, как заботливо отряхивала когда-то мое пальто от налипшего снега.

Она и говорила-то со мной только о хорошем, по крайней мере, старалась изо всех сил обходить темы неприятные, колючие, — спокойно разговаривала про хорошее, про добрых людей, наших общих знакомых и друзей, выискивая в них внимательность, доброжелательство, вспоминая их успехи и радости.

Но сейчас, в холодной поземке, бабушка глядела еще и с неясной тревогой.

Не забыл ли ты чего? — спрашивал ее взгляд.

Я вернулся в город и сразу за мостом вышел из машины, решив пройтись пешком по старым крутым улочкам. Ветер все подвывал, и прогулка не обещала удовольствия, но что-то толкало меня вперед, мимо ветхих домов, мимо места, где жили бабушка и дед, — всякий раз, один или с братом, я приходил сюда, и горло сжимала печаль.

В окнах было темно, теперь в той светлой комнатке жили другие люди, и я радовался, что окна черны сейчас, что там, за занавесками, не движутся незнакомые тени — пусть все остыло, лишь бы не видел я чужой жизни, так легко заменившей другую, близкую мне.

Раньше эти два окошка всегда ярко горели, бабушка

любила большие лампочки, считала, что вечером должно быть светло и празднично. Возле левого окна стояла машинка «зингер», за ней, у стены, мой любимый буфет, потом кровать с набалдашниками, под углом к ней и рядом скрипучий шифоньер, а за ним крохотный закуток, вроде кухоньки, на столе самовар, ширма отделяет закуток от двери, и дальше старый сундук под вешалкой, а по соседству — диван; между окнами, в простенке, комод, над ним мутнеющее зеркало... Невозможно представить, что теперь там все другое и ничего из старых вещей нет в этой комнате, и я никогда-никогда не войду в нее, чтобы выглянуть из окна во двор.

Раньше, давным-давно, двор был зеленым, обросшим травой; тут была маленькая эстрада, скамейки, и однажды я читал с этой эстрады стихи Агнии Барто:

И скачут лягушки за мной по пятам
И просят меня, прокати, капитан.

Я волнуюсь, мне года четыре, но я уже знаю несколько коротеньких стишков; от волнения голос дрожит, а я стараюсь говорить громче, почти кричу и велю себе не забыть слова, потому что тогда, кажется мне, произойдет катастрофа, все засмеются надо мной, но это уже невозможно, потому что стихи от имени капитана я читаю в нарядной матроске, выходит, я и есть тот самый капитан.

Дети и женщины, сидящие на лавочках перед эстрадой, слились в одно пестрое пятно, я вижу единственного человека среди них, мою бабусю. Она вытянулась, ее лицо сосредоточено, и она, шепотом, конечно, повторяет вместе со мной мои важные стихи.

Я слышу смех, слова одобрения, хлопки, наконец-то различаю зрителей и, весь взмокший, спрыгиваю с эстрады.

А потом, чуть позже, в этом же дворе появляется настоящее, редкостное чудо — черный мотоцикл. Да, вот так просто, берет и появляется, я выглядываю в окно, вижу блистающую машину, прислоненную к березе, прошу бабушку отпустить меня во двор, я хочу нарисовать это великолепие, чтобы потом любоваться им, бабушка вручает мне лист бумаги, карандаш, я чинно сажусь за столик, врытый в землю, ставлю карандаш острым концом на лист, а на тупой, в задумчивости, опираюсь верхними зубами. Мне кажется, так удобней серьезному художнику присмотреться к предмету, который он хочет

зарисовать, да и ведь надо обдумать, с чего начать такую серьезную работу.

И тут карандаш срывается с зубов, и, прежде чем ощутить боль, я вижу, как белый лист бумаги становится ярко-красным.

Я кричу не столько от боли, сколько от страха, прибегает бабушка, ужас искажает ее лицо, она растеряна настолько, что сначала не знает, что ей делать, наконец, приходит в себя и тащит меня в поликлинику. Всю дорогу я кричу, плююсь кровью, прохожие смотрят на нас, подают какие-то советы бабушке, а до поликлиники неблизко, три с половиной квартала, и, чем ближе к цели, тем страшнее мне.

Страх приглушает мой голос, наконец, я немею вовсе, а тетенька в ослепительно белом халате просит открыть рот и прикасается к моему нёбу чем-то холодным. Кровь мгновенно останавливается.

Весь день я ничего не ем, потом не ем ничего горячего, и с удивлением смотрю из окна на коварный мотоцикл, который не дал мне себя срисовать. Мы вопросительно смотрим друг на друга, мне решительно непонятна такая мстительная жестокость мотоцикла, краешком языка я прикасаюсь к небу и ощущаю ямку от карандаша.

Я трогаю языком нёбо, ощущаю ямку моего детства и отворачиваюсь от дома, куда я каждый день бежал из школы.

Из школы! Она ведь совсем рядом, знаменитая девятая начальная, правда, ее больше нет, в приземистом здании красного кирпича теперь спортивная школа.

Уже стемнело, окна черны, дом, где из ребенка я превратился когда-то в отрока, казался брошенным, осиротелым, и, будто подтверждая это, где-то за углом хлопала и звенела на ветру дверца незакрытой форточки.

Я хотел пойти дальше, но вместо этого шагнул, совершенно непроизвольно шагнул к двери и потянул ручку. Неожиданно она поддалась, меня поманил свет далекой лампочки, я вошел.

Пахло хлоркой и неуютом, мои шаги прозвучали гулко и пусто; под одной дверью я увидел полоску света — видно, окна этой комнаты выходили во двор. Я постучался.

На пороге возникла пожилая женщина, одетая по-домашнему, и я подумал, что, верно, это нянечка или

сторожиха, неизвестно как теперь называются женщины, которые работают в школе, но еще и живут тут.

— Здравствуйте, — сказал я. — И давно тут спортивная школа?

Она ответила.

— А вы, простите, здесь давно?

Она ответила снова, и выходило, что спортивную школу тут оборудовали еще до ее появления.

Я покивал головой, решил уходить, но вновь меня кто-то подтолкнул, и я задал вопрос вроде бы совсем пустой:

— Здесь раньше учителя работали... Такие знаменитые старушки, Аполлинария Николаевна, Фаина Васильевна, Юлия Николаевна, вы их не знали?

— Нет, не знала, но Юлия Николаевна умерла, а остальные живы.

Я не верил себе.

— Я ведь учился тут.

— Да я поняла.

— У Аполлинарии Николаевны.

— Адреса не знаю, но вот, как Фаину Васильевну найти, объясню. Она с Аполлинарией Николаевной дружит.

Мне да не знать, что они неразлучные подружки, Фаина Васильевна, Аполлинария Николаевна и Юлия Николаевна, — однако вот Юлии Николаевны больше нет. Ими троими и была знаменита наша школа. Еще в ту мою пору Фаина Васильевна, она была директором, и Юлия Николаевна, она учила первоклашек, — надевали по праздникам ордена, да не какие-нибудь, ордена Ленина, а у Аполлинарии Николаевны их было два!

В День Восьмого марта, накануне Октябрьских, Первомая и Нового года они, не сговариваясь, я в этом уверен, приходили в черных строгих платьях или костюмах с белыми — непременно белыми! — воротничками, а на груди горели огоньками ордена.

Будто по волшебству какому шумливая наша ребячья рать в такие дни становилась тише, меньше скакала и толкалась, убавляя шаг возле трех принаряженных старушек при таком видимом сиянии их славы, которая, хочешь не хочешь, распространялась на нас.

Мы гордились своими учительницами!

Впрочем, гордость не мешала потихонечку похихикивать над ними. Не всегда, конечно, лишь на улице, после уроков, но школа работала в три смены, и наши старуш-

ки уходили отсюда поздно, так что, пожалуй, лишь по весне, когда светлело и домой родные загоняли нашу братию чуть попозже, можно было увидеть эту картину.

Три наши старушенции шли рядышком, взявшись под руки, но ведь в руках у них были портфельчики, и поэтому та, что шла в середине, прижимала свой портфель к груди, другие держали ее одной рукой, а второй рукой каждая несла свой портфель.

Они шли медленно, словно глубоко вдыхали свежий воздух, по-моему, даже жмурились от удовольствия и от яркого весеннего света, и, если ты попадался на глаза в эти мгновения, кажется, был им решительно неинтересен: они кивали, конечно, в ответ, но совершенно спокойно, без всякого чувства, равнодушно. Привыкшие чуть ли не к ежечасной их требовательной опеке, мы не понимали перемен и, бывало, обсуждали их между собой, делясь неожиданными впечатлениями.

Это было чисто детское.

Мы забывали, что наши старушки идут домой после третьей смены подряд. Заводы тоже работали без передыху, но там рабочие уступали место друг другу. Учителей начальной школы никто не заменял.

Есть в маленьких городах своя особая тайная прелесть. Ты можешь найти человека, нужный дом, магазин или музей не в адресном столе или телефонной книге, а с помощью знакомого или просто встречного, при этом он чаще всего укажет тебе не номер или название улицы, а объяснит путь: иди два квартала прямо, потом направо, поверни еще раз, только налево, увидишь большой пятиэтажный дом, там будет много подъездов, но один со ступеньками, шагай туда, третий этаж и на площадке левая дверь. И не сомневайся, иди смело, найдешь кого тебе надо, только точно запомни повороты, а нет — запиши на спичечном коробке, троллейбусном билете, клочке бумаги.

Так и шел я на встречу с моими учителями. Целая вечность минула с тех пор, как осталась в моем прошлом девятая начальная, потом средняя, на другом краю города, университет, и много мне добрых людей встретилось, кто уму-разуму учил, но не зря говорят, что первая память — самая прочная, ярче других в сознании нашем начальные воспоминания самого раннего детства — не

они ли отдают предпочтение первому удивлению, первой боли, первой беде, а среди них — первому учителю.

Строго говоря, Аполлинария Николаевна была второй учительницей в моей жизни, первой оказалась Юлия Николаевна, она учила только первышей. Но то ли первый класс промчался для меня слишком незаметно и очень легко — ведь я умел и читать, и считать, и писать понемногу, а настоящие мои трудности, — а, значит, настоящее ученье, — начались со второго, то ли первый класс ни в какое сравнение не шел с тремя остальными, даже по продолжительности, то ли взрослое понимание военных лет все скорее настигало нас, но Юлию Николаевну я крепко уважал, а вот Аполлинарию Николаевну просто любил.

Если бы один я! Поначалу на переменках весь наш класс окружал ее, словно выводок птенцов заботливую наседку. Девчонки, так те бы просто повисли на ней, будь она чуточку помоложе. Подрастая, мы освобождались от внешних проявлений чувств, но оттого наша любовь к учительнице только становилась серьезней...

И вот — сквозь столько лет! — я шел на свидание с ней.

По дорожке, указанной нянечкой из спортивной школы, я добрался до порога, за которым обреталась Фаина Васильевна. Она стоит в коридорчике, повторяет второй раз: «Вам кого?» — а я, забывшись на мгновение, спрашиваю себя, узнал бы я ее, встретив, к примеру, на улице? Сейчас-то я нахожу знакомые мне черты, но это потому, что искал ее, а так... Время способно ломать человеческую фигуру, пригибать плечи к земле тяжестью своих дней, не всегда легких, и это, в общем, понятно, но как удается ему изменить черты лица, оставляя в неприкосновенности лишь глаза? Нынешняя Фаина Васильевна только отдаленно походила на ту, которую я помнил, и неожиданная горечь наполнила меня.

Ведь это значило, что и я совсем не такой — тем более не такой! — времени подвластны все; одних старит, других превращает во взрослых из маленьких, наивных детей, и если я с трудом узнавал Фаину Васильевну, меня она просто не знала, не могла знать.

Я назвался, сказал про девятую школу, она согласно закивала головой, поспешно призналась, что помнит, как же, но по ее глазам, оставшимся спокойными, я понял,

что она и теперь — учительница, не желающая обидеть бывшего ученика своей непамятью.

Я сказал, что через несколько часов мой поезд и хотел бы увидеть Аполлинарию Николаевну, не укажет ли Фаина Васильевна мне путь. Я надеялся услышать, сколько кварталов и как идти, куда поворачивать и какой дом от угла, но она засобиралась, надела потертое пальтецо, и это неновое, поношенное пальто с воротником какого-то очень давнего, усталого меха, не раз, видать, уже переставленное, снова кольнуло меня. Без лишних слов я понял, что пенсия очень скромна, и хотя как будто хватает на все самое главное, лишнего она себе позволить не может, и к лишнему, вполне вероятно, она причисляет воротник, который не так уж и обязателен, и даже новое пальто.

Но они не привыкли жаловаться, мои знаменитые старушки, они умели мерить свои потребности самым малым. Фаина Васильевна, будто почувствовав мои мысли и оставшись ими недовольна, решила немедленно развеять их. Застегнув пальтецо, деловито оправив воротник, она обернулась ко мне и строго произнесла:

— А ты все-таки зря подумал, будто я тебя не помню.

Придерживая ее за локоток, подстраивая шаг под мелконький, осторожный, семенящий лад, стараясь заслонить собой маленькую согбенную фигурку от секущего бокового ветра, я вслушивался в слова, идущие откуда-то снизу. Про что она говорила? Про девятую начальную школу, которой больше нет на самом деле, одно здание, забывшее наши крики, да и мы-то, выкормыши ее, разве часто вспоминаем приземистый двухэтажный дом очень старого красного кирпича?

Одна она, Фаина Васильевна, да еще моя милая старушка, к которой идем мы вдвоем, помнят свою девятую по-настоящему и знают о ней много такого, что неведомо было нам. Мы — лишь мимолетные, временные ее жильцы, торопливые бегуны, которым некогда оборачиваться по сторонам, если что и помнили, то только из щедрости природы, которая независимо от нашей воли заставляет навеки запомнить невыцветающие от времени картинки детства — словом, много нас вбежало в первый класс, чтобы потом выбежать из четвертого и ринуться дальше в многоцветную, сверкающую жизнь, попадая в объятия любимых, ушибаясь об острые углы вражды,

побеждая и оказываясь побежденными. Мы для школы — величина переменная, и только они, учителя, величины постоянные.

Фаина Васильевна роняла фразы, не повышая голоса, не замечая, что ветер задувает ее слова, вспоминала, как работали они в три смены, кипятили ведрами воду в бачок, чтобы мы не пили сырой воды, вокруг свирепствовал тиф, как чертили на доске не по линейке, потому что больших линеек не было, а по оструганной досточке, их делал школьный конюх, а как же, кроме учителей и нянечек, в штате был конюх, он же водовоз, истопник, и лошадь, и школе выделяли, кроме фонда зарплаты, фуражный фонд, но его не хватало, и летом, когда ребята расходились на каникулы, учителя ходили на луга, косили сено на зиму для школьной кобылы, и как вдруг, когда все самое тяжкое миновало, девятую решили расформировать, передать детей в среднюю школу, начальные больше не требовались, потому что исчезло само понятие начальное образование.

Она говорила рваными фразами, без всяких подробностей, точно сама себе напоминала главные вещи, а ей не требовались уточнения и углубления, и после нескольких фраз вскидывала голову и, обращаясь уже ко мне, повторяла одно и то же:

— А годы-то — ох да ох!

Ох да ох!

А жизнь готовила мне нечто невероятное.

Мы подошли к дому из силикатного кирпича в глубине квартала, где жила Аполлинария Николаевна, и, пока переходили двор, во всех окошках светились разноцветные огни. Но едва мы приблизились, дом бесшумно исчез в темноте.

Послышались шаги, мелькнула тень, мальчишеский голос объявил нам, будто мы сами не видели:

— Пробки перегорели.

— Ничего, — сказала Фаина Васильевна, — мы и в темноте доберемся.

Я еще ничего не понимал, никаких не испытывал предчувствий.

Фаина Васильевна отыскала во тьме кнопку звонка, нажала ее, коротко рассмеялась и постучала в дверь.

Нам открыли... Я вошел и замер у порога, затаив дыхание.

Я вошел в другое время.

Моя учительница строго глядела на меня, и свечка, горевшая рядом, освещала ее усохшее, в глубоких морщинах, лицо.

Вот сейчас она встанет и медленно пойдет по рядам, наклоняясь к партам и зажигая пламенем своей свечи фитили самодельных коптилок и других свечей, и класс постепенно озарится колеблющимся, дрожащим светом. Если сесть на заднюю парту, а еще лучше встать в угол и посмотреть на весь класс сразу, маленькие огоньки, расставленные по партам, вызовут страшное оцепенение, ощущение чего-то торжественного, как, например, молитва в церкви, хотя эту молитву тогда я видел один всего раз, да и то через открытую церковную дверь. Но в то же время класс, освещенный теплыми огоньками, создавал уютность, и, когда вспыхивал электрический свет, нас точно обдавало холодом.

Половина первого урока нравилась мне больше всего, потому что мы говорили не про ученье, а про всякую всячину — ведь после того, как Аполлинария Николаевна зажигала огоньки, она возвращалась к столу, доставала из своего портфеля коробочку, склеенную из желтоватого картона, а вслед за ней серебряную старинную ложечку, завернутую в платок; дежурный по классу заранее наливал из бачка в коридоре кружку кипяченой воды — кружка стояла в учительской на подоконнике, — и вот она снова шла по рядам, доставала ложечкой из коробочки шарик витамина С и клала его прямо в чей-то рот, потом булькала ложкой в кружке, которую нес дежурный, и повторяла все сначала.

Можно было раздать шарики быстрее, сэкономив урок, но наша Аполлинария Николаевна знала нас, знала, что дай витаминку в руки, мы тут же начнем меняться или копить, а это значит, что кто-то останется без спасительного шарика: по городу угрюмо бродила цинга, и раз в неделю, когда уже светало, учительница заставляла нас неудобно открывать рот, сжав при этом зубы. Она осматривала десны.

Впрочем, витаминок хватало ненадолго, и чаще всего на учительском столе по утрам высилось эмалированное ведро.

Вот это была мука! В ведре она запаривала хвою, еловую или от сосны, получался красивый на вид, зе-

леный, но до ужаса горький отвар, и Аполлинария Николаевна снова терпеливо ходила по рядам, теперь уже с кружкой, полоскать которую приходилось в котелке.

Мы ныли, мы канючили, нельзя ли подсластить этот хвойный отвар хотя бы сахарином, а еще лучше заменить его шариками витамина С, но Аполлинария Николаевна отвечала нам, что сахарин вреден для почек, что горький вкус отвара это признак природного витамина, который содержится в хвое, и что его пьют даже раненые в госпитале.

Это сравнение возвышало нас, заставляло пить горькую воду, но забыть сладкие шарики мы не могли.

Только потом школьная нянечка проговорилась както, что витаминки-то Аполлинария Николаевна получала в аптеке на деньги, которые полагались ей за ордена Ленина. А еще на свою зарплату. И уж потом только заваривала горькую хвою.

И вот она разглядывала меня, как тогда, давнымдавно, прикрыв ладошкой пламя свечи. Ладошку истончило время, она светилась красным, с желтизной, лепестком, я шагнул к ней, поцеловал ее в висок, поздоровался, потом назвал свою фамилию.

— Алик! — воскликнула она.

— Неужели помните?

— А как же!

— Но прошла целая вечность! Тридцать лет!

— Милый мой, — сказала она поучающе, но со смехом в голосе, — запомни: человек в моем возрасте не знает, что он делал пять минут назад, но зато хорошо помнит, что сказала ему однажды поутру бабушка лет этак, — она прищурилась, — девяносто назад.

— Аполлинария Николаевна! — воскликнул я. — Хоть, может, это — бестактность задавать такой вопрос даме, простите, но сколько же вам?

— Хо! — игриво взмахнула она рукой. — Пожалуйста! Я уже давно за пределами того возраста, который называется дамским. Стукнуло еще пять!

— Сверх?

— Сверх девяноста.

Настала моя пора. Приглядевшись ко мне, она сказала властным, как в четвертом классе, голосом:

— Теперь говори ты. Где живешь, что делаешь, где учился?

Я рассказывал торопливо, очень бегло, мне не терпелось поговорить с ней о ней, повыспросить побольше про ее жизнь, но вышло так, словно я плохо ответил урок.

— Куда ты торопишься? — спросила она и усмехнулась. — Как видишь, я уже никуда не спешу.

Неожиданно я вспомнил наши утренние уроки, рассказал, как она зажигала коптилки и свечи, а потом раздавала витаминки или поила отваром.

— Да? — удивилась она. — Решительно не помню.

Я сказал:

— Ведь раньше за ордена полагались деньги.

Она вздрогнула, точно испугалась, ответила, будто оправдывалась:

— Нет, нет, я не считала себя вправе!

— Что именно? — спросил я.

— Тратить их на себя. Покупала что-нибудь детям. Например, хлеб на рынке. Резала его в учительской и на перемене давала самым голодным.

— Как вы узнавали, кто голоден?

— Я знала положение каждого. Правда, это не всегда помогало. Так что я по глазам.

— По глазам?

— Ну да! Тот, кто голоден, сначала более восприимчив, знаешь ли! Он лучше слышит и лучше видит! И у него по-особому блестят глаза. Но это только вначале. Потом наступает зевота. За ней дремота. И сон. Так что разглядеть голодного ребенка очень легко, всякий учитель должен уметь это.

Она поглядела на свою подружку, что-то, видно, не понравилось ей, и она спросила:

— Я права, Фаина Васильевна?

— Теперь другое время, Аполлинария Николаевна, — ответила, вздохнув, та. — Такие знания учителю вовсе не обязательны.

— Вот уж глупость! — моя старушка заворочалась, и только теперь я увидел, что сидит она на кровати, опершись на подушки, однако прибрана и ухожена, в простенькой черной кофточке, но с неизменным белым воротничком.

Перехватив мой взгляд, Аполлинария Николаевна рассмеялась, показав белоснежные зубы.

— Не смотри на меня так, — сказала она, — это я просто сломала ногу. Прямо здесь, в комнате, на ровном месте. И на старуху бывает проруха. Что же ка-

сается зубов, то за всю свою краткую жизнь я ни разу не была в зубном кабинете.

— Была! — вспомнил я.

Еще бы! Каждый год всем классом мы ходили в зубную поликлинику. Вот уж где все становилось очевидным. Героев сразу видно. И гордые девчонки выходили из-за дверей какие-то смятые и в слезах.

Но не тут-то было: нашу учительницу трудно сбить.

— Была! — воскликнул я, и она тотчас парировала:

— Только с вами!

И тем не менее, как ухитряется эта трогательная старушенция перехватывать мои взгляды и на лету ловить мысли?

— Так вот, это великая глупость, — повернулась учительница к Фаине Васильевне. Она ведь не закончила свою мысль. — Учитель обязан знать всего ребенка, с макушки до пяток! Его развитие, привычки, даже то, чего нет, но что может с ним быть. Он просто обязан! Вот и все. Кстати, как твоя бабушка? Она жива?

Я сказал, как попал сюда, откуда пришел.

— Да, — сказала она, — у тебя была замечательная бабушка. Вот только забыла, как ее звали, прости. А жила она напротив съезда к парому, сейчас бы нашла, кабы не нога. А как стихи любила и много знала, молодец!

Я таращился на великое чудо.

— Откуда вы знаете? — спросил я. — Она читала вам? Говорила об этом?

— Ну что ты! — покачала она головой, хитро поглядывая на меня. — Ты сам сказал.

— Когда?

— А тогда. Давно. На уроке!

Наверное, у меня был совершенно дурацкий вид, потому что Аполлинария Николаевна снисходительно улыбнулась и заговорила о чем-то с Фаиной Васильевной. Сжалилась, решила дать передышку.

Я вспомнил: бабушка спрашивала меня будто, не забыл ли я чего?

Не забыл? Многое надо вспомнить, если запамятовал, но стихи ее не забыть, нет.

Откуда она знала их так много? Почему не успел спросить? Нет, спрашивал. Она отвечала, как всегда с ласковой улыбкой, и все же неохотно. В ее детстве бы-

ли книги, она их любила, особенно вот Некрасова, он ведь легко запоминается, целыми страницами, хорошие простые стихи.

Еще я вспомнил, что у нее была потрепанная общая тетрадка и, став постарше, бабушка записывала в нее стихи, которые помнила наизусть. Я спросил ее, зачем она это делает, раз и без того знает на память. Она ответила, дескать, просто так, потом, став серьезной и вздохнув при этом, пояснила, что вот все чаще их забывает. Провалы какие-то. Потом походит несколько дней и вдруг где-нибудь в магазине вспомнит то, что забыла.

— Вот я и пишу, что помню, — сказала бабушка. — Какое забыла — пропущу, а вспомню и запишу на пустые места.

Это было в последние годы, когда не стало деда и она часто оставалась одна. У мамы свои дела, брат учился, а я жил в другом городе.

О чем она думала, моя хорошая, что вспоминала, оставшись одна? Никогда, нет, никогда уж теперь не узнать мне об этом.

Бабушкины стихи я слушал чаще всего почему-то в сумерки, пока не пришли с работы мама и дедушка, свет не включен, уроки я давно приготовил, и вот настает такой час, когда мы вдвоем, ничто не отвлекает нас, ужин у бабушки поспел, только подогреть, и вот мы сидим за столом, серый вечер вливается в окна, ни читать, ни говорить, ни слушать радио неохота, мы молчим, даже не глядим друг на друга. У сумерек есть способность чуточку приостанавливать жизнь. День не сразу переходит в вечер, а выцветает, становится блеклым, и все же это еще не потемки: полувечер, полудень. Дыхание становится глубже, но медленнее, движения спокойнее, как бы ленивее в предчувствии новой части дня; голоса тише.

В такую вот пору вдруг, без всяких приготовлений и даже как будто сама себе, очень негромко, бабушка начинает читать стихи.

Они у нее всегда длинные; эти стихотворения похожи на рассказы, в них есть постепенность и события, и мне очень нравится именно это — что в них не просто несколько громких строчек, а целая история.

Я любил длинные стихи, например, про медведя, как

ехал ямщик на тройке, к нему попросился какой-то человек с ручным медведем, они у трактира остановились, вышли перекусить, а медведь в санях подал голос, и лошади с перепугу его понесли, получилось, что топтыгин скачет на санях, будто знатный генерал. Умора!

Но бабушка с весельем моим не соглашалась, по ней стихи не для смеху писались, и она мне читала про то, как Мороз-воевода с дозором обходит владенья свои, про крестьянских детей, про Орину — мать солдатскую, про Ивана Сусанина, а больше всего любила про железную дорогу.

Бабушка бывала радостной, и нередко, я любил ее в такие минуты, но чаще она будто бы осаживала себя, улыбалась сдержанно, если хвалила что-нибудь, то в полмеры, и стихи она любила печальные, какие за сердце берут.

Где уж мне, разве я помню, а она вот не по книжке и не по тетрадке читала мне негромко, но торжественно в сумеречный, серый час. Было чуточку страшновато, картина, которую она мне рассказывала, выходила яркая, в красках, и сердце мое бухало тяжелыми ударами.

Прости, я открою книжку, чтобы вспомнить твой голос, твои интонации. Как это тут?

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

Труд этот, Ваня, был страшно громаден —
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

В этом месте я часто моргал, мне хотелось отчего-то плакать, в горле першило, и я был благодарен сумеркам за то, что они такие серые и размывают очертания лиц, и значит, бабушка меня не увидит. Но она и не глядела на меня. Ее лицо повернуто к окну, спина выпрямлена, голос уже звенит, точно она не мне одному читает, а еще кому-то, там, за окном.

Чу! восклицанья послышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!

Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.

Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Все претерпели мы, божии ратники,
Мирные дети труда!

Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено....
Все ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?»

Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,
С разных концов государства великого —
Это все братья твои — мужики!

Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый больной белорус:

Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;

Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век....
Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!

Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит

И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!

Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет!

Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.

Наступала тишина, дальше бабушка не читала, наверное, знала только этот отрывок, но мы молчали, говорить не хотелось. Сумерки густели, потом в комнату вползала тьма, и лишь серебряно светились оконные переплеты.

Потом оцепенение кончалось. Бабушка вставала, включала свет, но мы еще долго не глядели друг на друга, будто было стыдно за что-то.

Наверное, вот за что: мы есть, а тех, про кого стихи, давно нет. Что-то саднило душу.

Жаль, жаль — редко читаем Некрасова. А ведь в одной московской школе смело мыслящий педагог с критическим креном ума сказал мне, что Некрасов сентиментален, что дети читают его без интереса, воспринимают точно историческую иллюстрацию и, мол, пора бы его несколько подсократить в школьном курсе.

Я слушал его, не веря ушам. Вообще развешивать ярлыки — признак злого умысла и равнодушного сердца. К тому же у заемного слова «сентиментальность» есть русский эквивалент — чувствительность, и то и другое усилиями критики и воспитания обращено в нечто постыдное. Чувствовать неприлично; плохо, когда плачут, это теперь вроде как признак низкой степени развития. И нестыдно бесчувственные дети щеголяют жестокостью к животным, отроки поднимают руки на стариков, юные — на безответных.

Не этого ли добивались злобные развешиватели ярлыков — оградить от сострадания, отучить от слез,

усыпить совесть? Немалого достиг нечистый дух расчета. Ведь, по его меркам, — плакать невыгодно.

Да, счастливой была моя бабушка. Она не знала ничего этого.

Она верила в то, что слезы очищают, что надобно мне, существу бесконечно далекому от прошлых лет, укреплять упражнениями души свою память и вместе с Ваней из поэмы Некрасова не забывать о тех, кого нет...

С трудом выплывая из тягучей черной воды, возвращаясь из прошлого, я пристально вглядывался в Аполлинарию Николаевну. Она тоже разглядывала меня, осторожно, внимательно, не изъявляя лишнего любопытства и все же как будто о чем-то спрашивала меня.

Вспомнил ли? Конечно! И не забывал.

Будто услышав мой ответ, она коротко, слабо вздохнула, облегченно улыбнулась.

— Ты знаешь, — сказала она со смехом, — у моего возраста есть один серьезный недостаток. Как ни старайся, как ни помни свое прошлое, а все равно тянет сюда. Вот слушаю радио, читаю газеты, хотя трудно, буквы мелковаты для моих глаз. Зачем, говорю иногда себе? Почему ты цепляешься за то, что тебе, говоря откровенно, уже не принадлежит? Цепляешься, будто за спасательный круг?

Фаина Васильевна замахала на нее рукой, сказала, перебивая:

— Грех, грех так говорить. Надо жить, пока живется.

— Фаи-ина Васильевна! — укоризненно проговорила учительница. — Мы же с вами материалисты! И, главное, я про то же!

Она перевела взгляд на меня и сказала:

— Понимаешь, я все поражаюсь — почему же жить-то не надоедает?

Она рассмеялась мелконьким смешком, а я, разглядывая ее с нарастающим удивлением, вспомнил больницу, свои страхи. Выходит, в них был смысл — жить не надоедает, да еще когда ты на полдороге. Но мы суеверно молчим об этом, думаем лишь о том, чтобы обнесло, проскочило мимо. Но вот я говорю с женщиной, которая действительно уже ничего не боится, и она думает без всяких суеверий и страхов: жить не надоедает, нет. Моей учительнице можно верить.

— Ты знаешь, — снова говорит она, — я никогда не

тряслась за свою жизнь, может, это мне помогло? Часто думаю: гляди-ка, сколько твоих ровесников давным-давно нету, сколько учеников полегло, особенно на войне, да и так, по возрасту, и среди них множество людей достойнее тебя, полезнее народу, стране, но их нет, а ты, старая перечница, все еще кадишь!

Она перевела дыхание.

— Ну разболталась! Скажи теперь ты. По свету езживал? Много? И в Америке был! Расскажи, что за люди, чего от нас все хотят?

Я говорил про небоскребы и «боинги», про людей, доброжелательных и наглых, но делал это механически, потому что память моя двигалась совсем в другую сторону и другое время.

Я вспомнил Вовку, с которым мы сидели на одной парте целых три года, белобрысого моего дружка начальных школьных лет, его большую, как футбольный мяч, голову и крупные, крепкие, будто у бобра, передние зубы, которыми он изгрызал сперва в лохмотья, потом в короткие огарочки свои школьные ручки. Он был головастым не только в прямом, но еще и переносном смысле слова, любил арифметику и умел легко щелкать трудные задачки, однако вот был у него при этом один недостаток: грыз ручки.

Аполлинария Николаевна говорила ему:

— На тебя никакой «Физприбор» ручек не напасется.

Был в нашем городе такой заводик по имени «Физприбор», который делал ученические ручки и всякие другие школьные радости — например, жужжащие электрические машины, где между двумя никелированными шарами с треском пролетает искра.

«Физприбор» действительно изрядно напрягался, работая на Вовку, и чуть не каждую неделю Аполлинария Николаевна, покачав головой, поглядев на моего соседа, погруженного в науку, помедлив и вздохнув, отдавала ему свою ручку.

Он озирался по сторонам, потому что по классу прокатывался смешок, впрочем, уже привычный, совершенно не сатирический — мы фыркали просто так, по привычке, и Вовка тотчас принимался грызть новую ручку.

Перышко только Аполлинария Николаевна не отдавала. Перышки, восемьдесят шестые или лягушки, были

большой ценностью даже для нее, а потом кто не знает, что самое лучшее перо — расписанное, а не новое, с которого чернила капают, норовя оставить кляксу.

Так вот, Вовка.

У них с Аполлинарией Николаевной были какие-то совершенно особые, простецкие, отношения. Например, она могла его назвать так: Вов.

— Вов, — например, — иди-ка, отвечай!

И он шел, вовсе не удивляясь такому обращению, хотя всех остальных Аполлинария Николаевна называла по-другому, если не более официально, то более полно, скажем так. Например, могла назвать человека полным именем — Алексей, или детским — Алеша, но никогда по-ребячьи — допустим, Алеш или Алешка. А Вовку она могла при всех назвать Вовкой. И он ухом не вел. Даже, кажется, еще охотнее отзывался на такое обращение и вообще был покладистее, старался.

Однажды я спросил его про это. Не сразу спросил, а классе в четвертом, когда мы стали постарше, и, видно, привычное виделось новыми глазами.

— Ха, — сказал Вовка, — так ведь Аполлинария Николаевна учила мою мамку, потом братана, сестру и вот теперь меня.

Он помолчал и потом добавил очень обыкновенным, без всяких интонаций, голосом, точно говорил о самом обыкновенном и простом:

— Она же нам как родная.

Вовка замедлил шаг, глаза его остановились, он вперился в улицу перед собой, будто оглох и онемел.

— Ты чо! — спросил я его. — Опять?

Такие затмения часто находили на Вовку, и мне сначала казалось, что он сошел с ума, «сбрендил», как мы выражались. Но я уже не раз убеждался, что Вовка погружается в свои думы очень даже неспроста. О чем-то таком важном думает и сейчас скажет об этом. Он сказал:

— Знаешь, как она мать обманывала!

Вовка прошел несколько шагов, мотнул головой.

— Нехорошо выразился. Не обманывала, а выручала.

Я расскажу об этом своими словами, теперь зная и понимая больше, чем тогда. Но вначале еще малость про то время, каким я его видел. Ведь я тоже был свидетелем этих обманов.

В начале третьего класса с Аполлинарией Николаевной что-то произошло. Стояла теплая осень, бабье лето, а она зябко куталась в платок и дрожала. Еще вчера она чувствовала себя прекрасно, шутила, а тут прямо лихорадка какая-то. Вообще что-то не так.

Новый урок не объясняет, вызывает одного за другим и всех подряд спрашивает. Мы отвечали, как всегда, кто лучше, кто хуже, но она вроде и не слушала. Глаза ее блестели, кажется, набегали слезы, так бывает, когда сильный грипп и насморк. Аполлинария Николаевна и правда часто вытирала нос платком.

Словом, она слушала наши ответы как во сне и никому не ставила отметок, пока мой Вовка спросил обеспокоенно:

— Аполлинарь Николавна! Может, вам таблетку принять. Или к врачу?

Она посмотрела на него со страхом. С неприкрытым, явным страхом, я хорошо это запомнил. Потом отвела взгляд, словно была чем-то недовольна, но голосом сказала совсем другим, добрым:

— Вов, — сказала она, — иди.

Вовка вышел к столу, чего-то бодро отвечал, очень старательно, конечно, хотел порадовать учительницу, но она ничего не слышала — это уж точно. Потому что когда Вовка закончил свой ответ, Аполлинария Николаевна смотрела перед собой невидящим взглядом и ничего не говорила.

Мы, похоже, не на шутку испугались, стояла тишина. Сколько это тянулось? Три, пять, семь минут?

Вовка деликатно кашлянул, учительница встрепенулась и что-то отметила в журнале. Возвращаясь на место, Вовка заглянул в журнал, лицо его расплылось, он показал мне издалека растопыренную пятерню.

Дверь хлопнула, в классе появилась Фаина Васильевна.

— Аполлинария Николаевна, — сказала она, — как вы себя чувствуете?

— Ничего, — ответила учительница.

— Может, вас подменить? Или отпустим ребят?

— Нет, — тихим, больным голосом ответила Аполлинария Николаевна.

Но больше всего меня удивила фраза, сказанная Фаиной Васильевной совершенно невпопад:

— А Володя здесь?

Она отыскала глазами моего соседа, — с чего бы это, — кивнула головой и исчезла.

Я толкнул Вовку локтем. Он понял меня без слов и пожал плечами. Оглядев его, я понял, что сосед мой и правда ничего не понимает.

Все пять уроков прошли одинаково. Аполлинарию Николаевну знобило, но она упрямо не шла к врачу, вызывала нас всех подряд, но ни на кого не обращая внимания, и только Вовка получил еще две пятерки.

Эту ее болезнь быстро все забыли, потому что наутро Аполлинария Николаевна была совсем другой, какой-то решительной и собранной, за весь день она никого не вызвала, наоборот, только говорила сама.

Вот и все, что заметил я тогда, ничего, конечно же, не поняв.

Вовка помнил тот день. Теперь он знал все остальное, хотя рассказывал коротко и сухо. Он передал мне смысл — я вижу сцены.

Утром она неторопливо шла по улице, солнечной, по-осеннему нарядной, поражалась чудесной тишине, вдыхала пряный, остановившийся, словно остекленевший воздух, ловила взглядом лист, плывущий, как на волнах, в воздухе, покачивающий краями, провожала его, пока не ляжет на дощатый тротуар или острые стебли поздней травы, затем вновь поднимала голову и присматривала в покойном, неторопливом опадании другой листок.

Это походило на забаву, на игру, достойную более ее учеников, нежели учительницы, и тем не менее невинное развлечение по-детски радовало ее.

Она уставала, это ясно, но кому интересна ее усталость теперь, когда идет война. Уже много раз она ловила на себе странный взгляд знакомых женщин и понимала его без всяких слов. Эти женщины, матери ее учеников, не могли простить, что на фронте у нее никого нет, что она одна, и всегда была одна, и вот теперь этот страшный выбор спасал ее от бед.

Так думали женщины, она, учительница, знала ход их мыслей, и, бывало, накидывала на себя чопорность, но это плохо подходило ее характеру да и самому существу. Женщины думали так, как им думалось, и в таких случаях редко кому удается проникнуть за полог чужой души, а ее душа болела за всех...

Как быстро меняется смысл понятий. По нынешним временам «за всех» чаще всего подразумевает циничное — ни за кого; громкая фраза при душевном равнодушии означает не чувство, а в лучшем случае натянутую имитацию его. Аполлинария Николаевна жила другими правилами, раз и навсегда выбрав их еще в юности под руководством беззаветности и любви. Восемнадцати лет придя в школу учительствовать, она уже знала, что всю жизнь будет одна, семья, по ее святому разумению — конечно же, ошибочному в нынешние практичные времена! — будет мешать работе, служению детям, многим ее детям. Впрочем, выбирая учительское ремесло, нередко в тот старинный век руководились идеальными понятиями о служении народу и просвещению, при которых самоотверженность во имя детей и педагогическое самоотречение не оставались пустыми фразами, а звучали, как девиз жизни, целеустремленной и ясной.

Душа учительская была призвана болеть не за одного, не за троих, а за всех, и вовсе не обязательно подразумевать под этим словом только своих учеников.

Впрочем, как минимум, это признавалось. За всех своих учеников. В полную меру искренности и глубокой человеческой страсти.

Так что любование листопадом и застывшим осенним воздухом было только минутным оцепенением, краткой передышкой в бесконечном напряжении, когда нет времени вспомнить о себе и когда так ясно убеждаешься в правильности самоотречения. Переменка перед долгим уроком дня.

Теплое осеннее утро в тылу, эта неправдоподобная тишина только подчеркивали кровавую жестокость войны, где воюют ее бесчисленные Вани, Вити, Сережи и Толи, фамилии которых она, конечно же, превосходно помнит и, перебирая недолгими усталыми вечерами коллективные фотографии выпускных классов, каждого безошибочно знает в лицо.

Эти фотографии хранятся в отдельном старинном альбоме с сафьяновым переплетом и бронзовой застежкой — собрание ее сочинений, переводя на писательские понятия.

Сперва она решила помещать фотографии в прямой последовательности, одну за одной, выпуск за выпуском,

но потом эти коллективные карточки пришлось раздвигать, распустить, как вязанье, заполняя освобождающееся место фотографиями людей в пиджаках и косоворотках, в красноармейских шлемах с кубиками в петлицах, молодых женщин с детьми на руках и снимки забавных, никогда не виданных в жизни детских мордáх, ее названых внучат.

Нет, зря кое-какие современницы стараются — заспинно, конечно — высмеять старую идею учительского самоотречения, поглядите, какая родня, сколько народу помнит ее и знает от родителей, но, главное, конечно же, не в этом, главное, что сердце болит за каждого из них.

Уйдем от общих мест — сердце болит не как за детей. Что ж, сердце учителя имеет право на собственную особую боль, когда оно страдает за жизни и судьбы учеников, и это чистое, достойное право. Ты думаешь об их лицах, об их здоровье. Так думают матери. Их чувство глубже, глупо спорить, зато у тебя есть еще одно, чего может не быть у матери — ответственность за то, как твои знания помогают человеку жить. За то, насколько хороши твои знания?

Нет, одно с другим не соревнуется, ведь не напрасна же ее сладкая боль, когда вечером, одинешенька, она глядит на фотографии выпускников в старом альбоме, проводит кончиками пальцев по стриженым головам мальчишек, словно снимает нависшую над ними опасность.

Вот так она шла к своей школе, знакомой, много раз хоженой дорогой, в задумчивости, минутной умиротворенности, и вдруг, словно этот покой и эта тихая радость возмутила кого-то, какую-то таинственную, злобную силу, не привыкшую к тому, чтобы у моей учительницы на душе было тепло и покойно, — вдруг перед ней возникло молодое плачущее лицо.

— Ну что ты? — сразу, ничего еще не зная, но желая утешить, сказала Аполлинария Николаевна, и эти ее, немедленно сорвавшиеся слова пока еще не были облечены чувством; они походили на рефлекс, на первичную реакцию, на вскрик, если неожиданно уколоть себя иголкой.

Это была ее ученица, почтальонка, совсем девочка. Часто, встретив учительницу вот так же, как теперь,

на улице, Глаша восторженно ей умилялась, прибавляла шаг, даже бежала навстречу, протягивая письмо, а то и не одно, и если в обратном адресе находила знакомое имя своей подружки или товарища, громко объявляла это Аполлинарии Николаевне. И вот Глашино лицо было мокрехоньким, и такая безудержная тоска стыла в глазах, такое отчаяние, что учительница сразу поняла: беда.

— Ну? — выдохнула она.

— Не могу! — проговорила Глаша. — Не могу я!..

— Говори!

— Похоронка на Сережку!

— Дай мне, — сказала она опустошенно, дрожащими руками расстегнула портфель и сунула туда листок.

Теперь она прижимала портфель к груди, смотрела на Глашу, на ее омытое слезами лицо, сердце нехорошо проваливалось куда-то, стучало громко, с перебоями, до нее только-только доходило Глашино сообщение и только теперь понимала собственный поступок. Она отняла похоронку, спрятала у себя. Почему?

Постепенно, задним числом, возникали причины. Сережина мать — сердечница, Аполлинария Николаевна учила ее, давно когда-то, потом ее детей, Сережу и его сестру, теперь учится Вовка... И Глаша, ей ли нести похоронку в такой дом?

— Никому ни слова, — сказала ей Аполлинария Николаевна. — Я сама.

Путь, оставшийся до школы, она прошло словно во мгле — лишь изредка возникали размытые детские лица, едва слышались голоса, она, кажется, кивала в ответ, будто заведенная вошла в учительскую, потом в директорский кабинет. Он был пуст.

Она присела на стул и только теперь позволила себе раскрыться: заплакала. Вошла Фаина Васильевна. Увидев слезы, плотно притворила дверь, прислонилась спиной, чтобы не вошел никто лишний.

Аполлинария Николаевна расстегнула портфель, показала похоронку.

— Помнишь ее? — спросила она.

— Сердечница.

— Вот-вот. И у нее маленький Вовка в моем классе.

Нянечка в коридоре зазвякала большим медным звонком на деревянной ручке.

— Тепло, а меня что-то знобит, — сказала она. И пошла на урок.

...В тот день ей не удалось собрать свои силы, чтобы увидеть мать погибшего ученика. Она приготовилась лишь на вторые сутки, взяла в руки сама себя. После уроков, когда стемнело, она вошла в комнатушку, где жил Вовка, и встретилась глазами с взглядом той, которой рано или поздно ей предстояло сообщить жуткое известие.

Женщина, которая когда-то училась у нее, была немолода. Гладко зачесанные светлые волосы блестели под светом электрической лампочки, и этот же прямой свет подчеркивал и без того явные круги под глазами, признак нездоровья.

Хозяйка засуетилась, схватила полотенце, обтерла табуретку, подставила его учительнице.

— Чего-нибудь напроказил?

— Разве я когда жалуюсь на учеников? — усмехнулась Аполлинария Николаевна. — Ну-ка вспомни, жаловалась на тебя?

— Ой, да что вы, — женщина махнула рукой.

— Ну а Вовка твой... Если что и не так будет, я сама с ним справлюсь, не бойся, к тебе не приду.

Хозяйка принялась причитать, что и так, без всякой причины рада видеть свою дорогую учительницу, которая и ее саму выучила, и двоих детей, а теперь и последыша, Вовку.

— Давай, признавайся, — нарочито грубовато сказала учительница. — Сама-то как?

— Да что, тянусь потихоньку. И все бы ничего, да от Сереженьки вестей нету.

Она заплакала.

Мать заплакала, а ее душа замерла. Она не могла плакать, не имела права на это.

Она не имела права даже на то, чтобы дрогнули руки. Даже глаза опустить она не могла.

— Успокойся, — сказала она, — теперь беды вдосталь.

Потом поговорили про сердце, про то, какие капли бывают в аптеке, травки вот разные, например, валерьяна.

Она чувствовала натяжку, хотя мать вела себя оживленно, радовалась гостье. Пока рада, но, стоит уйти,

тут же задумается: зачем приходила. Нужно было спешно выдумать причину. Подумала про Вовку и спохватилась.

— Я знаешь чего зашла-то? Вовка уж больно ручки грызет.

Мать не поняла, округлила глаза:

— Грызет?

— Еще как! — Она заставила себя улыбнуться. — Ровно кролик какой капусту.

Мать хихикнула.

— Да, да, — поддала пару, — прямо хрустом хрустит!

Мать уже в голос смеялась.

— Дак чего, — спросила сквозь смех, — мне делать-то?

— Не знаю, — сказала она, — все свои собственные ручки ему передавала, запас, какой в школе был, тоже. Хрустит! Ты уж с ним поговори, что ли.

Хозяйка проводила, вытирая веселые слезы передником, она же выходила с новой тоской. Ничего ей не удалось. Много чего умела учительница, и по арифметике, и по письму, и даже рисовать, хоть плоховато, а обучилась, чтобы уроки рисования вести, а вот как приготовить к горю, этого — нет, этого — не знала...

Много недель проползло, пробежало, пролетело, и о многом переговорили две женщины, учительница и мать. Про горе разговаривали, которое вокруг шныряет, в каждый дом норовит влезть, про тяжкие бои, о которых учительница в газетах читала, про беженцев и детские дома, каких город принял, про малокровие и дистрофию, с какими приезжают ребятишки из Ленинграда, про многое чего еще, что женщинам важно и дорого — про то, чем мыло заменить, если нет совсем, про пуговицы, которые на ребятне, будто лягушки, право слово, совсем не держатся, про цену, какую просят на рынке за катушку обыкновенных черных ниток, и когда решила учительница, что настал час и должна она, наконец, сказать матери правду о сыне, та не заплакала, а лишь опустила голову и сказала:

— Да я ведь давно знаю, Аполлинарь Николавна!

— Как! — воскликнула учительница.

— Догадалась. Поняла. И все слезы давно выплакала, вы не бойтесь.

Тогда заплакала она.

Сидела, умолкнув, уставившись в окно, и слезы катились по морщинистым щекам.

— Ну а с Вовкой-то чем дело кончилось? — спросил я.

Не было у меня конца этой истории с деревянными ручками, забыл начисто.

— Купила ему железную. Знаешь, такие были, неудобные, толстые, совсем не для малышей, с одного конца огрызок карандаша, с другой ручка, они еще вовнутрь убираются.

Совсем забыл. Железо, видать, Вовке оказалось не по зубам.

Да, железо. Нам оно досталось в виде ручек и перьев, а другим в форме осколков и пуль. Вовкиному старшему брату Сереже, например.

Теперь-то мы намного старше Сережи, вот ведь какие дела. Где Вовка, я не знаю, утерял его следы, но, главное, жив, чем-то занят своим, что-то делает, и старше мы с ним давно-давно его погибшего брата, никогда мной не виденного Сережи только лишь потому, что даже самая страшная прежняя война делила железо не поровну. Не на всех.

А если же все-таки грянет новая?

Теперь не война железа — война радиации; страшно представить, какое равенство она обещает, взрослым и несмышленым. Железа не могло хватить на всех, этого — хватит...

Неужто возможно?

— Нет, нет, — говорит она, — я в это не верю.

Мы говорим про войну, не прошлую — возможную.

— Представь себе, сколько энергии человечество тратит на ученье, не денег, нет, а именно энергии, нашей, учительской и, значит, человеческой. Эта энергия необычна. Духовная энергия. От нее не работают электростанции, но работает человеческий мозг. Дух. Разум, наконец. Доброта, гуманизм и, на самый худой конец, чувство самосохранения. Ты согласен?

Я-то согласен.

Она мотает головой. И наклоняется ко мне. Я приближаюсь.

— В конце концов, — говорит она, хитро усмехаясь, — жить не надоедает, я тебе говорила. Не только мне. Но и тем! — она кивает куда-то в сторону. — Американцам.

Я рассказал, как там, на той стороне земли, меня пригласили в гости очень солидная компания, негры и белые, пожилые, седоволосые люди. Стол ломился от еды, но и хозяева и я, поняв друг друга с полуслова, договорились сперва посмотреть телевизор, запись вчерашнего матча по боксу в Атланте. Это была сенсация конца семидесятого года. Знаменитый Кассиус Клей, впоследствии Мохаммед Али, вышел на помост первый раз с тех пор, как отказался воевать во Вьетнаме. За это его лишили права боксировать.

Результат уже все знали, он был неинтересен, противник проиграл Клею очень быстро и по техническим причинам, кажется, рассекли бровь, но всем хотелось посмотреть Кассиуса, каков он стал, не испугался ли того, как ему погрозили пальцем.

Сказать откровенно, в том первом матче Клей был никаким, бой не получился, зрелище тоже. Победитель уходил с ринга растерянным, и я еще подумал, грешным делом: а может, это ему нарочно не дали победить с триумфом? Не допустили настоящей победы?

Потом была вечеринка, конечно же, все говорили про бокс, наконец, мои доброжелательные хозяева усадили меня в роскошное кресло, попросили рассказать про нашу жизнь и притихли.

Я подумал и рассказал им о том, как моя мама сдавала кровь, чтобы купить мне еды повкусней, как война отняла у моей жены отца и мать, оставив трех девочек на руках малограмотной бабушки, как моя учительница принесла матери известие о гибели собственного ученика и что в той войне у нас погибло двадцать миллионов.

— Сколько? — переспросил белоголовый от седины интеллигентного вида, красивый негр. — Переведите еще раз.

Переводчик выполнил его просьбу.

— Не может быть! — воскликнула какая-то пожилая женщина.

— Вы не знали? — в свою очередь, крепко удивился я.

— Нет, — сказал уже третий, тоже седой человек.— Но вы не ошиблись? Может, двести тысяч?

— Двадцать миллионов, — проговорил я.

Тот вечер не удался. Мои хозяева стали говорить как-то тише, боясь оскорбить меня и мои чувства. А я все поражался их красивым сединам.

— Значит, ты рассказал про меня? — спросила Аполлинария Николаевна недоверчиво. И усмехнулась сама себе. — Забавно! Я — и там! — Она указала пальцем вниз, метя, верно, в противоположное полушарие, но смысл вышел несколько иной. Озорная старуха ни чуточки не смутилась и повторила движение по кривой, как бы по глобусу. — Я — и там, на той стороне земли, — повторила она, улыбаясь.

Мой рассказ заставил ее вспомнить что-то.

— А помнишь, — спросила она, — как вы шили кисеты.

Еще бы!

— Девчонки еще куда ни шло, но ведь шили и вы, мальчишки.

— Потом собирали табак! — добавил я.

— Папиросную бумагу.

— А варежки!

— Концерты в госпиталях! — сказала Фаина Васильевна. — Мне звонили чуть не каждую неделю. Девятая начальная славилась артистами.

Нет, все-таки память не всесильна! Забыл я имя того пацана. И они не вспомнили, мои старушки.

Нинка играла на пианино, тут удивительного мало, правда, для нынешних времен. Тогда и на пианино редко кто играл, даже девчонки. Потом был Лешка из параллельного класса, он скрипел на маленькой скрипочке. А вот во втором учился гениальный пацан, у которого был трофейный аккордеон. Гениальность этого пацана просто перла наружу. Во-первых, голова у него была не круглая, как у всех, а вытянутая, вроде как у борзой собаки, даже неизвестно, как он надевал на такую голову шапку. Голова походила на угольный утюг.

Может, его бы даже так и прозвали, утюгом, если бы не оказался он таким гениальным. И во-вторых, он никогда не смеялся. В глазах его всегда виднелось непонятное смирение.

Когда же требовалась музыка, например, по какому-нибудь праздничному случаю в школе, он спокойно, ни капельки не смущаясь, выходил вперед, садился на приготовленный стул и ждал, когда нянечка вместе с учительницей или с матерью этого гения, или с его бабушкой притащат ему трофейный аккордеон с какими-то блистающими нарядными загогулинами и нежно-голубыми мехами.

Да, мехи были голубыми, аккордеон светло-серым, а имени пацана я не помню.

Ему, как маленькому, взрослые помогали надеть на плечи ремни, отходили в сторону, и он, все так же глядя прямо перед собой стеклянным взглядом, не попробовав клавиши и кнопки, не послушав звук, как слушали его другие аккордеонисты — повесив голову набок, почти приложив ухо к инструменту — начинал шпарить свою музыку. Без всяких затруднений.

Разные там марши, песни и прочие неизвестные мне мелодии вылетали из трофейного аккордеона, а значит, головы, похожей на утюг, легко, ясно и громко, вызывая у окружающего народа всеобщее ликование.

Я же читал стихи. И вот, Нинка с нотной папкой на дивных витых веревочках, Леха с маленьким футляром, головастый талант и я в сопровождении каких-то взрослых идем в госпиталь.

Сердчишко мое трепещет, потому что в госпитале, куда мы идем, работает мама, а главное, лежит отец. Да! Это почти сказочное везение. Дважды раненный, оба раза отца везут по северной дороге, на Урал, и оба раза он добивается, чтобы его выгрузили на полпути, в нашем городе, почти дома.

Я вижу его каждый день, потому что каждый день после уроков иду к маме, и она проводит меня к отцу. Никто не ругается. Мне разрешил приходить сюда сам начальник госпиталя, потому что всякому понятно, какое выпало нам всем везение.

Но теперь я шел не просто так. Мы шли с концертом, а это было совсем другое дело. Я должен прочитать стихи так, чтобы отцу не сделалось стыдно.

И вот мы в странном помещении. После войны в этом здании был горсовет, а потом кукольный театр и детская библиотека. Отец лежал там, где теперь театральное фойе, а тогда это место выглядело довольно странно, потому что в огромной комнате, даже зале, одной стены как бы не было, и вместо нее вниз, на первый этаж уходила широченная чугунная лестница с витыми перилами. По лестнице никто не ходил, парадный вход, куда она вела, был заколочен, и получалась громадная палата с лестницей, ведущей вниз.

Справа от лестницы стояло пианино, и нас провели к нему. Тут нам и предстояло показать свои искусства.

Горластая длинная тетка в белом халате, своими ухватками совершенно не похожая на медицинскую работницу, закричала во всю глотку:

— Сейчас у нас будет концерт, товарищи ранбольные! Просим вас чуточку уплотниться, идут выздоравливающие из других палат.

Койки заскрипели, те, кто лежал, начали тесниться к краю и к ним на одеяла стали присаживаться разнообразно перевязанные люди. Почему-то все больше было загипсованных раненых — у кого рука, у кого нога, и даже шея.

Возникла заминка, нас разглядывали, улыбались. Отец лежал у самого входа и махал мне рукой.

Я заметил, как покрылась красными пятнами Нинка и дрыгал коленками Леха. Сам я был будто в жару, ведь я должен был не только читать стихи, но еще объявлять номера программы.

Наконец длинная тетка крикнула:

— Начинаем! — И два раза хлопнула в ладоши.

Своими хлопками она думала навести тишину, но раненые поняли ее по-своему и принялись весело и даже как-то яростно аплодировать нам.

Унимая грохот сердца, я выступил вперед и громко, без передышки сказал:

— Концерт учеников девятой начальной школы, Чайковский, «Детский альбом», исполняет Правдина Нина, третий «А» класс.

Раненые вновь принялись было хлопать, но Нинка, молодец, громко затарабанила на пианино, словно нарочно старалась заглушить все прочие звуки. По замыслу Фаины Васильевны, по ее режиссуре, сперва надо было привлечь внимание к концерту громкими, уверенными звуками пианино.

— В это время, — объясняла она, — рассаживаются последние зрители, все сосредоточивают свое внимание на искусстве, утихают разговоры, вы овладеваете аудиторией.

Умное и непонятное слово она произносила всегда, когда напутствовала нас, и всегда с каким-то особым чувством. Словечко, кажется, даже слегка подпугивало нас. Мы понимали, на какое серьезное и очень взрослое дело посылают нас.

Так что Нинка бабахала по пианино, привлекая внимание раненых, овладевая аудиторией, а я трепыхался, как лист: вторым номером по режиссуре шли стихи.

Честно говоря, стихотворение, которое я читал, всегда вгоняло меня в пот. Я чувствовал, что шапка не по Сеньке, и не раз предлагал Фаине Васильевне — концерты готовила лично она — разучить что-нибудь другое, про Родину, про Сталина, про отвагу и храбрость, все-таки мы ведь выступаем перед бойцами.

Но она была неумолима.

— Понимаешь, — отвечала она, — наш концерт очень маленький. Ведь мы выступаем не где-нибудь, а в госпитале. Представляешь — тебя ранили. У тебя что-то очень болит... Наш концерт должен быть такой, чтобы он заглушил боль!

Фаина Васильевна и Аполлинария Николаевна никогда не выбирали для нас особых детских слов. Они говорили совершенно по-взрослому. Я, например, не все понимал, отдельные слова и даже мысли оставались неясными, и тогда вступали в дело чувства.

Не все понимая, я все чувствовал.

— Стихи поэта Симонова читает ученик третьего класса Лиханов Алик, — объявил я сам себя, крепко вспотев.

Мой голос, конечно, не мог соревноваться с Нинкиным пианино, от которого до сих пор звенело в ушах, и я принялся выкрикивать с натугой, в страхе, что меня не услышат в этом громадном зале:

Жди меня и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда других не ждут.
. . . .

Я знал уже это — прокричать надо только первые строчки, потом дело шло легче, потому что потом, сколько бы я ни читал, эти не очень удобные мне стихи, становилось тихо в самой большой палате.

Я успокоился, сменил крик на обыкновенный голос, а когда остановился, уши мои чуть не лопнули от яростных, точно шквал, рукоплесканий.

Несколько раз я открывал рот, чтобы объявить Леху со скрипочкой, но приходилось закрывать его, потому что мне все хлопали и хлопали, а я даже не кланялся, потому что совершенно отчетливо понимал: это хлопают не мне, а стихам и поэту, на самый худой случай неизвестной зрителям Фаине Васильевне, потому что, видно, она все-таки разбиралась в деле, знала, что именно мне прочитать, хотя лично я с удовольствием бы заменил это совершенно не военное произведение какими-нибудь хорошими, звонкими строчками про то, как бойцы лупят проклятых фашистов, так что с них шерсть клочьями летит.

Ну вот. Дальше был Леха. И, надо сказать, его скрипочка тоже звучала хорошо, вовремя, после громкого пианино и громких аплодисментов за стихи — возникала задумчивая тишина, минутный покой, когда приятно подумать о чем-нибудь красивом и мирном.

Затем шел талантливый головастик — как же его все-таки звали? Коронный наш номер. Он неторопливо усаживался, пока взрослый, сопровождавший нас, а точнее — его, прицеплял к нему аккордеон, точнее — его к аккордеону. По неторопливым приготовлениям музыканта народ быстренько смекал, что сейчас произойдет что-то не совсем обыкновенное, в палате стало шумновато — раненые переглядывались между собой, кивали головой на нашего таланта, который едва виднелся из-за большого аккордеона.

Мне кажется, этот пацан нарочно дожидался, пока по залу пойдет шумок, наслаждался удивлением, которое он вызывал. Потом его могучий инструмент рявкнул, и полились, без передыху, песня за песней. Я даже не объявлял.

А наш гений дул без остановки и хлопать себе не давал. Шпарил без всякой передышки, как будто читал одно за другим стихотворения разных поэтов.

Это тоже придумала Фаина Васильевна. Конечно, не то, чтобы без перерывов играть все подряд, а чтобы наш аккордеонист последним выступал.

— Он может много играть, — говорила она, — а ты смотри за настроением зала. Если все хорошо, концерт может быть подлинней. Если вам подадут сигнал, сразу заканчивайте.

Но никто никогда никаких сигналов нам не подавал. В тот раз тоже. Гениальный малыш играл до тех пор, пока не взопрел.

Ему не требовались никакие команды. Он сжал голубые мехи аккордеона и сполз вместе с ним со стула.

Все это время, пока мы выступали, за спиной у отца стояла мама в снежном халате и такой же шапочке, оба они улыбались мне, и, когда мой взгляд все-таки соединялся с их взглядами, мне становилось втройне тяжелей.

Одно дело, когда, например, прочтешь стихи дома, и совсем другое — здесь. Выходило, родители видели что-то такое, что им видеть было вовсе не обязательно, узнали про меня то, что прежде было скрыто от них.

Ну, я выступал, какие здесь секреты, но вот теперь выступал перед другими у них на глазах. Совсем другое дело! И я старался глядеть на кого угодно, только не на отца и не на маму, отворачивал лицо в другую сторону, но от этого мне было не легче, напротив.

Наконец-то все кончилось. Длинная тетка подбежала ко мне и сказала мне, будто я тут был главный, да еще произнесла это каким-то военным голосом:

— Вас просит подойти полковник!

Мы переглянулись и пошли вслед за теткой в соседнюю палату.

Чем ближе приближались мы к полковнику, тем тяжелей и медленней становились наши шаги.

В углу лежал белый кокон, человек, затянутый бинтами. Вместо одной руки забинтованная культя, а голова походила на шар. Виднелись только нос и рот, да черный, небритый подбородок.

Он не видел нас, но, кажется, улыбался — я понял это по губам, они разъезжались в стороны, открывая объеденные зубы.

— Не бойтесь, ребятки, — говорил он. — Подойдите ближе, не бойтесь.

Мы приблизились, стояли испуганной кучкой.

— Молодцы! — сказал он весело. — Какие же вы молодцы! Особенно ты!

Я думал, он говорит про нашего аккордеониста или про Нинку. Но раненый объяснил:

— Тот, кто читал стихи.

Я поежился, остальные мельком оглядели меня, наверное, удивляясь.

— А ты можешь, — сказал он вдруг, — прочитать их еще раз? Мне одному.

Длинная тетка, сделав большие глаза, кивала мне, трясла головой.

— Могу, — сказал я.

— Только негромко, — попросил он.

Я выступил на шаг вперед и начал. Оказалось, одно дело читать для целой палаты, и другое дело — для единственного человека. Неважно у меня получалось, и я думал, что такому геройскому командиру все-таки лучше бы прочитать что-нибудь тоже геройское, надо все-таки непременно выучить.

Тем временем я повторил стихи.

— Спасибо, — сказал он и, будто извиняясь, объяснил: — Читать мне теперь нечем, а радио тут не положено, слишком большая палата.

Он помолчал. Молчал и я.

— Сестра! — повысил он голос. Длинная тетка отозвалась, будто эхо. — Где-то в тумбочке есть шоколад. Дайте ребятам!

Тетка присела, а обернувшись, протянула четыре большие шоколадные плитки.

— Не надо! — сказал я. Было неловко брать столько.

— Бери, бери, — снова растянул он губы. — Ешьте на здоровье! Да растите большими!

И все-таки слава коснулась меня в тот раз.

Настоящая, дорогая до сих пор.

Я подошел к отцу, присел на кровать. Раненые расходились неторопливо по своим палатам, и не все они знали меня.

— Что же это, твой сын? — воскликнул кто-то за моей спиной.

— Сын! — улыбнувшись, ответил отец.

— Ну, молодец! — Этот кто-то погладил меня по макушке, я полуобернулся, смущенно улыбаясь.

— Поздравляю, — кто-то еще сказал отцу.

— Спасибо! — с видимым удовольствием отвечал он.

А трое моих приятелей во все глаза смотрели на меня.

В их взглядах виделся укор, они завидовали самой чистой завистью, какая бывает на свете. Они завидовали, что я могу обнять собственного отца.

Леха стал астрономом — играет ли он на скрипочке? Нинка закончила педагогический, следы молчаливого гения с головой, похожей на утюг, как и его имя, таинственно потерялись в просторах бытия, моя мама давно на пенсии, у нее часто болят ноги, и я знаю — она едва идет по утрам из магазина, с кошелкой, в которой торчит батон и брякают бутылки с кефиром, отец совсем не похож на того человека, который лежал в госпитале, — его лицо напоминает кору пересохшего старого дерева, в глубоких старческих морщинах; дом, где был госпиталь, занимает кукольный театр и детская библиотека, палата без одной стены приобрела законченность, потому что это всего лишь фойе, и по лестнице бегают ребятишки, словом, все, все решительно переменилось, а я вот помню, не могу позабыть наш концерт...

Как же все-таки забавно устроена жизнь! Первая ее половина беспамятна, и от того, пожалуй, неспешна, тягуча; ты погоняешь ее всей душой; тебе не терпится стать взрослым, чтобы обрести свободу, быть хозяином самого себя, научиться чему-то, непременно важному; будущая жизнь кажется бесконечным временем, которое полно интереса и необыкновенности. Но вот ты начинаешь вспоминать, обретаешь память, и жизнь раскручивается, как пружина, мелькает, будто километровые столбы за окном торопливого поезда; из времени разнообразных величин детство видится благословенной порой постоянства и чистоты.

Да, тебе дарована память, но будто в отместку за это ты пробегаешь годы все быстрей, быстрей, и нельзя ничего переменить.

Ох да ох, как сказала Фаина Васильевна.

Свет разорвал темноту, но Аполлинария Николаевна не потушила свечку.

— Подождем, — сказала она, — может, погаснет снова, — и мне вдруг послышалась в этих словах надежда.

Свет снова погаснет, чтобы нам вновь очутиться в классе военной поры...

Но время брало свое, не желая возвращаться вспять, и в этом была какая-то ненужная жестокость; свет больше не гас; нас освещала яркая, без помигиваний, лампочка, и только теперь Аполлинария Николаевна сказала:

— Так вот ты какой!

Она помолчала.

— Уже не молод.

— Давно, — согласился я. Но она будто не услышала:

— И все-таки совсем мальчишка.

Настало время прощаться. Через час уходил поезд. Я поднялся и подошел к ней.

— Наклонись, — сказала она, и, чтобы было удобнее поцеловать ее, я встал на колени.

Как хорошо, что я сделал это!

— Дай голову, — сказала она и поцеловала меня в лоб сухими, совсем неслышными губами. — Прощай! — проговорила она бодрым, даже веселым голосом и, заметив мой протест, махнула рукой. — Мои годы такие!

В ее словах не слышалось ни звука фальши. Видать, она хорошо приготовилась к своему будущему.

Я вздрогнул — эта мысль хлестнула, словно кнут. Но ведь у нее нет будущего. А главное, она прекрасно знает это. Все в прошлом. Так очевидно и просто. Но она не хандрит. Идет к своему концу, живет без будущего и счастлива сегодняшним.

Это мужество, подумал я тогда.

Это способность соглашаться с правдой, думаю я сегодня.

Фаина Васильевна еще оставалась, я уходил один. Одевшись, встал на порог. Запомни, говорил я себе, запомни как можно подробнее, потому что такое надо видеть до конца.

Я запомнил.

Сухая, легкая как пух старушка, глядела на меня добрыми, все прощающими глазами. Черная кофточка, белый воротничок... И снова — глаза.

Кажется, они стали светлее, чем раньше, прозрачнее. Никогда не думал, что с возрастом могут посветлеть глаза. Впрочем, может, так кажется?

Нет, мне не казалось. В светлых глазах я увидел неземную мудрость, покой, благодарение. В этом неземном не было ничего пугающего, напротив. Старушка смотрела на меня так, будто взглядом обнимала всего меня и все, что в душе моей, все, что не сказано, ей ясно без слов.

Она кивала мне, благословляла меня, желала добра. Одного только добра.

Я поклонился им.

Последним взглядом схватил: свет лампочки не перекрывает света, идущего от свечи, наоборот; пламя свечи размывает большую тень, сделав сморщенное, сухое лицо неестественно ярким и чистым.

Через час мой поезд тихо, будто корабль, отчалил от перрона.

В купе шумел, заваривался очередной спор про нашу торопливую жизнь, но я не слышал слов. Я глядел за окно, на то, как убыстряют свой бег вокзальные огни, как обрывается город, как мерцает, переливается снег, и фонари образуют возле себя белые тарелки.

Душа моя была полна торжественной и тихой радостью. Я испытывал странное облегчение. Свидание с учительницей не походило на правду, и оттого, быть может, мной владела светлая приподнятость.

В последние минуты перед отходом поезда я рассказал маме, откуда, едва не опоздав, пришел только что, и она добавила мне еще одну подробность.

— Аполлинария Николаевна — крестная Варвары, — сказала она.

Тетя Варя, жена маминого брата, жила вместе с ним в Москве, и сколько мы встречались, а никогда не говорили о ее крестной.

А крестной была учительница. Отец тети Вари служил конюхом в школе, а это значило, водовозом, истопником, возчиком. Когда родилась Варвара, конюх пришел к человеку, которого уважал больше всех.

Было это в одна тысяча девятьсот двенадцатом году.

Поезд разгонялся, тьма кружилась за окном гигантским кругом, смешивая светящиеся точки, тени деревьев, будки обходчиков, деревенские постройки.

Весь мир кружился передо мной, и это была реальность, но, разрывая круг, из тьмы пришли трое — дед, бабушка и Аполлинария Николаевна. Учительница держалась чуть поодаль от них. Все трое вглядывались, щуря глаза, из темноты, будто яркий свет вагонного окна мешал им разглядеть меня.

— Приеду, — шепнул я.

Аполлинария Николаевна умерла через два года, не дойдя всего трех шагов до своего столетия. Незадолго перед этим знакомый фотограф ехал в мой город, и я попросил его зайти к учительнице, сделать для меня ее портрет. Снимок вышел на редкость удачным, и греет мою душу, когда выпадают стылые, равнодушные дни. С последней своей ступеньки глядит на меня взглядом, желающим добра, дорогая моя учительница, которая так и не устала жить...

Уезжая из дому, надо возвращаться...

Рано или поздно, на день или навсегда.

И пока жив, надо, уезжая, торопиться обратно.

Все трудней ходить по городу, где так переменилось. Будто ты там и не там. Трудно уговорить себя, что ты на прежнем месте. Незнакомые кирпичные дома взирают равнодушно — они не видали тебя, а ты не знаешь их. И ловишь себя на мысли, что навстречу тебе идет много прохожих моложе тебя.

В старые времена люди придумали родительские субботы. Может, не верили в постоянство памяти и оттого назначили себе ритуальные дни? Хотя в самом выборе дня поминовения, субботе, конце недели после трудной работы, есть выразительная символика.

И все же, чтобы помнить, мало одной субботы.

Нужен светлый день, чтобы, живя, слова свои и поступки мерить честью тех, кто дал тебе жизнь, а теперь взирает на тебя с верой и надеждой; нужна бессонная ночь, когда из тьмы подходят к твоему изголовью те, кому обязан ты дать отчет о добре содеянном, о долге исполненном; нужен тревожный вечер, чтобы было сподручней спросить тебя, как идешь к совершенству, кого образумил за день и вдохновил, кого обидел

неправедно и что сделать надобно, чтобы неправедность эту искупить; вечер нужен, чтобы исповедовать, утешить, одобрить, наставить на истинный путь добра и правды, служению Отчизне; нужно ясное утро, чтобы напутствовать тебя на честное дело, осветить твой путь мыслью о продолжении, о том, что всякая жизнь начинается не из ничего, а только продолжает начатое, и, пользуясь временем, дарованным сегодня, всенепременно надо помнить о совести, которая есть желание судить себя перед теми, кто был, и теми, кто будет.

И день, и ночь, и вечер, и утро — вся жизнь нужна для непрестанного труда души — памяти, памятливости, воспоминаний.

Есть выражение: мы приходим в этот мир, чтобы уйти, и первый крик ребенка — это первый его шаг к могиле.

В такой мысли есть несправедливое: обреченность.

Душа спорит с несправедливостью.

Мы приходим, чтобы уйти...

Нет, мы приходим, чтобы оставить о себе память.

Я иду по кладбищу, от могилы к могиле.

— Здравствуйте, мои дорогие!

Вас нет, но без вас не было бы меня.

Вас нет, но вы помогаете жить.

Вы — во мне...

1983

ОГЛАВЛЕНИЕ

Бремя молодости

Лиханов А. А.

Л 65 Бремя молодости. — М. : Мол. гвардия, 1989.— 300[4] с., ил. — (Писатель — молодежь — жизнь).

ISBN 5-235-00563-5

Одна из главных идей книги состоит в том, чтобы сказать о сегодняшней молодежи, о ее ответственности, именно о бремени молодости. Книга адресована массовому читателю.

Л $\frac{4702010204-140}{078(02)-89}$ 186—89 **ББК 84Р7**

ИБ № 6099

Лиханов Альберт Анатольевич

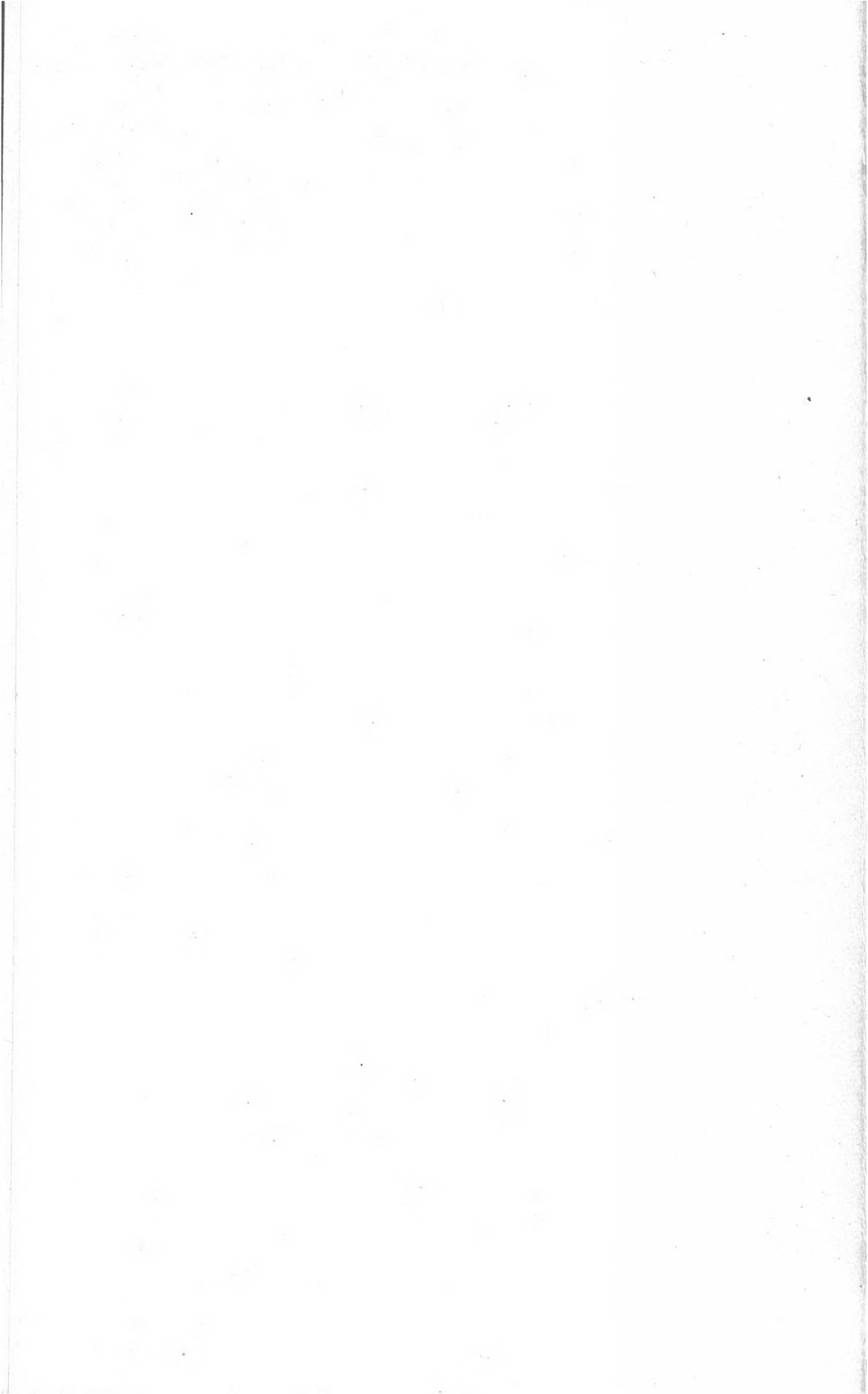
БРЕМЯ МОЛОДОСТИ

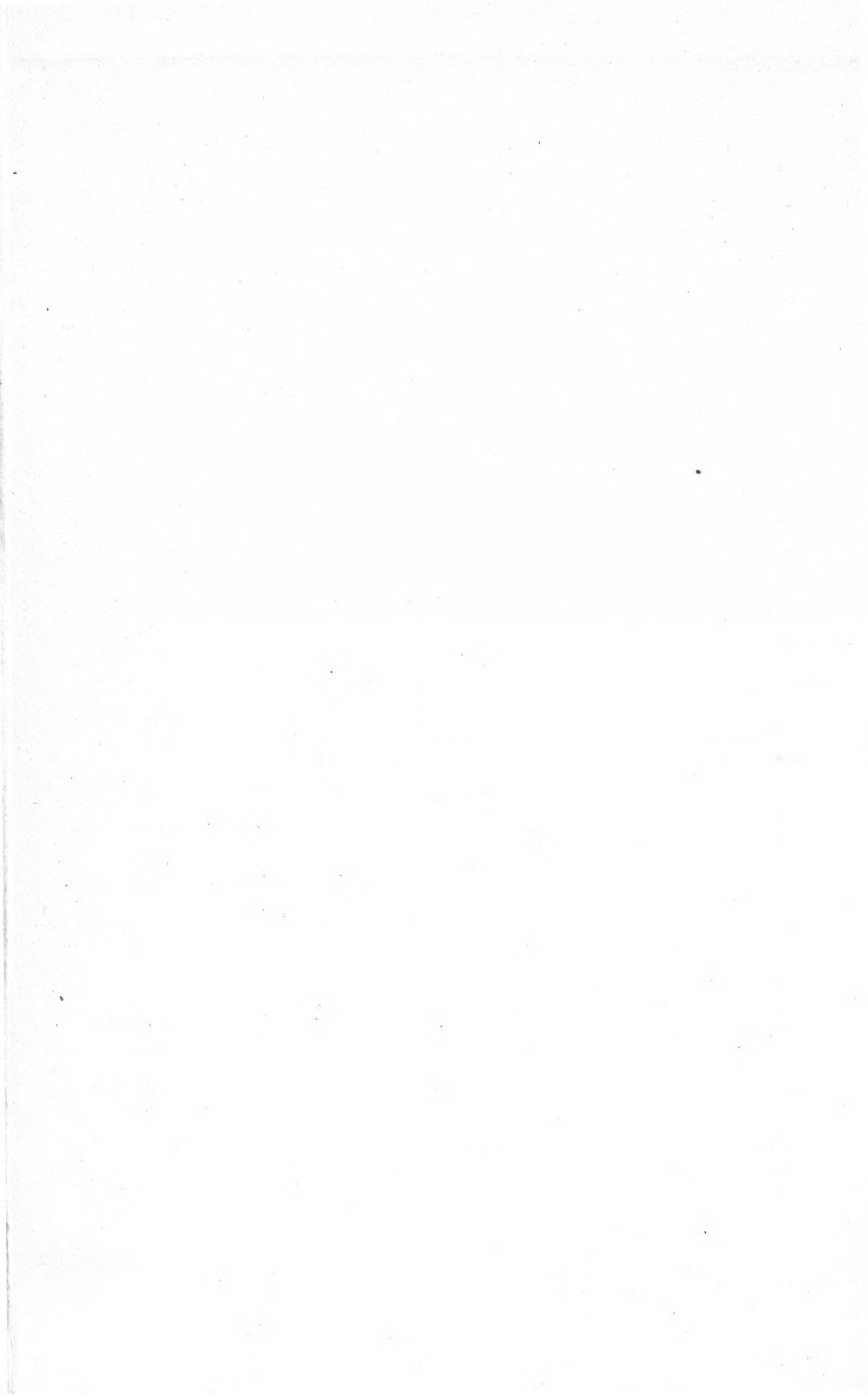
Зав. редакцией **В. Володченко**
Редактор **Т. Костина**
Художественный редактор **А. Косаргин**
Технический редактор **Н. Баранова**
Корректоры **В. Назарова, Н. Понкратова, Н. Самойлова**

Сдано в набор 23.09.88. Подписано в печать 30.01.89. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 15,96+0,84 вкл. Усл. кр.-отт. 16,8. Учетно-изд. л. 17,4. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 20 к. Заказ 2293.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00563-5





МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ